

Мой Новосибирск. Книга воспоминаний

ББК 63.3 (253.3)—2 М—748

Мой Новосибирск. Книга воспоминаний
Автор-составитель Т. Иванова
Редакторы А. П. Домрачев, О. Ф. Слуцкая
Технический редактор М. О. Дроздович
Корректор Л. А. Карадина
Набор И. Н. Шадура, Н. П. Пустогачева
Верстка Sergy
Обложка Ю. К. Катаев, С. Большаков

ISBN 5-08-007748-4

Подписано к печати 19 октября 1999 г. Формат 60х90_{/16}. Бумага офсетная.
Гарнитура «Миньон». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 22,75. Тираж 10000 экз. Заказ № 3399.
Допечатная подготовка — газета «Новая Сибирь»
Отпечатано в типографии «Советская Сибирь»

Содержание

Слово к читателю

Предисловие

Г. Кобзева. А по Красному бегали верблюды

Г. Крылов. В Ельцовке было полно ельцов

Н. Амшинский. Здесь в каждой веточке цветет моя любовь

А. Гутов. Базар на ступеньках мэрии

А. Тростонецкий. Нахаловка

И. Сушков. Безбожная улица и Китай-город

З. Булгакова. Судьбе говорю спасибо

Ю. Коршунов. Про жизнь на улице Крылова

М. Старцев. Завод строила голытьба

Г. Телегина. Ностальгия

Р. Бриллиантова. Два тополя на Советской

Е. Павлова-Пашкова. Все на свете по плечу

К. Орлова. Дом моей судьбы

В. Агапова. Перед Богом и людьми

А. Синцов. С израненной душой

Ю. Магалиф. Далекий взлет

Р. Максимова. Землетрясение

З. Масаева. Госпиталь

Ю. Шаровьев. Имя его неизвестно

В. Блиновский. Климю Ворошилову письмо я написал

Н. Добрынин. Не дали нам повоевать

В. Полян. В институт — на полutorке

Ф. Жильцов. Аул на улице Степана Разина

А. Антонов. Хитрый рынок

В. Литвинов. Говорит Новосибирск

А. Филатов. Город, который люблю

И. Добророднов. Козел на довольствии

И. Ромашко. У моря Обского

А. Трофимук. Школа Лаврентьева

Н. Притвиц. Я знаю, город будет!

В. Чикинев. Не захолюстье, а стольный град!

А. Чернобровцев. Простор для работы

П. Муратов. Как мы начинали галерею

В. Константинов. Двести помощников автоинспектора

Г. Чекис. Моя жизнь — спорт

А. Рубинчик. Взгляд военного

Т. Иванова. Живешь в Сибири — вставай на коньки!

Р. Удалая. А может, все было зря?

И. Индинок. Часовня Святителя Николая

Сведения об авторах

В этом городе я родился и вырос, хорошо знаю его и его историю. Но вот открываю книгу журналистки Татьяны Ивановой «Мой Новосибирск» и, к своему удивлению, узнаю много новых интересных фактов.

А ведь казалось — история города досконально изучена и описана в многочисленных книгах ученых-исследователей, существует даже историческая энциклопедия Новосибирска, в ней в хронологическом порядке изложены все основные события его жизни.

Автор книги пошла нетрадиционным путем — материалы она собирала не в пыли библиотек и архивов, черпала их не из документальных источников, а обратилась к старожилам, и те поделились с ней своими воспоминаниями. А память людская запечатлела не только эпохальные вехи развития города, но и негромкие, незначительные на первый взгляд факты, неброские события, бытовые подробности, которые и придают воспоминаниям неповторимый колорит, обаяние, содержат то, что обходят своим вниманием ученые и исследователи.

В этих непритязательных, бесхитростных рассказах — атмосфера ушедших лет, жизнь улиц и дворов, заводов, площадей, рынков. Словно воочию представляешь себе и казахский аул, располагавшийся когда-то почти в самом центре, и Китай-город, и поселок Саратове, и Хитрый рынок, шумевший на привокзальной площади в первые послевоенные годы... Эти воспоминания берут за душу, волнуют. Вместе с рассказами о счастливом беззаботном детстве на улицах старого города мы читаем повествования, полные трагизма, — о годах репрессий, об изломанных судьбах, читаем воспоминания о военном лихолетье, о кипучем размахе строек в послевоенные годы.

За каждой историей стоит живой человек. Для меня еще одним удивлением и большой радостью было понять — какие красивые они, наши земляки! Какие глубокие, внутренне чистые люди встают за строками воспоминаний! И я горжусь этими людьми, новосибирцами, нашими отцами и дедами. Это их трудами рос город, их любовью, их преданностью и патриотизмом мы сильны. Сильны, невзирая ни на что.

Среди собеседников автора мы находим яркие, всем известные имена. Здесь любимый новосибирцами писатель Юрий Магалиф и самобытный художник Александр Чернобровцев, яркий артист Иван Ромашко и легендарная актриса Зоя Булгакова, уважаемый секретарь обкома Александр Филатов и известная на всю страну клепальщица завода им. Чкалова Раиса Удалая. И — академик Андрей Трофимук, чье имя забрано траурной рамкой и чей недавний уход отдает сердечной болью. Но тем ценнее живое слово, сказанное им всего за несколько недель до кончины... Здесь и имена десятков наших горожан, обыкновенных жителей города — рабочих, инженеров, учителей: их рассказы не менее интересны и ярки, чем воспоминания прославленных земляков.

Конечно, книга «Мой Новосибирск» не претендует на полноту освещения городской истории. Да это и не история в полном смысле этого слова. Скорее беллетристика. Но она охватывает достаточно большой период — ведь самое раннее воспоминание относится к 1915 году. И конечно, в одну книгу невозможно вместить все, что происходило интересного в нашем городе за вековую историю. Но дорого уже то, что мы имеем редкую возможность узнать много интересного из первых уст, от очевидцев и творцов городской истории.

Думается, что книга Татьяны Ивановой окажется полезной и преподавателям

истории и краеведения, и учащимся, и просто каждому любознательному человеку, тем более что написана она простым и легким языком. Думаю, что у автора достанет сил и желания для продолжения начатой работы — ведь история города необъятна.

Отдельно хотелось бы отметить и участие в издании книги людей, вложивших в это полезное, но не прибыльное издание свои средства. Надеюсь, что книга, появившаяся в канун 2000 года, станет хорошим подарком новосибирцам на пороге нового тысячелетия.

Мэр Новосибирска
Виктор Толоконский



Предисловие

Дорогие читатели! Вы держите в руках первую народную книгу о нашем городе. Почему народную? Да потому, что создали ее сами горожане, которые рассказали о себе и своей жизни и предоставили в наше распоряжение фотографии из семейных архивов.

И хоть наш город еще очень молод, все-таки рассказать есть о чем. А молод он настолько, что в нем среди жителей преклонного возраста очень мало людей здесь родившихся, подавляющее число глубоких стариков — народ пришлый. А предельный возраст типичного коренного новосибирца еще не перевалил даже за семьдесят лет! Это открытие я сделала, собирая материал для этой книги и встречаясь с доброй сотней пожилых людей, проведя тем самым своеобразное социологическое исследование. Большая часть из них приехала сюда на волне раскулачивания в тридцатые годы в поисках куска хлеба на городских стройках или в сороковые, эвакуируясь из районов, охваченных войной.

Вот эти-то люди, приехавшие сюда со всей Руси великой, с Украины и из Белоруссии, из Москвы и Ленинграда, из соседнего Томска и с Алтая, и осели здесь, обзавелись семьями, пустили корни и дали начало новому сообществу — новосибирцам.

Может быть, наш Новосибирск потому так стремителен, бодр и жизнестоек, что в его жителях вместе с коренной чалдонской кровью течет кровь детей Украины, Поволжья, Урала, Среднерусской равнины, вобрав в себя всю энергетику этих краев?

И вот ведь что удивительно: недавно появившись, это сообщество из казалось бы таких разных людей несет в себе нечто такое общее, что позволяет безошибочно в чужой стороне выделить своего, земляка! Я всегда поражалась, бывая в других городах и дожидаясь своего рейса в аэропортах, как выхватывала взглядом из пестрой и многоликой толпы земляков. И верно: именно эти, выделенные мною люди, выстраивались в очередь на регистрацию на новосибирский рейс! Что это за мистика такая, не знаю — вроде бы все такие разные, а вот, поди ж ты! То ли появилось в нас это нечто неуловимое общее от того, что все мы вспоены одной рекой-матушкой Обью, дышим одним воздухом, ходим по тем же улицам, одинаково мерзнем в морозы и живем в конце концов под одним небом — не знаю... Но, одно слово: все мы — земляки!

В нашем стремительном жизненном ритме и многотрудных наших буднях мы не очень-то оглядываемся назад и как-то не задумываемся о том, что каждый прожитый год уходит в прошлое и уже становится историей. И хоть всего-то сотню лет намотал городской календарь, а уже многое ушло навсегда и осталось лишь в памяти старших поколений. Поменяли свое название улицы, разобраны и сожжены дома первых поселенцев, выстроены новые районы и, как оказалось, далеко не все вписано в официальную историю города. Пусть факты, вошедшие в эту книгу, не имеют такого фундаментального значения, как те, что собрали историки, но они окрашены человеческим теплом, в них продолжают звучать отзвуки прошедшей жизни, в них чувствуется атмосфера минувших лет, и потому они, на мой взгляд, интересны.

И пусть не во всех рассказах отражена напрямую городская история, зато в них повествуется о том, как жилось здесь людям, какими интересами они руководствовались, какие ценности считали для себя приоритетными. А это тоже история...

Конечно, не все собранные мною воспоминания вошли в эту книгу, потому что не все они равноценны, но многие из них еще ждут своего часа. Я надеюсь, что со временем появится и второй том воспоминаний и что вы, уважаемые читатели, мне в этом поможете.

Я заранее от имени своих соавторов прошу прощения у придирчивого читателя за возможные неточности: память человеческая — хрупкий инструмент и порою дает сбои.

Чтобы книжка была доступной каждому, чтобы она была действительно народной, мы постарались сделать ее недорогой, но так, чтобы не пострадало качество. Очень хотелось бы, чтобы вы, уважаемые читатели, вместе с нами пережили радость открытия новых знаний о таком знакомом Новосибирске. Чтобы вы, прогуливаясь по его опрятным улицам вместе с детьми или внуками, могли бы рассказать и показать им то, о чем вы прочли в этой книге — вот здесь располагался казахский аул, а здесь, на рыночной площади, выступала ярчайшая звезда революции Брешко-Брешковская, а здесь, в самом центре, было кладбище и стояла церковь, а вот тут, на месте Дома быта, в 1943 году упал и взорвался вместе с героем-пилотом истребитель... И тогда город станет чуточку роднее для них, перестанет казаться заурядным, типовым...

Особое спасибо я говорю Михаилу Камхе, который сотоварищи взял на себя все расходы по изданию этой книги, потому что он считает, что надо не громкие слова говорить о любви к родному краю, а делами эту любовь доказывать и делать все возможное для того, чтобы наш край становился лучше.

Приятного вам чтения. А для тех, кто решит написать свои воспоминания, продолжить эту книгу и расширить ее рамки, я сообщаю свой адрес: 630073, Новосибирск-73, абонементальный ящик 101. *(Примечание: указанный абонементный ящик в данный момент не используется.)*

Автор-составитель Татьяна Иванова

А по Красному бегали верблюды

Глафира Кобзева

Мы с семьей приехали в Новониколаевск — купеческий торговый город. Шел 1922 год. Самое центральное место занимала рыночная площадь, как раз там, где теперь стоит оперный театр. Богатая торговля была, бойкая. Мясо — тушами, гуси — возами, яйца — коробами. А в глубине базара кудахтали куры, кричали петухи, блеяли овечки, игогокали лошади — там продавалась всякая живность.

У Доходного дома (нынче здесь супермаркет и биржа) была своя биржа — извозчиков. Здесь лихачи поджидали седоков.

По Красному проспекту сновали туда и сюда пролетки, лошадки цокали коваными копытами по булыжной мостовой — искры во все стороны! Красота! Иногда папа брал нас с собой «в город», усаживал в пролетку, и мы важно, словно какие-нибудь господа, ехали на рынок или еще куда. Один раз выезжаем с Колыванской на Красный, смотрим, папа забеспокоился, затпрукал, лошадь еле сдерживает. Что случилось? А это по проспекту мчатся запряженные в тележки верблюды! Казахи привезли на базар кумыс да баранину. Верблюдов лошади очень боялись, хрипели, бились в поводьях, путались в постромках или несли. Беда! Поэтому нашего Воронко папа всегда зашоривал, чтобы, не дай Бог, не испугался, не натворил дел, если увидит верблюдов, которые были не редкостью в Новониколаевске.

Мой папа — извозчик. Частный элемент. У нас во дворе целых две лошадки: одна ломовая, могучая — для вспашки огородов, для перевозки тяжестей, и красавец рысак Воронко. Каждое утро папа одевался потеплее и отправлялся на биржу. Мы любили смотреть, как он одевается на работу: большие пимы-самокаты, теплый и нарядный бешмет — такая двубортная дубленка на лисьем меху со стоячим барашковым воротником, бобровая шапка. А еще он подкладывал себе на спину собачью шкуру, чтобы не продувало.

Извозчики, у которых были справная упряжь и хорошая лошадь, стоили дорого.

Прокатиться из конца в конец Ново-николаевска стоило целых 75 копеек. И конечно, разные там господа нэпманы старались нанять справногo лихача на горячей лошади. Лошадок наш папа очень любил, хорошо за ними ухаживал, холил и берег.

Папа вообще любил, чтобы все было красиво. У него все было необыкновенное — и дуга, и гнутые оглобли (до сих пор их на даче храню), а уж про пролетку и короб для седоков и говорить нечего. Зимой сиденья затягивали медвежьей полостью для тепла, а летом — дорогим сукном с кистями и галунами. Нарядно, прямо невозможно сказать как. Да и лицом мой папа был пригожий: он не пил, не курил, был свежий, приятный, поэтому седоков у него было много.

Папа был человеком очень верующим, даже когда печку топил, творил молитву, нес каждую копейку в дом и любил радовать нас, пятерых детишек, гостинцами.

Возвращается вечером домой, а мы ждем-не дождемся: «Папочка приехал!» А папочка достает из-под сиденья гостинцы всякие и снедь для дома: то конфетки на палочках, то печенье, то вафельки, потом ветчину, другую еду. А то привезет целый короб ценной какой белой или красной рыбы — тогда всего полно было.

Дом наш был на улице Тургенева, между улицами Шолохова и Грибоедова. Это я для того рассказываю, чтобы вы поняли, что в то время это место было окраинным, в каких-нибудь двухстах-трехстах метрах от нас уже начинался лес. Только он был не сосновый, как вдоль Оби, а березовый: сквозной, солнечный, до того нарядный, что и передать нельзя. Ягод и грибов там было — пропасть, цветов — море прямо. А

еще у нас был большой, веселый и просторный двор. Как осень начинается, зима — сено везут возами. Оно золотом отливает, травой пахнет, а в нем ягод полно сухих и цветов. От аромата — голова кругом. А сена много надо было: две лошади, да корова, да теленок каждый год.

А сам дом был небогатым, хотя уютным и теплым. Был он сложен из земляных пластов. Купили мы его сразу по приезду за 8 миллиардов рублей. Продавец был человеком бессовестным, потому что, как оказалось, продал дом с жильцами. Мы приехали, а там — цыганская семья! Упал цыган отцу в ноги: «Не гони нас, хозяин! Куда мы зимой с ребятишками? Пожалей деток, мы тебе вреда не сделаем. Позволь одну комнатку занять!» Папа был человеком добрым и не стал выгонять цыган. Так они и жили с нами, пока мы себе в той же ограде не построили новую избу. И правду сказать, не воровали цыгане, не баловали, не пили. Были веселые, часто песни пели. Только один раз старшая дочка не удержалась и стянула с чердака повешенные для просушки мамины бурки. Уж больно были хороши — все белые, а по голенищу красный узор, нарядные да модные. Но и тут, сказать надо, деньги за них сразу вернули и опять стали жить дружно.

Цыган умел ворожить, и к нему часто ходили, если у кого какая пропажа случалась. Он погадает и всю правду скажет. А если у кого скотину из дома свели или лошадку украли, то попросит, бывало, чтобы принесли веревку с нее или уздечку, перепутает ножки стола и говорит: «Идите домой и ждите». И верно, проходит время, и пропажа сама домой возвращается. Часто так было. Мы с сестренкой подсмотрели, как он это делает, и один раз решили сами попробовать. Мама тогда продала нашу корову, ну а мы и перепутали на кухне ножки у стола потихоньку веревочкой с нее. И что бы вы думали? Назавтра корова приходит под ворота! А потом и новый хозяин: «У меня корова пропала!» Мама говорит: «Корова у нас. Сама явилась!» «Ничего не понимаю, — говорит хозяин, — спокойная сначала была, а потом как стала биться, рваться, не заметил, как ушла». После уж мама пришла на кухню и увидела нашу веревочку. Влетело нам тогда и от папы, и от мамы.

Я хоть и маленькая была, помню, как умер Ленин. Вдруг все загудело: все городские гудки разом. Мы на улицу выскочили, а там студено, мороз аж в воздухе висит, и гудки ревут-разрываются.

— Мамочка, что случилось?

— Это, дети, умер вождь!

Кто такой вождь, мы не знали, но поняли, что случилось что-то страшное и непоправимое.

А еще помню отлично, как в 1926 году горели Бугры — деревня на том берегу Оби. Ой, горела! Пламя кидалось, металось на полнеба, летало от дома к дому, и не было от него спасения. И даже нам, через реку, было жутко. Тогда по домам пошло священство: «Выходите на улицу с иконами!» И, как сейчас вижу, выходит наша мама из дому, а в руках у нее на вышитом полотенце икона Николая Чудотворца. И у соседнего дома люди с иконами, и дальше, по всей улице. Стали тут все молиться, креститься, напевы церковные петь. И что бы вы думали? Огонь-то сам по себе и унялся! А ведь никто его не тушил — пожарные не подоспели. Люди тогда говорили: «Чудо Божие!»

Еще Новониколаевск славился разными разбойниками. Сколько нас Бог от опасности берег! В лесу за нами несколько раз гнались страшные дядьки. Один раз прямо в ограде у мамы, распрягнувшей коня, отбирали лошадь. Да тут папа вовремя из дому выскочил, да за топор, те и убежали. А то еще раз дрова прямо из усадьбы увезли — родителей-то дома не было, а нас, детей, они не убоялись... А еще было,

папу и вовсе убить хотели: он к себе на ночлег богатого человека привез. Так про то прознали и дом караулили. В ту ночь никто не спал — боялись, что сонных прирежут. Вечерами ходить было страшно, а уж по Каменке — упаси Бог! Речку-то эту, Каменку, молодые нынешние и знать не знают. Думают: ручеек в трубу спрятали. Нет! В мои годы это была полная быстрая река, и на ней стояли даже мельницы-крупчатки, а вода в Каменке была чистая-чистая!

Жили мы тогда хорошо, даже зажиточно, как, пожалуй, вся наша улица частных элементов. Рядом с нами так вовсе жил богатей, он держал кирпичный сарай, по теперешнему — кирпичный заводик. Таких кирпичных сараев в округе было несколько — город, наверное, очень строился, потому что сараи эти появлялись повсеместно. Так вот, нас, детей единоличников, не брали тогда учиться в школу. Что делать? Наши родители с соседями сообща наняли учителя, и старшие мои братья и сестры начали учиться. Уроки велись в нашем доме — он попросторнее. Я, когда уроки начинались, на печку забиралась, и мне было велено тихо сидеть, никому не мешать. Но я утерпеть не могла, когда ребята неправильно на вопросы отвечали, и всегда из-за занавески высовывалась и верный ответ выкрикивала. Махнул на меня рукой учитель: пусть уж лучше со всеми занимается, чем мешает. Так я частным образом два класса к восьми годам и закончила. А как нам разрешили в школу ходить, пошла учиться сразу в третий.

Двое моих братиков умерли совсем маленькими — один от скарлатины, другой — от кори. Тогда эти болезни лечить не умели, и, несмотря на то, что мама с ними даже в больнице лежала, братишек не спасли. Медицина была тогда слабая.

Мама часто ходила в церковь, особенно после такого горя-то. Была тогда в Закаменке красивая деревянная церковь — Казанская, стояла она там, где сейчас начинается улица Восход. Росписи были красивые, купола — загляденье! Вокруг нее после разных домов настроили, а потом и вовсе снесли. В собор Александра Невского мы не ходили: его захватили какие-то обновленцы. Их попы бороды стригли и обряды по-новому совершали. Но все равно, когда колокола с него сбрасывали, стоял плач и вой. Сбросили колокола, погрузили на телегу один колокол, хотели прочь увезти, а лошадь — ни в какую! Будто у нее ноги к земле приросли, сдвинуться не может. Тогда из толпы вышел какой-то человек, что-то пошептал, обошел вокруг, лошадь и пошла.

А в Казанской, перед тем как снести, сделали кинотеатр. Мама-то моя об этом долго не знала. Она занималась мичу-ринством. Сад у нас был большой при доме, целых 14 соток. В нем столько всего росло, что к нам каждый год из мичуринского общества на подводе приезжали, чтобы ее плоды на выставку городскую увезти. Яблони росли всякие — и стелющиеся, и в рост растущие. Даже был алма-атинский апорт, с блюдце величиной! Была и антоновка, и редкий, очень вкусный сорт — розовый бель. Сорт этот теперь вывелся. Меня недавно, уж не знаю как, томские ботаники разыскали, интересовались, не сохранился ли у меня этот самый розовый бель, им для селекции нужно. Нет, не сохранился! Когда наш дом сносили, я увезла к себе на дачу только сливу. Она у меня прижилась, большое дерево, толстенное, плодоносит дай Бог как. А ему уж теперь семьдесят лет! Были в мамином саду и груши, и море цветов. Одних георгинов 400 корней и много пионов. Они в тени плодовых деревьев росли, потому не вымерзали и не выгорали. Маме много грамот разных давали за ее умение. Так вот, один раз приходит к нам ее приятельница и говорит: «Давай сходим в кино. Там про Мичурин фильм крутят. Только знаешь, Клава, его ведь в церкви показывают!» Мама долго думала, пойти или не пойти. Как это в церкви кино глядеть, грех-то какой! Но потом поняла, что ничего она исправить

не может, надела дошку свою беличью и пошла в Казанскую церковь кино глядеть... После окончания семилетки я пошла учиться в техникум связи и в 15 лет его закончила. Училась я отлично. Сталинскую стипендию даже получала, 96 рублей. Отец мой к тому времени работал в копинсоюзе, в кооперации значит. Директор его очень уважала, а как узнала, что я образование получила, взяла меня к себе бухгалтером-калькулятором, потому что грамотных людей тогда еще очень мало было. Как-то дали мне деньги в банк снести, и все боялись — как такая крохотуля справится? Я очень маленькая была росточком, да и потом не выросла. Видят — справляюсь! Так потом эта директор попросила меня поторговать в парке имени Сталина (он теперь Центральным называется) пивом: ей большую недостачу продавцы сделали, и она им не доверяла. Стала я в парке работать, кружки доплна наливаю, народ меня хвалит за это, а я все равно каким-то образом сумела недостачу покрыть.

И было потом торжественное собрание, лучшим награды давали — отрезы, часы. И меня вызвали. Тут как народ закричит: «А этой пигалице за что?» А мне дали большую коробку конфет, и директор сказала: «Это не пигалица, а наша сотрудница, и она очень хорошо работает». Потом было большое застолье. На нем была сама Лидия Русланова. Она малость выпила, да как из-за стола выскочит! В руках крошечная гармошечка, играет на ней, а сама наплясывает да песни поет. Мы заслушались. Так-то она некрасивая с лица была, корявенькая, а уж пела! Поет да хохочет!

Георгий Крылов

Дореволюционный Новониколаевск. Мы живем на втором этаже большого дома, стоящего почти на углу Новониколаевского проспекта и улицы Гондатти, в пятикомнатной квартире — у нас большая семья. Невероятно, но этот дом сохранился! На нем даже висит мемориальная доска: «Здесь располагалось общество приказчиков и была явочная квартира Обской группы РСДРП». Как я потом узнал, мой папа, бывший приказчик, имел отношение и к тем, и к другим. Когда мне случается проходить мимо этого симпатичного дома (ул. Чаплыгина, 65), я вспоминаю себя маленьким: зажав три копейки в кулак, бегу в торговый корпус, чтобы куго1ть себе пару пирожных, или, забравшись на крышу, сваливаюсь с нее, но остаюсь невредим, потому что зацепился за ветви дерева.

Но самые яркие воспоминания детства относятся к событиям... политического характера! 1916 год. Отец берет меня на маевку — тайную праздничную сходку революционно настроенных людей. Мы идем с ним по главному проспекту, выходим на городскую окраину, к самому лесу, который начинается у речки Ельцовки. Дойдя до берега, мы сворачиваем налево и попадаем на нарядную лужайку, на которой уже собралось много народа. Расстилаются скатерти, готовится закуска, а мы, мальчишки, начинаем удить рыбу — никто не должен догадываться об истинной цели нашего собрания. Пока ловится рыба и варится уха, мужчины что-то горячо обсуждают. А я страшно горжусь собой: мне удалось поймать двух налимов и двух ельчиков. Первая Ельцовка, как и все речки, протекающие по нашему городу, была в ту пору полноводна и славилась обилием довольно ценной промысловой рыбы — ельца, отчего и получила свое название.

После обеда взрослые стали петь революционные песни, а я продолжал удить рыбу, глядел на противоположный, густо поросший лесом берег, и, конечно, не думал о том, что пройдет время, и от леса не останется и помину, что в каких-то двухстах-трехстах метрах от потаенной лужайки возникнут большие дома, в одном из которых, на площади Калинина, мне доведется жить. Порой, подходя к станции метро «Заельцовская», я сам себе отказываюсь поверить: неужели это шумное, кипящее жизнью место было когда-то настолько глухим, что могло укрыть от полицейского взгляда многолюдную маевку?

Еще одно не менее яркое воспоминание: влекомый огромной толпой народа и вездесущими мальчишками, я оказался на базарной площади, непривычно наполненной народом. В центре внимания — полная седая дама. Она стоит на извозчичьей пролетке, на груди — огромный алый бант, на голове — шляпка с голубенькими финтифлюшками. Дама говорит громким голосом: «Господа солдаты! Идите на войну! Защищайте нашу родину! Не верьте большевикам!» Ее окружали и поддерживали полицейские. Потом я узнал, что это была не кто иная, как знаменитая эсерка, «бабушка» русской революции Екатерина Константиновна Брешко-Брешковская! В то время имя ее гремело громче, чем имена Троцкого, Сталина, да, пожалуй, и самого Ленина. Шел март 1917 года...

В Новониколаевске я окончил нулевой класс мужской гимназии, располагавшейся на главном проспекте (там теперь детская больница), а в 19-м мы уехали из города. И лишь в 1932 году я, уже дипломированный специалист-лесовод, приехал в Новосибирск на важное совещание, организованное товарищами из Москвы. Жутковатым было впечатление от этой встречи: ведущие говорили о затаившихся

апологетах капитализма на лесном фронте, о необходимости борьбы с реакционными течениями, о том, что старые профессора и их ученики — вредители. Началась непримиримая борьба с научным наследием, с книгами, с учеными и практиками. Я чуть было не попал под расстрел за то, что у меня на рабочем столе лежал справочник по тарифам, составленный «вредителем» Орловым. Время прошло, и теперь медаль, учрежденную в честь Орлова, мечтает получить каждый честолюбивый биолог.

Начало тридцатых — время, когда мою альма-матер, Томский политехникум, высшее, кстати говоря, учебное заведение, стали реорганизовывать. Часть ведущих преподавателей, которых я в свою пору слушал, перевели в Новосибирск. Так, Иван Викторович Плетнев, блестящий лектор, стал первым ректором Новосибирского мединститута. Знаменитый архитектор Андрей Дмитриевич Крячков был переведен в Сибстрин. А создавать НИИГАиК приехал не менее блистательный профессор И. О. Ольшевский.

В 1935 году я был направлен в Новосибирское управление лесами местного значения, где мне поручили в дополнение к основной работе предложить свои идеи по озеленению города. Я ходил по улицам, внимательно вглядывался в зеленое убранство Новосибирска и очень хорошо запомнил наш город.

Он был преимущественно деревянным, возле каждого дома — приусадебные участки, заборчики, калиточки, в глубине дворов — сараи и стайки, в которых мычала, бляла, хрюкала, кукарекала всякая живность. Подсобных хозяйств не было только на Красном проспекте. Хотя и там частных домишек было достаточно... Из приусадебных построек особенно выделялись конюшни, которых было очень много — как сейчас гаражей. Возле всего этого роились мухи, бились слепни и оводы.

Продуманного озеленения не существовало, лишь на Красном проспекте росли и мели белым пухом посаженные в 1910 году тополя. Зато новосибирцы очень любили цветы — их было много в каждой усадьбе: мальвы, георгины, пионы, марьин корень. Однако деревьев и кустарников было явно недостаточно, исключение составляли только территория бывшего кладбища (потом парка Сталина) и сохранившиеся островки соснового бора в Октябрьском районе.

Я предложил свой план озеленения города, составил список предпочтительных пород деревьев и кустарников и уехал по назначению в Воронеж. Только через десять лет, в 1946 году, вернулся в Новосибирск. И мне повезло быть одним из основателей Центрального сибирского ботанического сада, учреждаемого в Заельцовском районе. Я был назначен заместителем директора по научной работе. Перед нами поставили задачу по изучению естественных и культурных растений Сибири с целью использовать их в народном хозяйстве. Началась огромная работа по сбору и изучению флоры Сибири. Из зон с близкой климатической характеристикой мы завозили и высаживали сотни самых различных растений. Уже через три года в ботаническом саду росло 250 сортов деревьев и кустарников, 160 видов травяных, 200 сортов декоративных цветочных культур, 100 видов лекарственных трав, много ягодников.

Деятельность эта очень мне пригодилась, когда я участвовал в разработке первого генерального плана реконструкции и развития Новосибирска по озеленению города и его окрестностей. В мою задачу входило не только подобрать состав дендрологических пород, рекомендуемых для выращивания на территории города, но и разработать схемы комбинаций посадочных соотношений аллей, парков, садов, палисадников, зеленых зон, заповедных участков. Особое внимание отводилось зеленой защите Новосибирска со стороны юго-запада от кулундинских ветров-

сухоевеев. Программа была принята и утверждена на архитектурном совете города. И что самое ценное — она стала воплощаться в жизнь! Начало пятидесятых — время, когда город буквально зазеленел. Я ездил в Кузбасс и привез оттуда две с половиной тысячи саженцев молодой липы и 500 взрослых деревьев этих же ценнейших, полезнейших для человека деревьев. Липы были высажены во многих районах. Но особенно эффектно эти красавицы смотрятся на улице Богдана Хмельницкого. В местах с влажной почвой высаживались ели и лиственницы, в других — березы и рябины, черемуха маака — роскошное дерево с гладким блестящим стволом, сирени, таволги, яблони и десятки других пород деревьев и кустарников. Не обошлось и без просчетов: клен негунда, или канадский клен, который так быстро и легко растет и приживается, оказался деревом вредным! Его мужская пыльца вызывает полиноз — легочное заболевание. Этот негунда, прозванный биологами негодником, действует избирательно — только на женщин-блондинок и детей. По идее этот клен давно пора убрать с городских улиц, как его убрали из Первомайского сквера. Но соображения дешевизны, очевидно, продолжают преобладать.

...Прошло почти пятьдесят лет. Но мне приятно, что мои идеи по зеленому убранству Новосибирска получили путевку в жизнь. Я вижу, что многое из моих замыслов сохранилось где-то частично, где-то полностью. Время идет, меняются жизнь и облик города, продолжающего, несмотря ни на что, хорошеть и развиваться. Разве могли мы тогда, в послевоенное время, предположить, что город превратится в такой гигант? Наши самые смелые прогнозы не простирались дальше пятисот тысяч населения...

Однако не могу не заметить с горечью, что многое сейчас утрачено. Это относится и к цветочному оформлению: оно находится на гораздо более низком уровне, чем в 50—60-е годы. Ушли из жизни первоклассные специалисты, творившие настоящие чудеса, умевшие выращивать потрясающие клумбы, на которых можно было видеть портреты знаменитых людей, цветочные орнаменты, сложнейшие композиции. Из цветов выкладывались часы, календари-ежедневники, работающие днем и ночью. Да и с экологической точки зрения атмосфера города ухудшилась...

Когда создавался Академгородок, я был привлечен к его созданию. До сей поры многих удивляет: как при строительстве удалось сохранить лес и уберечь его в дальнейшем? Основатель городка и научного центра академик Лаврентьев очень трепетно относился к лесу и сразу принял мои предложения по сохранению лесных массивов. О том, какое огромное значение придавал он сохранению леса, лучше всего скажет то обстоятельство, что первый приказ по вновь создаваемому филиалу Академии наук СССР, гласил: «Приступил к исполнению служебных обязанностей». А приказ за № 2 от 23 октября 1957 года содержал следующее: «...организовать лесозащитную станцию, огородить все ценные лесные посадки... принять на баланс от Бердского лесничества все леса, постройки и сооружения... организовать на территории Западно-Сибирского отделения образцовое ведение всех лесоохранительных, лесокультурных мероприятий в соответствии с рекомендациями лесоустройства и отдела леса ЗАИС-ФАН (Западно-Сибирского филиала Академии наук), всю дальнейшую рубку и пересадку лесных культур вести только с письменного разрешения руководства лесозащитной станции». Контроль за этим постановлением возлагался на начальника управления капитального строительства Георгия Чхеидзе и меня — заведующего отделом леса ЗАИСФАН.

Конечно, этот приказ был подготовлен мною. Но то, что он был принят как приоритетный, говорит о многом. Лаврентьев лично следил, как осуществляется

исполнение приказа, как люди относятся к лесу и к зеленым насаждениям. И я отлично помню, как в новогоднюю ночь один очень видный математик срубил молодой кедр. Карательные меры последовали незамедлительно: человека не только уволили, но и выселили из квартиры. Этим было показано, что поблажек не будет никому, что лес — это серьезно, что его надо беречь!

...Академгородок и в самом деле стал образцом цивилизованного отношения к лесу. Его жители наслаждаются общением с природой, живут среди зелени и пенья птиц, дышат свежим воздухом. Я говорю об этом не только как гражданин города, но и как человек, возглавлявший комиссию по охране природы СО АН СССР, и как почетный член Всероссийского общества охраны природы.

Николай Амшинский

Новониколаевск, город моего солнечного детства! С каким нежным чувством я вспоминаю твои дощатые тротуары, прилепившиеся друг к другу домики, твои просторные улицы, на которых было столько мест для мальчишеских забав и озорства!

Приехал я сюда в 1923 году, когда мне стукнуло девять лет. Наша семья расположилась тогда в самом лучшем, на мой взгляд, месте — на улице Колыванской. Лучшем потому, что рядом с нашим домом была самая прекрасная городская фабрика — конфетная. Фабрика была окружена высоким деревянным забором, возле щелей которого мы несли караул: знали, что рано или поздно отворится дверь черного хода и оттуда выйдет человек с тазом, полным бракованных карамелек. Брак-то был пустяшный: подушечки кривоватой неправильной формы, слегка примятые, но на вкус это ни капельки не влияло! Человек вываливал карамельки в стоящий возле дверей ящик и уходил. Тут мы радостно сигали через забор и, набив конфетами кульки, дня три-четыре наслаждались карамельками, угощали родных и друзей.

С Колыванской улицы открывался чудный вид на собор Александра Невского — наш дом находился как бы в низине, а храм мощно стоял на зеленом холме и смотрелся богатырем: и потому, что он был выше всех строений, и по тому, что вид на него не перегораживал построенный позже виадук — железная дорога шла прямо через Красный проспект, стелилась по земле. Когда шел поезд, возле шлагбаумов выстраивались длинные вереницы повозок, пролетов и редких автомашин. Мой отчим был крупным милицейским начальником. Мне казалось — генерал, потому что он носил ромбы в петлице. Вскоре мы получили новую квартиру, и не где-то, а на улице Гудимовской, ныне Коммунистической. Как я понимал, поселиться на Гудимовской было очень престижно, потому что именно на ней проживали самые высокие начальники Сибкрая. Новосибирск ведь тогда был краевым центром, объединявшим целый ряд областей. Он был главнее Томска, Кемерово, Барнаула! Жил на нашей улице сам Роберт Индрикович Эйхе — председатель Крайисполкома и его правая рука — Федор Павлович Грядинский, и другое руководство также имело здесь квартиры в добротных домах. Наш дом для милицейского начальства был двухэтажный, а находился он примерно на месте нынешней областной библиотеки. Он был настолько высок по сравнению с другими строениями, что мы придумали себе такое развлечение: забирались на крышу и любовались на панораму города. С нашей крыши открывалась перспектива на весь, уже тогда далеко разбросанный, Новониколаевск. Мы брали у одного из приятелей подзорную трубу и наблюдали даже пляж Бугринской рощи! Нигде на своем пути глаз не встречал препятствий — настолько еще низкорослым был будущий гигант.

Город тех лет дарил нам кучу удовольствий и развлечений. Он был по-деревенски безопасен, и потому мы были свободны, ходили без сопровождения взрослых куда душа ни пожелает. По улице Коммунистической, ныряющей под насыпь железной дороги, мы ходили купаться на Обь. Неподалеку была пристань с очень красивым дебаркадером, и мы часто купались прямо возле него. Мест для купания было вообще очень много. Та же речка Каменка, широкая, но мелкая, имела кое-где глубокие места, в которых можно было прекрасно искупаться неподалеку от дома. Теперешняя молодежь не видела этой речки, давшей название и улице, и целому

району. А ведь текла она почти по самому центру и даже пересекала Красный проспект перед тем, как соединиться с матушкой-Обью. У Каменки были крутые берега, и ее устье венчали огромные гранитные глыбы, между которыми она и бежала к Оби. Потому и называли ее Каменкой.

Купались мы и в Ельцовке. К ней мы бежали по Красному проспекту, прихватив с собой удочки. Прекрасная была рыбалка в Ельцовке! К слову сказать, Красный проспект тогда не был таким ровным, как сейчас. В пору, о которой я говорю, на подходах к Ельцовке он нырял к низенькому мосточку, а затем снова круто поднимался. Потом, за площадью Калинина, он снова шел вниз, спускаясь ко второй Ельцовке, где рос густой лес, где было лесничество и где располагались «заимки» — дачи начальников.

Рыбная ловля на Ельцовке доставляла нам особенную радость. Здесь мы варили уху, разводили костры. И, начитавшись книжки о Маугли, сами становились летающими мальчиками. Молодые березки окаймляли Ельцовку с обеих берегов, и мы вытворяли такие фокусы: заберемся вдвоем на гибкое деревце, оно низко сгибается к земле. Потом один из нас отцепляется от его веток, а тот, кто остается, летит вместе с распрямившейся верхушкой к небу и затем, используя инерцию движения, перелетает на другой берег речки. Высший пилотаж заключался в том, чтобы не просто перемахнуть речку, а еще и уцепиться за березку на противоположной стороне. Дух захватывало от таких полетов!

Но однажды мы жестоко поплатились за свое баловство. Один из нас, пока мы отвлеклись на приготовление ухи, спикировал в реку на торчащую из воды корягу и срезал себе, словно ножом, половину ягодицы! Не знаю, кто мне прошептал в уши путь к его спасению: я схватил котелок с горячей водой, плеснул ею на страшную рану и приставил отрезанную половину на место. Своими рубашками мы перемотали нашего товарища, и я, как самый сильный, поволок его на своей спине наверх, к лесничеству. Там мне дали лошадку, и мы поехали на улицу Рабочую (Чаплыгина), где находилась «Скорая помощь». Увидев следы моего «лечения», врач спросил: «Это кто же додумался так сделать?»

— Я — довольно испуганно пролепетал я.

— Правильно! Молодец! Иначе истек бы кровью твой приятель и вы бы его не дотащили. А так кровь свернулась.

В общем, спасли мы парнишку и забав своих после этого происшествия не оставили. Каждая улица по неписанному закону имела свои ватаги — эдакие бойцовские дружины. Наша, Гудимовская, долгие годы считалась непобедимой. И кто только не ходил на нас войной! И Фабричная, и Закаменка, и другие прочие, но наши дрались лучше всех на кулачках и ходили гоголем — знай наших! Жаль, что в период апогея этих сражений я еще был мальцом и в боях не участвовал, а то бы я им показал — в пионерском отряде я был самый сильный, хотя сражался с ребятами постарше и покрупнее.

О пионерском отряде особый разговор. Я горжусь тем, что был одним из первых пионеров города. Наш пионерский отряд находился не в школе, а в отдельном помещении, стоящем на задах обкома партии. В отряд принимали ребят разных возрастов. В нем было весело и очень интересно. Вернемся из школы, сделаем уроки и мчимся в отряд. Здесь работали кружки и спортивные секции, нас водили на экскурсии, на прогулки в лес и на рыбалку. Ходили мы строем, трубя в горны и стуча в барабаны, вызывая жгучую зависть остальной ребятни.

Больше всего мне запомнился момент, когда в гости к нам в отряд пришел не кто иной, как знаменитый командарм, герой гражданской войны и революции, маршал

Семен Михайлович Буденный.

Вы представляете, как это — увидеть человека, про которого мы пели лихие песни?

Веди ж, Буденный, нас смелее в бой!
Пусть гром гремит, пускай пожар кругом,
пожар кругом, Мы беззаветные герои все!
И вся-то наша жизнь есть борьба! Борьба!
Ведь с нами Ворошилов — первый красный офицер.
Мы все сумеем кровь пролить за СССР!

И вот этот самый человек перед нами! Я даже не столько слушал и запоминал, что он говорил, сколько во все глаза глядел на легендарного полководца. Но все-таки запомнил, что он сказал: пионерам надо быть сильными и смелыми и заниматься физкультурой. После чего Семен Михайлович начал демонстрировать, какой он есть геройский человек и какой прекрасный гимнаст. Прямо в галифе и в сапогах он легко подтягивался на перекладине, свободно делал всякие упражнения на гимнастических снарядах. После этого посещения мы удвоили свое спортивное усердие, и не было среди нас мальчишки, который бы не мечтал стать похожим на Буденного!

Летними вечерами мы любили ходить в Первомайский сквер. Вернее, сквера там еще не было, только-только снесли дома, стоявшие напротив Дома Ленина, и на их месте образовалась громадная площадь. На ней устраивали световые газеты. На самом-то деле это была никакая не газета, а самое настоящее кино! Между двумя столбами был натянут белый брезент, а неподалеку от него стояла хижинка на курьих ножках. В ней сидел механик и крутил кино. Крутил — правильное слово, потому что механик и в самом деле вертел ручку аппарата. Показывали фильмы Чаплина и другие художественные картины. Толпа собиралась громадная. Жившие неподалеку приносили из дому скамеечки и табуретки, умельцы приспособивали к трости сиденьица, а большинство стояло. От желающих покрутить ручку киноаппарата не было отбоя, потому что это интересно и потому что в это время можно присесть. Просуществовала эта газета несколько лет, а потом канула в лету. Одно из сильнейших впечатлений, запавших в душу на всю жизнь, — похороны знаменитого красного партизана и героя гражданской войны Петра Щетинкина, погибшего в 1927 году в Монголии. От вокзала к центру двигалась скорбная процессия. На лафете орудия стоял гроб с телом героя. Сразу за гробом шел оседланный вороной конь. Он шел низко опустив голову. Один. Это был боевой товарищ Щетинкина, и он провожал в последний путь своего друга. И уже за ним, словно признавая его право открывать траурное шествие, шли городские руководители и военные.

Фигура коня выражала столько, скорби и горя, что невозможно было без слез наблюдать эту пронзительную картину. Люди плакали. Шествие свернуло во двор Дома Ленина. Здесь, в сквере Героев революции, и нашел свое последнее пристанище Петр Щетинкин. Его похоронили под звуки ружейного салюта. Несмотря на то, что мой отчим был большим начальником, жили мы скромно. В тридцатые годы существовал так называемый партмаксимум, выше которого никто не имел права получать. Деньги были немалые — 240 рублей, но и не великие. Был еще и партминимум, меньше которого не платили. Думаю, это было правильно и справедливо.

Воспитывали нас на революционных примерах и традициях. Нам было очень

хорошо известно имя старого большевика, активного участника Октября в Сибири — Вениамина Давыдовича Вегмана. Он пользовался огромной популярностью в городе, и не было человека в 20—30-х годах, кто бы его не знал. Он был активнейшим коммунистом — заведовал Сибархивом, возглавлял Общество старых большевиков, был членом крайкома, состоял в редколлегии журнала «Сибирские огни». Его имя было присвоено Бийской улице (сейчас это Депутатская), и не было ни одного крупного мероприятия в Новосибирске, в котором бы он не участвовал. Это был красивый человек с огромным лбом и пышной, как у Карла Маркса, шевелюрой. В краеведческом музее, на углу Красного проспекта и ул. Спартака, была воспроизведена в натуральную величину камера бывшего политкаторжанина Вегмана в Забайкальских рудниках. Эта камера производила жуткое впечатление: каменный мешок с цепями и кандалами на стенах. Она символизировала собой те ужасы, которые претерпевали борцы с царизмом... В 1933 году Новосибирск очень торжественно отметил 60-летие почетного гражданина города Вегмана, а в 1937 его пришли забирать! На каторге Вениамин Давыдович заработал себе рак горла, и у него была вставлена маленькая серебряная трубочка с клапаном. Когда он говорил, то открывал и закрывал клапан рукой. При аресте ему вспомнились ужасы застенков, и чтобы избежать новых издевательств, он при всех вырвал свое искусственное горлышко и умер. Умер свободным человеком! Так закончил свою жизнь этот замечательный человек, о котором сегодня напрочь забыли.

1937 год стал роковым не только для Вегмана, но и для многих тысяч новосибирцев. На нашей Коммунистической улице пошли повальные аресты. В одну из ночей увели и моего отчима. Думаю, что конвоировали его недолго: достаточно было пересечь Красный проспект и пройти несколько шагов по той же Коммунистической. Здесь располагались опричники из НКВД, здесь велись допросы и были застенки. Этот отрезок моей родной улицы от Красного до Сереб-ренниковской вызывал страх. И люди здесь без особой нужды не ходили...

Сидел ли отчим в городской тюрьме — нынешнем речном колледже — или где-то в другом месте, не знаю. После ареста он больше не вернулся домой.

Арест отчима перевернул нашу жизнь: семья оказалась семьей врага народа. В Томском университете, в который я поступил еще до этого события, меня взял на заметку профессор, поскольку моя курсовая работа была опубликована и признана научной статьей. Профессор предложил мне продолжить обучение в аспирантуре. Я с радостью согласился и пошел в партком за разрешением. Там мне сказали: «Иди и больше не появляйся! Радуйся, что мы дали тебе доучиться!»

И даже во время войны клеймо члена семьи врага народа продолжало меня преследовать. Воевал я с 1942 года до Победы. Дослужился до высокой должности — до адъютанта Главного автомобильного управления Красной Армии. Это была полковничья должность, и в моем подчинении было полтора десятка старших офицеров, хотя сам я носил лейтенантские погоны. Все мои подчиненные неоднократно представлялись к наградам. Начальник штаба представлял к награждению и меня, но в СМЕРШе ему всегда говорили: «Опять ты его продвигаешь? Пусть скажет спасибо, что мы ему дали возможность пистолет на боку носить!»

Когда закончилась война, я попал в Москву. Имел хорошую работу и приличное жилье в самом центре — на улице Горького. Но тянуло на родину. И однажды я махнул на все рукой, купил билет, сел в поезд и покатыл в город своего детства. Эта поездка врезалась в мою память состоянием счастья, состоянием радостного предвкушения от встречи со своим родным Новосибирском. Я даже написал такие

стихи: И вновь стучат вагонные колеса, И поезд на Восток меня уносит вновь — К
родным краям, где нив густы колосья, Где в каждой веточке цветет моя любовь.

Любимый край! Поля, долины, горы
И рек-богатырей хрустальная волна,
И город мой, где жизнь была полна,
Как чаша полная вина.
И круг друзей, с кем я делил досуг,
И книжный шкаф, где строй моих подруг
Плечом к плечу в тисненых переплетах
И мыслей, и дерзаний, и полетов
Мне так понятны, так же мне родны,
Как город мой моей родной страны!

Анатолий Гутов

Всякий раз, когда мне случается проходить мимо здания мэрии, я с трудом сдерживаю

улыбку. Перед глазами так и стоит картина из далеких лет моего детства, когда на ступеньках горисполкома велась оживленная торговля: здание примыкало к центральной рыночной площади, и лучшее место для продажи товара трудно было придумать. Высокое крыльцо облюбовали китайцы. Десятки худеньких фигурок продавали игрушки. В их руках прыгали разноцветные шарики, пестрели фонарики и веера, кувыркались деревянные гимнасты, двигались фанерные медведи. Все это богатство полыхало яркими красками и притягивало взгляды ребятни словно магнитом. Мы глядели на это разнообразие до ряби в глазах и нередко покупали что-то для себя, благо стоило это все копейки. До сих пор удивляюсь, почему тогдашнее начальство мирилось с торговлей под своими окнами и вечной толчеей у входа...

Еще одна достопримечательность рыночной площади, отчетливо врезавшаяся в память, — музыкант, сидевший под одним из столбов с шапочкой для подаяния. Музыкант был слепой. Он наигрывал на баяне в основном жалостливые, выбивавшие из народа слезу мелодии. Но как! Даже я, пацан, понимал, что играл баянист необыкновенно. Возле него толпились люди, изредка кидающие к его ногам монеты. На всю жизнь запомнил имя музыканта — звали виртуоза Иван Маланин. Да! Да! Хотите верьте, хотите — нет, а только начинал свою карьеру блистательный и знаменитейший человек-оркестр уличным музыкантом на центральном рынке! Еще одна подробность, о которой забыли даже старожилы: в правой части здания Дома Ленина располагался магазин. Был он светлый, праздничный, с огромными окнами, хотя и небольшой по площади. И продавали в нем в числе всего прочего необыкновенно вкусные сайки. Больше таких я никогда и нигде не ел. Годы спустя я даже обращался в управление хлебопекарен: поройтесь в архивах, найдите забытые рецепты! Вам же будет выгодно! Но, увы, ко мне не прислушались. А зря! Были бы сейчас в Новосибирске фирменные сайки, которые могли бы стать маркой города.

Через дорогу от Дома Ленина, возле здания старого торгового корпуса, был самый необыкновенный тротуар. Стекланный. Да, не удивляйтесь! Этот чудесный тротуар должны помнить не только старики, но и люди среднего возраста — не так уж давно его уничтожили. Толстые, литого голубоватого стекла плитки были вмонтированы в чугунные решетки, по которым и ходили прохожие. В то время, когда корпус строили, электричество было еще штукой экзотической, и вот, чтобы обеспечить свет в подземных складских помещениях, строители и придумали остроумное решение — стекланный потолок.

Впервые я приехал в город шестилетним мальчишкой в 1928 году, чтобы погостить у тетки — доброй, но пьющей женщины. Нередко она пила какую-то мерзкую вонючую жидкость зеленого цвета под названием денатурат, от одного запаха которой с души воротило. Удивительно, что, выпив эту гадость, тетка не теряла ума, а умудрялась вести хозяйство, держать всякую живность и даже торговать молоком от своей коровы. Тетка меня никогда не обижала и даже баловала. Один раз мы поехали кататься в легковом автомобиле с открытым верхом! На нас с завистью глядели прохожие, а мы важничали, словно какие-нибудь господа. На этом самом

автомобиле мы проехали мимо городской Тюрьмы — маленького домика красного кирпича (он существует до сих пор, примыкая к речному училищу). Из зарешеченных окон на нас глядели темные лица заключенных. Мороз по коже! Стра-а-ашно! Еще врезалось в память: почему-то изломанные, исковерканные ворота. Так странно — тюрьма, а ворота сломаны...

Много лет я приезжал в Новосибирск погостить, а потом наша семья и вовсе перебралась сюда. Предоставленные самим себе, мы целыми днями носились по городу. Но самым любимым местом была, конечно, водная станция «Динамо». Располагалась она у самого начала улицы Большевистской и была огорожена железным забором. Билет сюда стоил сущие копейки, и на ней всегда было полно народу. Далеко в реку уходили деревянные мостки-ограждения, за которые запрещалось заплывать — полагалось купаться внутри. Но многие смельчаки предпочитали плавать на воле, бравируя своей удалью. Наплескавшись до изнеможения, мы бросались на чистые деревянные мостки и замирали в блаженстве. Какое удовольствие — уткнувшись носом в щели между отполированными водой досками, смотреть, как играет под тобой речная волна, как бегут по ней солнечные блики, как меняют свой цвет серебристые гребни. А еще запрокинешь руки за голову и смотришь в высокое небо: волны бьют в стойки мостков, плещется в ритме волна, и ты словно плывешь вместе с ней в далекие края. Замечтаешься так, пока тебя не выведет из сладкой грезы голос товарища: «Аида с вышки прыгать!»

Вышки были с отметками в 10 и даже 20 метров. И не было тогда мальчишки, кто бы не умел прыгать. Мы знали всякие фигуры и сигали в воду то солдатиком, то рыбой, то кувыркаясь на лету. Были среди нас и настоящие мастера, которые вытворяли в полете всякие сальто-мортале. На них мы взирали с почтением и обожанием. И, право, их мастерство стоило уважения! И как мне жаль, что сегодняшняя молодежь лишена такого удовольствия. Стоим на великой реке, а прыгнуть в воду, испытать себя, пережить острое чувство опасности и радости ее преодоления — негде! Бегали мы на станцию мимо собора Александра Невского. Тогда в нем еще шли службы, и он был огорожен красивой металлической оградой. А со стороны Красного проспекта перед храмом стояли три высоких надгробия. Запомнил надпись на одном: «Здесь лежит Тихомиров». Позже узнал, что Тихомиров был инженером, строил железнодорожный мост, давший жизнь городу. Потом его могилу сравнивали с землей...

В 1934 году пустили трамвай. Первая его веточка была малюсенькая — от оперного театра к фабрике им. ЦК швейников (нынче она называется «Синар»). Линия была одноколейная, и вагон имел две кабины — впереди и сзади. Закончив маршрут, вагоновожатая переходила в другой конец вагона и отправлялась в обратный путь. Я частенько катался на трамвае и, конечно, без билета, полагая, что вожатая, наша бывшая деревенская женщина по фамилии Ковязина, в случае чего вступится за меня.

Еще одна примета тех лет — золотари. Существовала огромная команда возчиков этого «добра». Город-то был не благоустроен, и если регулярно не чистить уличные уборные, то пойдут всякие эпидемии. И вот иногда собирается команда в 15—20 подвод и тихохонько, чтобы не расплескать содержимое бочек, тянется цугом по улице. Вонь, извините за выражение, стоит нестерпимая, прохожие зажимают носы, прячутся в магазины, в подворотни, ребятня забегают в дома, а те едут себе спокойненько, держат в грязных лапищах булки и знай себе жуют!

Содержимое бочек выливалось в Октябрьском районе, сразу за кладбищем, на

гигантском пустыре возле теперешнего сельхозинститута. И я вспоминаю, что когда мы проезжали мимо него, старались побыстрее миновать это место — «ароматы» стояли нестерпимые!

В 1937 году в городе появился новый секретарь обкома по фамилии Борков. О нем сразу заговорили как о «хорошем» секретаре. Народу нравилось, что он постоянно ходил по магазинам, занимал очередь и как все записывал на своей ладони номер химическим карандашом. Очереди были многочасовые! После визитов в магазины Борков вызывал своих подчиненных и распекал их, «давал жару», как говорили в народе. И хоть не удалось ему ликвидировать очереди и справиться со снабжением товаров, его очень любили...

Алексей Тростонецкий

Новосибирск планировали и строили очень умные люди. Нельзя не восхищаться их умением глядеть вперед и думать о том, как будут жить грядущие поколения. Возьмите для примера Красный проспект — бывший Николаевский. Какая ширина, какой размах! А ведь прокладывали его в крошечном еще поселке, где весь транспорт — пролеточка! А планирование городских кварталов — строго геометрическое, строго перпендикулярное, и это несмотря на многочисленные овраги! Но больше всего меня восхищает расположение первых городских предприятий. Внизу, у самой реки — нефтебаза, поближе к главной транспортной артерии — Оби, да и безопаснее на случай пожара. Чуть выше — спиртзавод, работавший, как известно, на зерне, доставляемом тоже водою. Затем — маслозавод, мясокомбинат и ограда в ограду — кожзавод и хромзавод, куда на вагонетках свозили шкуры животных с мясокомбината. Затем — сухарный завод. Все эти предприятия связаны единой железнодорожной веткой. Настоящая интеграция производства и капитала! И поставлены эти предприятия были, заметьте, таким образом, чтобы господствующие юго-западные ветры не тянули запахи заводов на город, а относили бы их в сторону леса!

Там, в районе этих заводов, в городской Нахаловке (кстати, это было официальным названием той части Новосибирска), я и жил пацаном в двадцатые-тридцатые годы, конечно же, нисколько не задумываясь о мудрости первостроителей.

Мой папа работал заведующим производством на маслозаводе, на территории которого и было наше жилье.

Сейчас в Новосибирске не производят растительного масла, а зря. Во время, о котором я рассказываю, маслозавод производил четыре вида масла: из рыжика, сурепки, льняного семени и конопли. Первые два шли на технические нужды — на производство красок и олифы, вторые — в пищу. Сырье для завода привозили крестьяне из деревень, расположенных в радиусе 100 километров от города. Едва мороз скует реки и озера, едва установится санный путь, как по первому зимнику начинают прибывать в город многочисленные обозы из деревень и поселков. Как сейчас вижу: открываются огромные ворота, впуская заиндевевший обоз из пятишес-ти запряженных в сани лошадей. Он везет с собой особые запахи зимы и деревни — конского пота, чистого снега. Закутанные в огромные тулупы возчики неуклюже выходят из саней, разминают занемевшие ноги и начинают грузить на весы привезенные мешки с сырьем. Ловкий весовщик быстро взвешивает груз и тут же ведет расчет по желанию — кому деньги, кому масло, кому жмых. Быстро, никаких накладных и бумажек! Покончив с расчетами, мужики задают корм лошадям и идут в столовую, где специально для них кипит с утра до вечера огромный многоведерный самовар. Оттаивают заиндевевшие бороды, краснеют синие от мороза лица — чай пьют до пота, закусывают прихваченной из дома снедью — салом, хлебом, луком, смолят самокрутки, после чего отправляются в неблизкий путь — по домам.

На привезенном крестьянами сырье завод работал круглосуточно и бесперебойно весь год.

По такому же принципу работал и мыловаренный завод: во всех крупных селах области у него были свои представители-салотопщики, которые скупали падший скот и вытапливали сало, затаривая его в бочки, которые и доставляли потом в

Новосибирск.

Среди прочих предприятий нашего района маслозавод выгодно отличался тем, что над ним всегда витали тонкие ароматы свежееотжатого масла — вкусный, аппетитный запах. Помню, с каким удовольствием мы, ребяташки, проникали в вечернее время в цех, где обедали рабочие. Что за восхитительная еда была у них! В разогретое на противне свежее-отжатое конопляное масло они окунали куски хлеба и запивали горячим чаем — вкуснота! Конопляное масло вообще очень вкусная вещь — ярко зеленого цвета, с едва уловимой горчинкой — чудеснейшая приправа к салатам. Как жаль, что сегодня его не производят!

Нахаловка являла собой странную смесь из черт нарождающегося индустриального города и уклада сельской, патриархальной жизни, которую перенесли сюда переселенцы из сел и деревень. Можете мне не верить, но в тридцатые годы на наших улицах еще водили хороводы взрослые девушки и парни. Любимым музыкальным инструментом оставалась балалайка, на которой умели играть многие парни. В выходные и по вечерам молодежь группировалась возле музыкантов, пела песни. В традиции были и народные игры: бить-бежать или лапта.

Преувлекательная игра. Начинали ее обычно мы, пацаны, потом к нам присоединялись ребята постарше, а потом и вовсе взрослые. Азарт охватывал настолько, что расходились по домам, когда солнышко закатывалось за горизонт. Ветхозаветность и патриархальность быта откладывала свой отпечаток и на внешность обитателей Нахаловки: косоворотки были в большой моде среди нас. Из ситца или сатина, с оторочкой, а то и вышивкой, с шелковым кушачком с кистями, они в самом деле были нарядными. Идет иной форсун по улице Сухарной, а на нем фуражечка набекрень, из-под нее чубчик выбивается, идет кисточками пояска поигрывает, на палец наматывает, идет себе в проходочку, сапожками в гармошку поскрипывает. Ши-ка-рно! Ребяшня ему завидует, девки на него поглядывают — идет что твой король. А если у него над лаковым козырьком фуражки-капитанки вьются шнурки, то это вообще знак того, что парень не из последних, а, говоря по-нынешнему, крутой. Нахаловские молодцы носили три шнурка, а Закаменские — два. И если в наших краях появлялся вдруг парень с двумя шнурочками на фуражке, то невесть откуда, мгновенно, появлялись наши: «Чего ему тут? Бей его, ребята!» И бились, непременно до сломанных зубов, до соплей, а то и до крови. Такой был форс — чужих не пущать!

Нахаловка жила хоть небогато, но сытно, гораздо сытнее, чем разоренная коллективизацией деревня. При каждом доме — огород, все держали скотину: коров, кабанчиков, птицу. Причем в нашем районе держать скот было очень легко: спиртзавод продавал населению за копейки барду — очень сытное и полезное пойло. Можно было купить жмых и на маслозаводе. А с сеного базара, располагавшегося на месте нынешнего Центрального рынка, возили возами сено. Сена городу надо было много -^ и потому, что главным транспортом были лошадки, и потому, что многие вели подсобное хозяйство. Поэтому знаменитый тоннель, что находится возле Главного вокзала и ведет на улицу Владимировскую, был спроектирован с таким расчетом, чтобы могли в нем разъехаться два воза с сеном. Неразоренная еще цивилизацией природа щедро кормила своими дарами: лес был рядом, а в нем и грибы — хоть косою коси, и ягоды — прорва! За смородиной ездили на острова Коровий и Кораблик. За черемухой и бояркой — к заводу им. Чкалова. Там, по берегам очень чистой Каменки были настоящие заросли ягодников. В речке водились в изобилии пескари. Набрав ягоды, мы не удерживались от рыбной ловли. Да и как было удержаться, когда видишь, как ходят, как играют в воде рыбины. Хоть

руками бери! Про Обь вообще особый разговор. Богата была матушка-река всякой рыбой так, что и передать трудно. Рыбной ловлей кормилось немало семей. Едва открывалась вода, как появлялись вдоль берегов землянки, шалаши рыбаков. Ловили сетями, что не было запрещено, и отвозили на рынок. А мы, пацаны, дергали на удочку рыбу в том месте, где впадал в реку тонкий ручеек отходов с мясокомбината. Прикормленная рыба стояла тут стаями и словно ожидала, когда ее подцепят на крючок. Да, сытно жил в ту пору город. К нам приезжала родственница с Украины, и я хорошо помню, как она изумлялась богатству и изобилию сибирской земли...

Тридцатые годы — время преобразования города. Примета времени — стройки. В них принимали участие все предприятия на трудовых воскресниках. На них было принято работать под духовой оркестр. Прокладывают трамвайную линию, работают лопатами, сыпят щебень, а оркестр играет «Марш энтузиастов». Помню, как я ходил с отцом на воскресник по сносу старого кладбища (теперь на его территории Центральный парк и стадион «Спартак»). Рабочие сворачивают с могил памятники и надгробия, а оркестр наяривает «Марш энтузиастов», заглушаемый криками «Антихристы!» и проклятиями пожилых людей...

Почему-то в Новосибирске было много китайцев. Это была городская трудовая беднота. Китайцы торговали на рынке хорошенькими игрушками: фонариками, разноцветными шариками, веселыми человечками, крутящимися через перекладку, другими забавками. В сапожных будочках сидели тоже в основном китайцы, они чинили за бесценок башмаки. Промышляли китайцы и у городского деревянного, впоследствии сгоревшего, цирка, который был расположен в районе нынешней площади Кондратюка. Здесь, на маленьких тележках были установлены печечки, на которых прямо на глазах прохожих китайцы пекли вкусные пирожки. Торговали они и древесным углем. Но в чем они особенно преуспевали, так это в выращивании овощей. Поселок Огурцово потому и получил свое название, что там на овощных плантациях трудились китайцы, получавшие фантастически высокие урожаи, в том числе и самых ранних огурчиков. Это был мирный, скромный народ, который то ли выехал из наших краев, то ли смешался с местным населением и растворился в нем. Но мы отчаянно дразнили их: «Ходя, соли надо?» Отчего была в ходу такая дразнилка, не знаю. Когда задирались ребятишки, китайцы терпели, но когда это позволяли себе взрослые, то они порой отвечали: «Русский дурак, свободы надо?»

Еще одна достопримечательность Нахаловки — малинники. Это был особый народ. За мясокомбинатом, на берегу Ельцовки, они выращивали преотменную, очень крупную и сладкую малину, которую возами возили в огромных ситах, подбитых рогожей, на рынок. Сколько раз мы ходили туда и пробовали воровать ягоды, но бесполезно: малинники надежно огораживали свою территорию и держали огромных псов на страже своих владений. Так что ни разу нам не удалось стащить ни одной ягодки...

В тридцатые годы, пока не набрали силу мощные индустриальные гиганты, самыми богатыми ведомствами были железнодорожное и торговое. Я учился в школе, принадлежащей железной дороге. Прекрасная была школа, с сильными преподавателями и великолепно оснащенными мастерскими, в которых учили слесарному, плотницкому и столярному делу. Умения, приобретенные на уроках труда, пригодились на всю жизнь. Именно эти ведомства и выстроили в Новосибирске первые дома культуры. ДК железнодорожников был возле вокзала, а ДК работников торговли известен как клуб им. Октябрьской революции. Мне

повезло: моя мама была торговым работником, и она очень часто приносила мне пригласительные билеты в Дом культуры на воскресные утренники, которые проводились там еженедельно. Утренники забылись, зато в памяти осталось то, что после каждого детского мероприятия нам всем вручали кулечки с подарочками. В них лежало обычно по два грецких ореха и всего несколько конфеток, но это очень радовало нас!

В тридцатые годы в Новосибирск приезжал сам легендарный Клим Ворошилов. Он приезжал не просто так, а для того чтобы отработать с красноармейцами тактику городского боя. Вот это было здорово! На одной из улиц Железнодорожного района, за переходным мостом, кажется, на Вла-димировском спуске, были нарыты окопы, прямо возле домов. Нам, пацанам, было интересно, и мы сумели пробраться поближе и посмотреть. Ждали долго, когда «начнется», и вдруг забухало, забабахало, застрекотало, стало страшно и весело, потом начали рваться взрывпакеты, и все исчезло в сплошном густом дыму — не стало видно ни домов, ни переходного моста, ни неба. А выстрелы катились дробным перекатом, фыркали, трещали, вжикали — война! Ну а самого Ворошилова мы, конечно, не видели, но потом еще долго играли в войну, которая незаметно подкатывалась, приближалась к стране, и к ней готовились.

В 1937—38 годах в городе было построено целых десять новых школ, в которых могли быть мгновенно развернуты госпитали. Об этом, конечно, учащиеся этих школ не знали, но терялись в догадках: для чего возле каждого туалета имеется ванная комната, всегда запертая на замок? Для чего в очень светлой пионерской комнате стоят раковины с подведенной водой, но с отвернутыми кранами? Для чего подвальные помещения выложены с полу до потолка белым кафелем? Когда мне потом довелось лежать с ранением в одной из этих школ-госпиталей, все загадки разрешились сами собой: пионерская комната — операционная, подвал — морг. Когда началась война, я учился в девятом классе. Нас, старшеклассников, просили устроиться на работу на оборонные предприятия. Почти все мои однокашники, кроме одного маменькиного сыночка, пошли работать. Подавляющее большинство стало трудиться на заводе им. Чкалова, а я пошел в производственные мастерские при почти отстроенном Дворце науки и культуры (оперном театре). Эти мастерские с самого начала предназначались для внутренних потребностей строительства и будущего Дворца. В 1941 году там были кузнечный, слесарный и столярный цеха. Когда в Новосибирск начали прибывать эвакуированные предприятия, нас оснастили более современным оборудованием, и мы начали делать... минометы. В холле будущего театра стоял мощный пресс для изготовления опорных плит для минометов. На нашем заводе работало около 150 человек, еще примерно столько же трудилось на втором этаже — там помещался прожекторный завод. В свободное время мы совершали путешествия по этому огромному зданию, изучили все его подсобки, лабиринты и коридоры. В ту пору в здании еще не было ничего, что говорило бы о том, что здесь будут обитать музы. Единственное, что напоминало об этом, — мастерская пожилого скульптора, который отливал из гипса статуи Глинки и Чайковского, предназначавшиеся для установки в округлых нишах у входных дверей. Почему они так и не были установлены — понятия не имею.

Привезли Третьяковскую галерею и Ленинградский артиллерийский музей. Несколько дней мы таскали ящики с картинами, с архивами, с музейными ценностями. Один из ящиков опрокинулся, и из него выпал старинный, исписанный невиданно красивым каллиграфическим почерком судовой журнал. Нам дали его полистать. Очень интересно!

В конце октября 1942 года нас, группу комсомольцев, перевели на казарменное положение, освободив при этом от основной работы. В нашу задачу входила подготовка зала и фойе к празднованию 25-й годовщины Великой Октябрьской революции, поскольку городское начальство наметило именно здесь проводить торжественное заседание. Домой в эти дни не отпускали, и мы работали не по 12 часов, как обычно, а все 16. Мы присверливали номерки на спинки кресел, крепили зеркала, цепляли хрустальные подвески на опущенную к самому полу гигантскую люстру.

В день праздника пришлось еще сдобривать лед со ступенек парадного входа, и мы настолько устали, что почти никто из моих комсомольцев (а я возглавлял комсомольскую организацию завода) не смог прийти на торжество, на которое нам дали пригласительные билеты.

К началу торжественного заседания мои орлы спали непробудным сном, а я решил-таки пойти, тем более что пригласил девушку. И не пожалел: в отдельном зале Третьяковка устроила специально для этого события небольшую экспозицию, из которой на меня самое сильное впечатление произвела картина Пукирева «Неравный брак». После заседания был дан большой концерт, на котором выступали и местные, и столичные актеры. Память донесла выступление юного, ослепительно красивого Кадочникова, который играл на гармошке и пел частушки: «Метелки вязали, в Москву отправляли, в Москву отправляли и там продавали!» В самом начале 1943 года меня, ученика аэроклуба, отправили на авиационные курсы и на фронт. Так закончились мои детские и юношеские годы в Новосибирске, городе, который я люблю.

Иван Сушков

Мы, Сушковы, — потомственные кузнецы. И отец мой, и дед, и прадед, и прапрадед — все отличные кузнецы и... знатные пьяницы. Да разве ж бывает на Руси, чтобы кузнец — да не пьяница? Никак это невозможно! Телегу привезут починить, коня подковать — чем рассчитываются? Правильно — самогоном. Потому что с деньгами на деревне испокон веку трудно было, платили натурой. Ну кто ж понесет дюжему мужику десяток яичек или кусочек масла? Ясно — несут самогон. Ну а самогон, он опохмелки назавтра требует... И пошло-поехало... Все мои предки были буйные во хмелю. Как напьются, обязательное правило — хвататься за вилы либо за топор, и ну жену по всей деревне гонять!

Отец мой был точь-в-точь как все Сушковы. И когда я мальцом заболел малярией, то и лечил он меня по-своему: как только начинало меня трясти в ознобе, брал два порошка хины, высыпал в граненый стакан с водкой и заставлял выпить! После этого я, укутанный в тулуп, согревался и засыпал. Лет восемь подряд с наступлением тепла трепала меня эта лихоманка, и все эти годы батя пользовал меня «народным средством» до тех пор, пока болезнь сама не отпустила. И как я не спился с младых ногтей и как вообще пьяницей не стал — не знаю, сам удивляюсь. Видно, с генами неувязочка вышла...

В тридцатых, в годы первых пятилеток и индустриализации, много писалось и говорилось о великих стройках. Звучали призывы стать участниками этих великих свершений. Звали и крестьян. Отец исполнился энтузиазма, погрузил на лошадь скарб, усадил в телегу меня, маму и бабушку и рванул в Новосибирск строить второй железнодорожный мост через Обь. Отправились не одни. Вместе с нами двигалось еще шесть—семь подвод из нашей деревни — все ехали в город за счастьем. Путь нам предстоял неблизкий из-под Камня-на-Оби — 240 верст!

Но вот, кажется, приехали. С возвышенного места (где-то тут теперь стоит магазин «Океан») наблюдаем раскинувшуюся панораму. Боже мой! Я никогда не видал столько людей! А город? Города-то и нет! Есть только гигантские многочисленные котлованы с вывороченной наружу глиной, огромные траншеи и тысячи, тысячи копошащихся людей. Лопаты, кирки, носилки, топоры, пилы, черные от пота рубахи, голые спины... И обозы, обозы, обозы! Они везут лес, кирпич, другие строительные материалы. Я, помню, даже спросил: «Для чего столько подвод? Что это за стройплощадка?» Мне ответили: «Сибкомбайн! И строят его пять тысяч человек!» Вот это размах! Вот это сила! Голова кругом!..

Едем дальше. И вновь видим стройку — возводят первые этажи зданий на улицах Станиславского и Пархоменко. Здесь — начало будущего соцгорода, призванного символизировать торжество победившего социализма.

Лошадка везет дальше, а я глазею по сторонам, навсегда оставляя в памяти увиденное... Свернули на Тульскую. Улица нанизала на себя три деревни: Вертково, Ересную и Бугры — интересно! Чуть дальше она запружена подводами. Сколько добра на телегах и возах! Везут сено, зерно, птицу, свиней, овец, коров. И куда они направляются? Оказалось — это бесконечная, до самой Оби очередь на переправу, на паром под названием «Орлик». Пароходик тянул баржу, на которой умещалось несколько подвод. Пока-то он съездит на другой берег, пока разгрузится да загрузится вновь, пока вернется! Вот очередь и стоит целый день. А куда все это богатство? На базар!

Наша лошадка неспешно везет дальше. Вот стоит огромная, в четыре этажа деревянная мельница Вертковская. Находилась она аккурат на том месте, где стоит сейчас издательство «Советская Сибирь». А рядом — большущий пруд. В нем плещутся гуси и утки. Приволье им тут! Переехали речку Тулу и направились в сторону площади Ефремова. Но ни площади, ни улицы Мира не было еще и в помине. Было поле — целинное. И носились по нему зайцы!

Свернули в сторону несуществующего оловозавода и спустились вниз, к деревне Малое Кривощекково.

И тут опять взору нашему открылась еще одна завораживающая картина — стройка железнодорожного моста, еще одна грандиозная панорама. Приехали!.. Отец пошел в контору, определился, огляделся, продал лошадь и несколько дней спустя купил избушку. А уже после, когда обжились на новом месте, построил дом на перекрестке трех улиц — Левобережной, Кооперативной и Безбожной. Названия улиц в поселке были под стать времени — Пионерская, Комсомольская, Союзная, Кооперативная, Безбожная, Ворошиловская, Юный Ленинец, Ильича, Искра. Часть из них была позднее уничтожена при строительстве водозабора.

Итак, мы — жители Заобского района Новосибирска. Позже, кажется, в 1934 году, после убийства Кирова, району было присвоено его имя. Мост, который строил отец, назывался имени КИМа — Коммунистического интернационала молодежи, в народе его называли просто Комсомольский мост.

Мы, Сушковы, всегда были люты на работу. Отец скоро стал ударником, стахановцем. Приходил домой усталый, в белой от соленого пота гимнастерке. Но и зарабатывал огромные, просто немыслимые для вчерашнего крестьянина деньги — 400 рублей! Чтобы вам было понятно, как это много, скажу только, что цена за корову колебалась от 300 до 400 рублей, а хромовые сапоги стоили всего тридцатку. Были бы мы, наверное, богачами, если бы не строительство дома и если бы отец не спускал много денег на водку...

Каждый день, чтобы батя не отвлекался от дела, не терял время на походы в столовую, я носил ему обед прямо на леса. До чего же интересно было там! Страшно и весело!

В отцовском звене — три человека. Один — горновой. Он разогревает горн, качая ногой воздух в меха, раскаляет докрасна заклепку и подает ее, пышащую огнем, отцу. Он — клепальщик, вставляет заклепку в отверстие, ему помогает молотобоец, который кувалдой бьет по ней, а потом отец молотком-ручником формирует у нее головку, пришивает навечно к железной конструкции.

На восьмидесятиметровой ферме трудится десятка три таких звеньев. Суший ад! Везде огонь, везде искры, бьют молотки, грохочет железо, сыплются удары, и речная гладь далеко по воде разносит этот лязг и грохот. Бывает, что кто-то срывается вниз и падает в воду — страховки-то никакой! Первое кладбище в нашей округе образовали мостостроители...

Две тысячи человек, почти все приезжие, строили этот мост и сдали его в рекордные сроки — всего за два года. Первую железнодорожную нитку по нему проложили в 31-м, а вторую, встречную, в 36-м. Но к тому времени появилась уже кое-какая механизация, отец стал работать с пневмомолот-ком, обходился без ударника. Будете ехать мимо — посмотрите на этот мост. В нем — семь пролетов. Семь ферм. Пять средних — покороче, они всего по 80 метров длиной. Две крайние — по 120. Малые фермы просто накатывали по лесам на мостовые опоры, а большую везли по реке. Вот это было зрелище! Сначала крепко стянули стальными тросами четыре баржи, на них выстроили высокие, до уровня мостовых опор леса, поместили на них

ферму, и пять буксиров, во главе с флагманским пароходом «Красный Хохряков», должны были тянуть эту махину по воде. Казалось, весь город собрался на берег. Да что там город, из деревень люди приезжали, чтобы полюбоваться этой картиной. Газеты писали, что это первый случай в мировой практике, когда такую махину буксируют по реке.

Загудели, задымили парходы, заработали лопасти, натянулись тросы, и баржи натужно стронулись под тысячеголосый вздох толпы... Орала в рупоры капитаны, неслись по воде крепкие словечки. Четверо суток тянули парходы неповоротливый груз вверх по воде до излучины, а потом, всего за одни сутки, спустились вниз, выставили ферму в проектное положение, и она встала на опоры. Мост приобрел законченный вид.

Обь всегда была рекой работающей. Но в те годы, когда строился мост, ей пришлось поработать особенно много. Одна за другой шли баржи с камнем. Их вываливали на берег, и за дело принимались каменотесы — обрабатывали их, превращали бесформенные глыбы в правильные прямоугольники. Эти гигантские «кирпичи» снова грузили на малые баржи и подвозили к будущей опоре, где каменщики укладывали их на постоянное место.

А еще Обь несла на своей спине лес. Его сплавляли не только плотами, но и огромными матами. Обычный плот — метров 70—100. А маты тянутся метров на 700, а то и на километр. На них выстроена избушка для сплавщиков, которые доставляли лес на левый берег. Здесь уже к делу приступали выкатчики. Обычно это были кривошековские мужики, которые зашибали на выкатке огромную деньгу. Скажем, семья Кривошапкиных, имевшая шесть лошадей, зарабатывала до 3000 рублей. Рассчитывался с работягами десятник. Выполнил работу — получай деньги сразу. Не то что сейчас! Бревна эти шли на строительство поселка и моста.

Малое Кривошеково, возникшее давным-давно, поместилось по одну сторону железной дороги, ведущей к мосту. Жили здесь чалдоны — серьезные люди, строгие, настоящие сибиряки. Когда-то давно обосновались они в этих краях, осели, пустили корни. А как начали строить мост, приехали мостовики-специалисты из Саратова, где они только что кончили возведение моста через Волгу.

Саратовцы стали жить по другую сторону железнодорожной ветки. И поселок стали называть Саратово. Куда идешь? В Саратово! Откуда пришел? Из Саратова! Саратовцы были народ жизнерадостный, веселый, у них часто наяривали гармошки, брэнчали балалайки. Здесь чаще пели.

Между чалдонами и саратовцами была вражда. Все началось, конечно, с молодых парней. Если в субботу чалдоны первыми приходили на танцплощадку, так и знай, что саратовцев на танцы не пустят. А если те полезут, будет драка. Если раньше приходят саратовцы, то за ножи хватаются уже чалдоны.

На этом пестрая география нашего небольшого поселения не заканчивается: был еще и Китай-город. Находился он в устье реки Тулы. Обитали здесь китайцы, которые возделывали овощные плантации на пойменных плодородных землях. Они гнули спины от зари до зари, причем работали в поле в основном мужчины. Но и урожаи у них были — что-то потрясающее! А жили китайцы в вырытых на склоне Оби землянках. Беднотища! Грязища! Еще китайцы были большие мастера стряпать пирожки, которыми торговали вразнос на улицах. Но будто бы в этих пирожках стали находить детские пальчики с ноготками, и еще будто бы дети стали теряться... Вот потому, говорят, их и выдворили всех до единого из Новосибирска — то ли перед войной, то ли после войны...

«Сибкомбайн» рос как на дрожжах. Вместе с ним поднимался и соцгород с его

красивыми благоустроенными домами. В них жили главные специалисты будущего промышленного гиганта. Трудился в то время там интереснейший человек по фамилии Мощицкий. Он работал главным инженером. В прошлом он был капиталистом, владел каким-то заводом в Омске, но добровольно передал свое имущество советской власти и стал добросовестно и честно работать на нее. Он и другу своему, некоему Лоппе, написал в Запорожье: «Если не хочешь кормить своей кровью комаров в нарымских болотах, отдай свой завод и приезжай сюда». Тот так и сделал. Приехал в Сибирь, стал техническим руководителем завода.

Друзья почти построили завод, он уже начал давать первую продукцию. Но вот Гитлер написал «Майн Кампф», и советское правительство, понимая, что это брошенный вызов, начинает тайную подготовку к войне. Совершенно секретным постановлением мирное предприятие по производству сельхозмашин становится военным. Мощицкий и его друг были, конечно, огорчены — столько трудов и замыслов потрачено вхолостую...

Их арестовали в 1936 году... В восьмидесятые, когда судьба свела меня с этим предприятием и я стал директором заводского музея, я специально собрал десятки ветеранов и задал им вопрос: «За что могли арестовать Мощицкого?» Ветераны стояли за него горой: ничего такого за ним не замечалось. Замечательный был человек и специалист. А арестовали его, должно быть, потому, что не было у властей доверия к бывшему капиталисту, то есть буржую. Арестовали и директора завода Белова. Узнав об этом, парторг «Сибкомбайна» по фамилии Молотков не стал дожидаться людей в черной коже: сам пустил себе пулю в лоб.

Тридцатые годы — удивительнейшее время. С одной стороны — репрессии, аресты, доносы, с другой — растущие на глазах города и заводы, небывалые преобразования, подлинный энтузиазм. Вы помните, какие песни пела страна?

Не спи, вставай, кудрявая!
В цехах звеня,
Страна встает со славою
На встречу дня.
И радость поет не скончая,
И песня навстречу идет,
И люди смеются, встречая,
И встречное солнце встает!

Как много было таких, дышащих радостью, песен! А ведь песня — душа народа, если она не находит отклика и созвучия, то ее не поют. А эти песни пели! Они были всенародны, они были любимы. Послушаешь их, и тебя наполняет молодой силой и кипучей энергией. Как сочеталось одно с другим в то парадоксальное время — не знаю. Но было именно так, как я рассказываю. И когда Сталин в 1936 году сказал: «Жить стало лучше, жить стало веселей», он не кривил душой. Были отменены карточки, полки новосибирских магазинов стали стремительно наполняться товарами и продуктами. А какие были хлебы! Какие каравайи! Нажмешь на буханку с силой, продавишь до донышка, а она спружинит — и тут же выправится. Вот какая силища была в тех хлебах!

Зоя Булгакова

Родители мои поженились в 1900 году. Построили они дом на улице Ломоносова, 23 (на этом месте сейчас находится здание филиала Академии наук), надворные постройки всякие, купили скотину и стали детей заводить. Пятерых человек родили! Я, четвертая, родилась в 1914 году. Тогда город назывался еще Новониколаевском.

Отец с матерью были людьми неграмотными, умели только расписаться, но зато обладали врожденной культурой. Я в нашем доме никогда не слышала не только бранных слов, но даже просто грубых, не видела скандалов. Были они людьми верующими, православными, поэтому с церковью у меня связано немало воспоминаний, тем более что она находилась в двух шагах от нашего дома — на территории нынешнего Центрального парка — и считалась кладбищенской, потому что на месте этого парка и стадиона «Спартак» было кладбище.

Мы, ребяташки, очень часто бегали в церковь свадьбы смотреть. По звону колоколов мы определяли, какое событие там происходит. Если колокол звучит протяжно, грустно — би-и-м, би-и-м, то значит, похороны, а если весело — ти-ли-ли, ти-ли-ли, то значит, свадьба! А свадьба — это так интересно, целый спектакль! И как невеста одета, и хороша ли собой, и на чем приехали, и как гости наряжены — праздник! Кстати, о праздниках. Главным праздником считалась Пасха. Хорошо помню, как впервые упросила отца взять меня в церковь к ранней заутрени куличи святить. С вечера приготовила себе одежду, чтобы впотьмах не искать — света-то не было электрического, только керосиновые лампы. Одна такая большая-большая стояла у нас на столе под красивым абажуром. В церкви так хорошо! Света — море! Сладким ладаном пахнет, священники все в блестящих одеяниях, а поют как! Вернулись, когда только светать начало. Разговляться еще рано. Ложимся еще немного поспать. А как просыпаемся, то тут-то и начинается самое главное, праздничное. Для каждого из нас, особенно для девочек, мама готовила обновки. Новые платица лежали с вечера наглаженные у наших постелей. Накануне мама накрывала длинный стол специальной пасхальной скатертью и еще с вечера ставила на него все необходимое для разговления. Все было так нарядно, так вкусно, так заманчиво: творожная пасха, куличи, гусь, поросенок, крашеные яйца. Мама умела все это красиво расставить. А на полу лежали особые дорогие пасхальные дорожки, которые вынимались только на Пасху и на Рождество. Сразу после праздника их убирали.

Мы все вставали в ряд перед иконой, и отец запевал, а мы подхватывали: «Христос воскрес из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробе живот доратав!» Смысла последних слов я не понимала и начинала хихикать. Еще меня забавляла особая серьезность и торжественность на лицах моих родных, и я прыскала то и дело. Все такие серьезные, а мне смешно! Брат стоял рядом и давал мне украдкой, чтоб отец не увидел, подзатыльник или дергал сзади за платишко. Я хихикаю опять, и брат опять — хлоп! Опять по затылку!

Когда домашний молебен кончался, мы все христосовались и садились за этот великолепный парадный стол. И я помню, как впервые выпила. Нам разлили церковное вино, которое, кстати, и продавалось в церкви, в маленькие рюмочки, я выпила, опьянела и стала кричать: «А где поросенок? Я не вижу поросенка!» Потом родные долго вспоминали мое буйство и то, что поросенок стоял передо мной!

Потом приходили визитеры. Тут был особый ритуал. Приходил один мужчина, нарядно одетый, без жены — визитер. Отец ждал этого и готовился заранее, варил пиво из меда. На печке стоял большой бочонок с краном, пыхтел, шипел, потом его снимали, остужали, как-то осветляли напиток и получалось пиво. Когда отстоится, оно такое чистенькое, сладенькое, прозрачное, хмельное. Его разливали в графины. Водки в нашем доме никогда не было, и я не помню своего отца пьяным. Папа наливал визитеру пиво в лафитник — такой высокий стакан с расширенным верхом. Мужчины христосовались, поднимали бокалы не чокаясь и медленно потягивали напиток серьезно и важно беседуя минут 15—20. Потом отец наливал в лафитник опять, опять следовали слова: «Христос воскрес», и посетитель, выпив очередной лафитничек, степенно удалялся поздравлять с праздником других важных для него особ. Непременным условием этих визитов было правило вернуться домой трезвым. Иначе — позор! На Пасху никаких других гостей, никаких гулянок у нас не было заведено. Зато отец перед праздником вкапывал во дворе в землю два высоких столба с перекладиной, навешивал крепкие веревки, клал на них большую доску и получались великолепные качели. Наболтаешься на них, бывало, до тошноты за весь день. Но зато весело!

Удивительно, но кладбище, расположенное так близко от нашего дома, совсем не казалось нам страшным. Напротив, оно давало возможность новых забав и приключений. Вернее, не оно, а огромный ров, окружавший его. Этот ров служил одновременно и оградой. Зимой в него свозили и сбрасывали снег со всей округи. Когда приходила весна, начиналось самое интересное — в образовавшемся потоке воды плыли корабли и кораблики, плоты и доски — мальчишки устраивали здесь целые флотилии. Когда наступало лето, во рву плавала и плескалась ребятня. Вода здесь была проточная и быстрая настолько, что плыть против течения удавалось не каждому мальцу. Но это было здорово! Живая вода в центре города — то-то радость!

А еще я помню, как в середине двадцатых годов в газете появилось объявление: «Граждане, на месте кладбищенской территории будет создаваться парк. Желаящие могут перезахоронить своих родственников», и назывались адреса новых кладбищ — у Березовой рощи и у аэропорта. И что тут началось! Боже мой! Весь Новосибирск, кажется, съехался сюда. Могилы раскапывали, из них доставали скелеты, укладывали в новые гробы, тащили батюшку. Он махал кадиллом, пел «Со святыми упокой», и гроб забивали и увозили на новое место. Батюшки сбивались с ног, отпевая потревоженные останки... Это продолжалось довольно долго. Потом приехал бульдозер, все сравнял, сделали всякие клумбы, посадили цветы, и получился парк, потому что кладбищенские березы-то как были, так и остались. Вот так и появился в Новосибирске парк имени Сталина, или Центральный. Мой папа не захотел забирать похороненного здесь деда, своего отца. Он считал, что заботиться надо о его душе, а не о костях, потому что кости — это прах и тленье и им все равно, где лежать. Многие же рассуждали иначе — как это по нашим покойникам кто-то будет ходить, как это тут будут смеяться и песни петь? У каждого своя правда...

С этим же кладбищем было связано еще одно, очень трагическое событие в жизни города. Не помню, в каком году, я еще маленькая была, случился в городе пожар. Ой, какой это был пожар! Он шел от самой Оби к центру, сметая все на своем пути. Ветер дул в нашу сторону. Казалось, горел весь город. Дым и гарь накрыли все небо. Страшно! По домам бегали квартальные: собирайтесь, спасайтесь! Отец поставил телегу, запряг лошадь, мать укладывала вещи, наказывая нам тревожным

голосом:

— Дети, никуда не бегайте! Сейчас погрузимся и уедем.

— А куда?

— Как куда? На кладбище!

Почему? Да потому что березы, растущие на территории кладбища, должны вроде бы были служить живой защитой от огня. Как говорили взрослые, растущая береза не скоро загорается, и в кладбищенской роще люди надеялись переждать, пока стихнет огонь.

Но вот собрались. Кажется, ничего не забыли. И только открыли ворота, как ударила молния, загредел гром и полил дождь. Дождь! Слава тебе, Господи! И опять давай таскать узлы, только теперь уже весело, под дождем в дом. И завтра, и послезавтра Новосибирск еще пах гарью, еще летали по воздуху хлопья от сгоревшего добра. Город являл собой печальное зрелище. Выгорело много-много домов.

До революции и в годы НЭПа мой папа занимался извозом. Служил он помощником черепановского купца Федора Прямова и возил от него в город товар на продажу — мед и масло. Он хоть и не знал грамоты, но считать умел хорошо. Дело он вел честно и потому его уважали.

Мама не работала, а вела наше непростое хозяйство, следила за скотиной и огородом, пекла хлебы, готовила еду и прекрасно шила на зингеровской машинке. С этой нашей машинкой однажды случилось приключение. Сидела мама дома и кормила ребенка. В доме тихо, спокойно, и вдруг эта самая машинка выезжает из угла и сама по себе начинает катиться по комнате. Никто ее не толкает, а она едет себе и едет! Мама так и обомлела, выскочила на улицу, а там народу полно и все кричат: «Землетрясение! Землетрясение!» Вот, оказывается, отчего машинка вздумала по комнате ездить...

Жили мы, пожалуй, неплохо. Были сыты, обуты и одеты. У мамы был сундучок с красивыми кофточками, а у папы — даже фрак с бабочкой. Но когда мы однажды приехали к Прямовым в Черепаново, я поняла, что попала в богатый дом. Хозяйка была такая нарядная, и обстановка в комнатах была такая необыкновенная, и такой красивый самовар стоял на столе, такая посуда! Мне это очень запомнилось.

В деревне Гуселетово, что стояла в 60 километрах от Новосибирска, у папы было много друзей. Там у отца был надел, на котором он выращивал рожь и пшеницу. И ездил он туда каждую страду. Иногда наведывался и летом, и тогда брал меня с собой. Вот это был праздник! Выезжали мы на своей лошадке чуть свет и ехали медленно, не спеша, чтобы не запалить лошадь. Приезжали в Гуселетово вечером и чуть появлялись в деревне, как отовсюду начинали раздаваться возгласы:

— Федор Евсеевич, ко мне заезжай!

— Евсеевич, давай, заворачивай ко мне!

— Уж ты нас-то не обойди, Федор!

Словом, вся деревня радовалась нашему приезду и принимала как дорогих гостей. Секрет этого приема объяснялся просто: зимой почти вся деревня наезжала к нам. Как едет кто в город купить чего или продать, так у нас останавливается. На продажу везли сметану, битую птицу, мороженое молоко. Все продадут и затем в магазины — ситчику прикупить, гостинцев всяких домашним. Вот и выходило, что одну-две ночи у нас обретались. В общем, дом у нас не пустовал.

Деревня та была красивейшая. Стояла она на берегу Оби. Какая изобильная была здесь земля! Сколько ягоды, сколько грибов! В тридцать седьмом году эту зажиточную деревню почти всю раскулачили, многие, очень многие семьи выслали. А в пятидесятых годах она ушла под водохранилище...

Маму свою я очень любила. А отца прямо обожала, просто боготворила. В любую минутку я старалась быть возле него. Всегда с большим нетерпением дожидалась: когда же он придет домой? И вот, когда распахивались двери и он входил вместе со студеным облаком в дом, сам заиндевелый, словно Дед Мороз, я бросалась к нему, он подхватывал меня на руки, а я целовала его холодное лицо, срывала с бороды и усов сосульки и, умирая от любви к своему дорогому папочке, съедала эти льдинки. Мама в этот момент морщилась от брезгливости: «Тьфу! Что же это ты делаешь?» А мне приятно было. Ах, мой добрый и любимый папочка! Он всегда заботился о нас, привозил гостинцы и всегда заступался за меня перед мамой. Я росла проказливая, шkodливая, вечно что-то пакостила, баловалась. А он говорил маме: «Не трогай ее, не трогай!» Он тоже очень любил меня и жалел особенно. Может быть, и потому, что я была совсем крошечного росточка, самая малюсенькая девочка. Благодаря этому своему росту я и стала актрисой травести, всю жизнь играла маленьких детей. Мой старший брат Николай был красавец писанный, рослый, здоровый. Он так любил театр, что решил дома устраивать представления. Для этого он с другими молодыми людьми переоборудовал наш просторный амбар — построили в нем сцену, поставили скамейки, даже суфлерскую будку сделали! Все как полагается. В день спектакля, который назывался «На пороге к делу», он оделся в отцовский фрак с бабочкой, такой франт, прямо описать невозможно! На спектакль собралось много народу, а меня, к моему великому огорчению, не пустили. Теперь-то я понимаю почему: я смешливая была до невозможности, чуть что, умираю со смеху, в общем, совсем не умела себя вести. Вот брат и запер двери перед моим носом. Но я так разозлилась, что решила назло ему свой театр устроить! Между домом и амбаром повесили занавес, настелили какие-то тряпочки, нарвали охапки травы и стали давать представления. Я была и актриса, и режиссер. Играла какого-то мотылька, читала стихи. Вот! Этакую инициативу я проявила еще дошколенком, было мне годиков пять или шесть.

В школу я пошла поздно, несмотря на то, что рано научилась читать и писать. Увидев меня, директор школы попросил маму поддержать меня еще с годочек дома: «Уж больно мала. Ребятишки ее обижать будут». Где-то во втором классе я уже участвовала в работе драмкружка и играла в спектакле «Терем-теремок». Но мой дебют прошел совсем не так, как мне мечталось. Я, конечно же, играла Мышку. Можете смеяться, но я продумала свою роль и рассчитывала «блеснуть». Однако учительница перед самым началом представления грубо вторглась в мой замысел, напялив мне на голову большую шапку с длинными ушами: «Ладно, выходи. Маленько похожа на мышку, и ладно». Это меня оскорбило и покорибило. Я сделала все, что положено, но сказала себе, что больше в драмкружок не пойду! Зато я стала посещать хоровой кружок, занятия в котором вела очень способная женщина. У меня развился слух и очень точный голосок. Эти занятия мне очень потом пригодились в моей профессиональной деятельности на сцене. Во втором классе нас принимали в пионеры. Господи, какая я гордая была! Красный галстук так торжественно надевали. Но я, конечно же, не все понимала. Нам, например, говорили: пионерам нельзя в церковь ходить. И я задумывалась: как же я в церковь ходить не буду? Мама разрешила мои сомнения: «Ты там говори, что требуют, а в церковь-то будешь ходить!» Так что обстоятельства учили врать. Несмотря на то, что религиозное сознание из нас усиленно вытраивали, было немало таких, кто рисковал и продолжал ходить в церковь. Отношение к таким «отщепенцам» было суровое: помню, как судили общественным судом, как клеймили молодого парня-комсомольца, когда узнали, что он был в храме.

Но несмотря на эти строгости, несмотря на то, что я и Ленина читала, и марксизм-ленинизм изучала, зерна, заложенные в детстве, не погибли. И я, будучи уже взрослой, нет-нет да и наведывалась в храм, несмотря на свою принадлежность к КПСС. Но делала я это втихаря, на рожон не лезла!

Закончила восьмой класс, и встал вопрос: а что же дальше? И тут — счастливая случайность. К моей старшей сестре пришла в гости подружка, которая вышла замуж за циркового артиста. Он меня спросил:

— Хочешь научиться цирковому делу?

— Очень!

— На днях мы отправляемся в турне по области, и если хочешь, можем тебя взять с собой.

И я поехала на гастроли по районам области. Меня учили акробатике, верховой езде, вольтижировке, жонглированию, упражнениям на трапециях. А на представлениях я выступала с жалостливыми песнями: «Как на кладбище Митрофановском отец дочку зарезал свою...»

Прошло лето, я вернулась домой, пора было думать о продолжении образования. И тут узнаю, что в нашем городе появился детский театр и при нем театральная студия. Ой, как мне загорелось туда попасть! Прихожу, а оказывается, занятия уже начались. Опечаленная собралась было уходить, и тут мне повстречался высокий красивый мужчина, как оказалось руководитель студии, и он решил вне плана организовать прослушивание. За столом экзаменаторов сидело человек десять. Я спела, сыграла этюд — изобразила воришку-беспризорника и... была принята! Так я стала студийкой, а потом и актрисой ТЮЗа.

Театр тогда находился в здании кинотеатра «Пионер», а в его дворе было наше общежитие, в котором я и жила, потому что мои родители из-за того, что наш дом попал под снос (готовилось строительство академии), уехали к моему брату в Андиган.

Так у меня началась новая, самостоятельная жизнь. Прошло менее года, и я впервые вышла на профессиональную сцену с сольным эпизодом. Я играла восьмилетнего мальчугана и ужасно боялась. Но, выйдя на сцену, успокоилась, и мой дебют прошел вполне успешно. Детский театр! Я окунулась в этот светлый добрый мир, мир сказки и детства. Кем я только не была за 30 лет работы в своем амплуа трагедистки! И Гердой в «Снежной королеве», и Снегурочкой, и Коньком-Горбунком, и Котом в сапогах, и Алenuшкой, и Королевой из «Двенадцати месяцев», и, конечно же, Красной Шапочкой. Моя актерская судьба сложилась счастливо, я любила своих героев и своих зрителей и думаю, что и зрители любили меня.

В 1934 или 35 году ТЮЗ перебрался в здание Дома Ленина, где до этого был кинотеатр. У нас улучшились условия, и нам нравилось, что мы работаем в таком историческом здании, построенном в честь вождя. Еще нам нравилось и было очень удобно, что на втором этаже находился радиокомитет, и мы могли после репетиций подняться наверх и там работать над готовящимися радиоспектаклями, которые выпускались довольно часто и шли в прямом эфире.

Посещение театра в те годы становилось настоящим событием. Ведь телевидения тогда еще не было, и дети переживали то, что происходит на сцене, гораздо острее, чем теперь. Они воспринимали театральное действие как настоящую жизнь, и это дорогого стоило! Если я играла голодного ребенка, то нередко подбегала девочка и клала на сцену пряник или печенье, чтобы я не умерла с голоду! Это трогало до слез. Как-то одна мама привела за кулисы заплаканную девчушку. Бедняжка разрыдалась в предчувствии того, что злодей-волк должен в следующем действии

съесть Красную Шапочку. Она уговаривала свою маму уйти домой, чтобы не видеть этого ужаса. А маме не хотелось этого делать, и она привела девчущку ко мне, чтобы я ее успокоила. Я ей и говорю:

— Ну ты же знаешь, что волк съест девочку, а потом прибежит милиционер, разрежет живот волку и Красная Шапочка выйдет живая и здоровая?

— Да, но сначала он ее все равно съест!

— Ну возьми да отвернись на минутку, и тебе не будет страшно!

Кстати, мы детей щадили. Выключали в этот момент на сцене свет и никто не видел, как страшный волк глотал бабушку и внучку. Потом делалась такая подсветка, и все видели, как мы лежим с бабушкой и корзинкой в животе у волка, и я говорю:

— Бабушка, а я тебе пирожки принесла!

Ребятишки тогда были непосредственнее и чутче: сидели, затаив дыхание, очень тихо на всех спектаклях, выражая свое отношение только в наиболее напряженных моментах. А сейчас во время спектакля в зале стоит шум и гам. Я уж не говорю об антрактах. Раньше дети так не носились по фойе. Все было организовано и настроено на особое отношение к происходящему. Ведь театр — это театр! У нас даже был специальный педагогический штаб, в котором занимались с детьми, следили за ними, проводили беседы. Были и дежурные-дети, которые тоже следили, чтобы был порядок. Очень часто нас приглашали в школы поговорить о спектакле. Нам самим было очень важно выяснить, как спектакль подействовал на детей, что они вынесли для себя, поняли ли его суть. Я помню, когда театр был еще в стадии организации, его даже хотели назвать педагогическим театром, потому что воспитательной функции придавалось очень большое значение.

Как-то так получилось, что ТЮЗ с самого начала не походил на неопытного, робко вступающего в жизнь театрального коллектива. Он сразу заявил о себе в полный голос, ярко, мощно, талантливо. Еще бы! Ведь его основу составили девять актеров из Ленинграда, приехавших сюда на волне энтузиазма, одержимых идеей создавать детские театры по всей стране. Они и стали основателями новосибирского ТЮЗа. В дальнейшем все они — Елена Агаронова, Николай Михайлов, Василий Макаров, а позже Анатолий Мовчан, Анастасия Гаршина, Виктор Орлов и другие — стали знаменитыми, получили звания. Одаренные, с высшим театральным образованием они, несомненно, оставили свой след в развитии культуры нашего города. К нам приезжали ставить спектакли известные столичные режиссеры, и это тоже помогало становлению нашего коллектива.

А когда началась война и к нам эвакуировались столичные театры, то помню, с каким радостным изумлением приехавшие актеры говорили о нашем городе и о нас: «Мы думали, что тут медведи ходят по улицам, а оказалось, что здесь такая высокая культура, гораздо выше, чем в иных европейских городах страны. А какой зритель!» Вспоминаю, как мы встречали своих эвакуированных коллег. Заранее был составлен график — кто кого встречает, куда увозит, где размещает. Многие из нас, в том числе и я, уступили свои квартиры эвакуированным. Мы были готовы к этому. Но настроение наше омрачило то обстоятельство, что неожиданно для нас вместе с ленинградским драматическим театром им. Пушкина, в одном поезде, приехала труппа ленинградского ТЮЗа. Их-то никто не ожидал! Они свалились как снег на голову! Правда, сначала ленинградцы поехали в Кузбасс и проработали там полгода. Но все это время их директор театра обивал пороги нашего обкома партии: «Вы нас выгнали к шахтерам, театр может погибнуть!» И он добился своего: нас отправили в Кузбасс, а ленинградцев вернули в Новосибирск. На наше место. На нашу сцену.

Население небольшого шахтерского городка, где мы оказались волею судьбы и обкома, было преимущественно взрослым, и поэтому там нам пришлось резко сокращать детский репертуар и увеличивать взрослый. Пришлось вводить много новых спектаклей: «Русские люди» Симонова, «Давным-давно» Гладкова, «Илья Муромец» Павленко, «Женитьба Баль-заминова» Островского, «Комедия ошибок» Шекспира и другие. Для меня там почти не было работы, и я очень тосковала. Тем более что в 1942 году погиб мой первый муж, тоже актер, с которым мы так мало прожили вместе, и я, конечно, чувствовала себя не лучшим образом.

Но для многих наших актеров период «ссылки» оказался, напротив, очень плодотворным. Новый репертуар, сложные психологические пьесы повысили и отточили их мастерство. Театр рос, мужал и стал сильнее. И когда спустя полтора года мы вернулись в родной город и к нам в театр стали заглаживать столичные коллеги, они выражали искреннее восхищение нашими спектаклями. По уровню актерского мастерства мы были на равных, и это вызывало восторг у наших коллег! Поскольку столичные гости еще не разъехались и наши квартиры были заняты, жили мы в гостинице. А в Доме Ленина одновременно работали целых три театра: ленинградский ТЮЗ, Белорусский еврейский театр и мы. Играли по очереди. Особенно нам нравились еврейские артисты и их постановки. Там были яркие дарования. Возможность посещать спектакли прославленных коллективов очень нас обогатила в творческом плане. Мы наслаждались игрой своих кумиров и учились у них многим приемам профессионального мастерства.

Когда пришло время уезжать, все наши коллеги очень благодарили нас и весь город за теплый прием, за возможность работать и жить в человеческих условиях и все время повторяли, что больше не будут думать о Сибири как о глухомани. Они уезжали с убеждением, что Новосибирск — настоящий культурный центр, в котором живут замечательные люди. И ленинградские тюзовцы пошли на мировую: не сердитесь, мол, на нас, извините, простите: война — штука жестокая!

Я вернулась в свою милую квартиру, в свой дом по улице Романова, 35, который раньше все в городе знали как дом артистов и в котором я обитаю до сих пор. У этого здания своя история. Он был выстроен перед войной для специалистов, приехавших на строительство Дворца науки и культуры (теперь это наш оперный театр) из Москвы. Когда главные работы были закончены и специалисты уехали, дом отдали работникам культуры и искусства. В свое время он был одной из достопримечательностей города.

В победные майские дни сорок пятого года к всеобщей народной радости присоединилась и моя личная — мне было присвоено звание «Заслуженный артист РСФСР».

Был в моей творческой биографии период, когда меня пригласили в московский ТЮЗ попробовать свои силы в столичном спектакле. Репетировала Королеву в спектакле по пьесе Маршака «Двенадцать месяцев». Кроме меня в репетициях принимали участие еще две актрисы. Когда спектакль был готов и на закрытый просмотр пригласили знаменитого автора, то мое исполнение понравилось ему больше всего. Директор театра предложил мне навсегда перебраться в Москву на постоянную работу в их театре, да еще и с более высоким окладом. Однако квартиры на первых порах не обещал. Предполагалось, что театр будет арендовать для меня частное жилье по договору. Я посоветовалась со своим супругом Германом Молодцовым, с коллегами и решила: не стоит покидать Новосибирск! И не только потому, что с квартирой неясно, но и потому, что мне ужасно не понравился стиль взаимоотношений в московском ТЮЗе. Пока мы готовились к спектаклю, меня

постоянно пытались склонить то к одной противоборствующей группировке, то к другой. У нас в театре никто ни с кем не боролся. Было, конечно, творческое соперничество, но это совсем другое, это — норма. А там одна актриса мне даже сказала: «Я тебе не советую здесь оставаться. Здесь тебя поедом съедят!» У нас-то не было никогда никакой грязи, никакого подсиживания, я не умела жить в такой атмосфере и не хотела учиться этой науке. Мне в Новосибирске комфортно и хорошо, он — мой родной город, как же я могу оставить его? Я приняла решение и никогда не пожалела об этом!

В 1960 году, когда за моими плечами было тридцать лет игры на сцене и 80 сыгранных ролей, я решила покинуть театр. Я глубоко убеждена, что актрисе, тем более актрисе-травести, надо уйти вовремя, чтобы о ней не говорили как о ненужной и состарившейся. Хотя я и смотрелась гораздо моложе своего возраста и могла еще какое-то время играть девочек и мальчиков, я твердо решила оставить тюзовскую сцену.

Однако и вне своей родной сцены я продолжала делать то, что я умею: много лет трудилась в Доме художественного воспитания детей, в филармонии, а сейчас — в театре «Куклы смеются». Снова рядом со мной любимые детские персонажи, снова — детские лица в зале. С ними я чувствую себя моложе и счастливее.

Оглядываясь назад, на свою прожитую жизнь, я говорю ей: «Спасибо». Я говорю спасибо моему родному городу, ставшему моей судьбой. Счастливой судьбой.

Юрий Коршунов

Далекие тридцатые годы... Я помню себя совсем маленьким. Меня, завернутого в голубое одеяло, носил по двору отец. В памяти теснятся картины детства, проведенного на улице Крылова. В марте, когда пригревало солнце и снег становился ноздреватым, мы во главе с дедом выходили за широкие ворота и начинали разбирать ближайший сугроб. Снег был плотным и чистым — не то что сейчас. Лопатами нарезались бруски, их носили в погреб и там укладывали. Получался запас холода на все лето. Иногда привозили глыбы льда с Оби. Прозрачные, они отливали зеленью. Было мне, наверное, лет пять, когда впервые увидел ледоход. Громоздились льдины, дыбились. Исчезла, изломалась, ушла вместе с конским навозом зимняя дорога...

С речкой Каменкой познакомился еще раньше. Тогда было можно спокойно купаться в ее чистых волнах, а воду можно было пить. Долина речки привлекала прохладой, зеленью. Всюду цвели огоньки. Помню, мы, малыши, боялись волосатиков — рассказывали, что вопьются и другие разные страсти. Пугались мы и жаб. Они встречались крупные, прямо с тарелку. И лопухи были огромные в зеленых высоких травах.

Улицы города, как мне помнится, были сплошь зелеными. Участки возле домов были большие, просторные.

Черемуха и рябина росли почти у каждого дома. Рядом — крыжовник, шиповник, по всем огородам — малина. Буйство красок! И воздух в жаркий летний день звенел трелями кузнечиков и кобылок, жужжал шмелями и пчелами. Бабочки летали по улицам, как по лесным просекам, которыми эти улицы и были по сути. А когда наступала пора кочевий насекомых, то полет боярышниц или стрекоз через улицу длился часами! Боярышницы летели в начале лета, а стрекозы — под осень.

Утро. Просыпаюсь в нашем старом, из толстых бревен, доме. Его привезли из ближней деревни. Стены темные, а крыша — новая. Первая дверь ведет в сени, следующая — на крыльцо. Три ступеньки крылечка — и я среди грядок с морковкой и огурцами. Потом — картошка, а потом — заросли малины. Выскакиваю в палисадник, где растет дуб. Мы его принесли от прадеда Ивана с улицы Ленской. Дуб пока молод — всего метра два высотой. Рядом — бузина, дикая вишня, татарник с красной корой и сизыми ягодами, сирень, орешник. Крыжовник с самого края. И трава — мощная, цветущая. В березах, а они преобладали на улице и окрест, басовито гудят майские хрущи. Эти крупные жуки встречались не только в мае, но и позже.

Все живое нас очень занимало. Но мы с соседом Колей и делом пытались заниматься. Завели ящички с инструментом, все копировали со взрослых. Важно носили эти ящички. Пытались даже построить самолет, присмотрев для него колеса от старой тележки. А кабину вздумали даже остеклить! Наверное, потому что часто видели стекольщиков.

— Стекла стеклить! Рамы вставлять! — Зычные и звонкие голоса не раз неслись с улицы: мы видели дядьку с большим плоским ящичком, а в нем блестели новые стекла, посверкивая зеленоватыми бликами. Это был местный сервис.

— Ножи точить! Кому ножи точить?! — Этот умелец уже с целым станком. Если есть заказ, остановится, закрутит большое колесо, искря во все стороны. А мы — рядом. Смотрим. Искры привлекают. И потом в своем дворе пытаемся их воспроизвести.

Мне проще: у моего деда целый толстый круг насажен на железную ось. Есть ручка, внизу — корыто с водой. Только крути! А это совсем не просто такому шкету, как я. Но крутили и точили!

Когда мы выходили со двора, то попадали в привольную обстановку. Вся улица была покрыта травой, включая и проезжую часть. На ней лишь изредка скрипела телега. Немного выше, за улицей Татарской, было даже болото. Однажды там увязла корова, вытащить ее не смогли.

В разгар дня мы, малыши, возимся на зеленой полянке. Очень многие горазды были собирать черепки от блюдец, чашек с красивыми узорами, попадались не только цветочки, но и зверьки. Очень ценились цветные стеклышки — красные, синие, зеленые. Девочки плели венки из одуванчиков и ромашек. Пацаны, вооружась прутьями, бегали за бабочками, стрекозами, да и жуков не пропускали. К сожалению, в ходу были и пращи. «Стреляли» по воробьям, ладно что метких стрелков почти не было...

На солнечной стороне у дома я завел первые садки для насекомых — то, что сам придумал в семь лет. В общем-то все просто: вырывалась ямка, дно выкладывалось травой и листьями, сверху — кусочек стекла. Внутри помещались насекомые, чаще всего бабочки-крапивницы, белянки, павлиний глаз. В большой банке я держал ящериц и лягушек. Где она, наша улица? Где эти прелестные бабочки — голубянки, крупноглазки, белянки, порхающие по ней и доказывающие этим, что улица очень и очень пригодна для жизни?

А время бежало. Пришла война. Мне не было и восьми лет. Стало холоднее, голоднее, но тыл был такой глубокий, а мы были так малы, что не могли до конца осознать происходящее. Тогда, в 41-м, началась война улицы на улицу — целые сражения...

Мы с сестренкой Ниной, как дети железнодорожника, ходили в свою столовую на улицу Урицкого есть суп. Это была мутная жидкость, в которой иногда можно было поймать кусок картошки. Картошка вообще вспоминается больше всего, ее ели в мундире, из нее пекли драники, ее жарили, варили, и ее всегда не хватало. Встает перед глазами Обь, зимняя, военная. Мы с тетей Дусей везем на санках мешок картошки через реку из Криво-щекова. Струной натянута веревка у низких самодельных санок. Скрип полозьев. Местами матово блестит лед среди снежных надувов. Мы часто спотыкаемся, но достигаем берега и еще целый час волочим наши санки. От голода выручал огород. К счастью, эти годы невзгод помнятся плохо. К маю 1945 года мне было всего 11 лет. Праздник Победы я встретил на камнях фонтана напротив Дома Ленина. Поток людей заполнял весь проспект. А я... считал лысых! Точную цифру не помню, но получилось мало...

Начальную школу в скромном деревянном доме на улице Татарской я закончил с похвальной грамотой. Начал ходить в мужскую школу № 4, за жиркомбинатом. От дома это было уже довольно далеко. И эти переходы добавили наблюдений. За лошадью, которая задела электропровод, и ее убило. За кавалеристами, которые занимались в своей школе перед Сенным базаром и барахолкой, у которой одноногие инвалиды продавали махорку стаканами и рюмками, а дородные тетки бойко торговали борщом, пельменями из пузатых кастрюль, беляшами, пирогами. Однако интереснее всего были луки вдоль мылзавода. В луках водились гладыши — водяные клопы. Знакомство с ними началось с того, что один из них довольно сильно уколол мне палец.

Продолжились путешествия и по огородам возле дома. Начал обращать внимание на птиц. Их было много. Особенно нравились важные трясогузки, чуть ли не первые

из перелетных птиц. Во дворе селились и горихвостки. Выделялись самцы красноватым своим оперением и черным хвостиком, постоянными перелетами с места на место.

Истинным удовольствием было обследовать стены домов, своих и соседних. В поисках куколок на стенах проводил много времени. Чаще всего попадались куколки крапивниц. Я их разглядывал, а потом следил, как выводятся бабочки.

Наверное, в пятом классе родители подарили мне микроскоп «Пионер» — сущая безделица по современным меркам. Но там были и покровные, и предметные стекла. Приоткрылся новый таинственный мир. Увы, первое мое исследование было на тему: плевков под микроскопом!

Сразу после войны начали издавать дневники и труды знаменитых путешественников — Пржевальского, Козлова, Робровского и других. Одновременно издавалась и малая серия о Чокане Велиханове, Миклухо-Маклае, русских исследователях Азии и Африки. Все это было интересно, увлекало, звало в дорогу. Была попытка создать в школе географический кружок. Но у нас не было своего преподавателя, а был совместитель. Мы собирались сами, читали книги. Я начертил карту, на ней внизу красовалось название — Таштагол. Это была дань книге Сартакова о Горной Шории.

К лету 1946 года оформилась небольшая туристическая группа во главе с учителем истории Зайцевым — три девятиклассника, два шестиклассника. И я в том числе. С трудом собрали туристские тощие пайки и отправились на Алтай. Но путешествие мне не понравилось — в нем было мало смысла, оно было созерцательным, никакой программы.

На будущий год в Новосибирске состоялся слет туристов-мальчиков. Меня послали делегатом. Рассказы о других походах показали, что путешествия можно и нужно проводить с большей пользой. Заряд был дан и попал на благоприятную почву. В том же году к нам приехал выпускник Ленинградского университета Семен Аронович Стром. На базе областной станции юных техников и натуралистов он организовал юношеское географическое общество «Сибирь». Официально был утвержден и напечатан устав общества, во главе которого стоял совет из ребят. Были секции геологов, зоологов, ботаников, гидрографов. Велись занятия, выпускался журнал «У костра». Впрочем, до костров было еще далеко. А пока мы занимались в Западно-Сибирском филиале академии наук у Юрлова, Глотова, в областном краеведческом музее у Семенова.

Началась новая жизнь. Летом 1948 года из школьников города и области была сформирована межрайонная восточная экспедиция. 17 июля начался поход на Салаир. Незабываемые дни! Встречи с интересными людьми, работа на колхозных полях, изготовление наглядных пособий, выполнение заданий геологов и гидрографов, наблюдения за животными и растениями, открытие целого клада костей древних животных — далеко не полный перечень добрых дел.

Дорог пройдено много. В 1949 году — Алтай, Чемал, Ка-ракольские озера. В 50-м — Салаир и долина Оби до Барнаула. В 51-м — южное Приобье, через год — Телецкое озеро, потом — на плотках до Бийска...

Шло время, мы росли, кончали школу, одни ребята сменяли других. В 1952 году я ехал на Алтай уже студентом Томского университета, куда поступили многие члены нашего общества.

Так вот и шагнули мы в большую жизнь с улицы Крылова. После Томского университета я учился в Харьковском — на специальной кафедре энтомологии. В 1956 году вернулся на свою родную улицу. Тогда она еще не очень изменилась. А

потом начались стройки, ломки, переделки. Улице очень не повезло — годами ее держали в черном теле, ямы и рытвины — вместо проезжей части. Если бы не метро, быть ей еще долго в ямах да ухабах. Из-за метро, строящегося по улице Гоголя, нашу заасфальтировали, наделили троллейбусом. От прежнего осталось лишь несколько старых домов да отдельные деревья. Сохранился и наш дуб. Стоит он как раз на углу ограды 95-й школы. Теперь на нем виснут мальчишки. И никто не знает, что этот дуб маленьким саженцем принесли от прадедушки моего Ивана с Ленской улицы.

Михаил Старцев

Август 1934 года. Деревянный вокзал станции Новосибирск. Рядом — вся в лесах — громада нового строящегося вокзала, которая довлеет над всем окружающим. Я вышел из вагона, спустился по широкой деревянной лестнице, меня подхватил и вынес на площадь большой поток народа. Я в Новосибирске! В городе, где мне предстояло жить и работать всю мою дальнейшую жизнь. Но я, пятнадцатилетний подросток, впервые вступающий на самостоятельную дорогу, конечно же, не заглядываю так далеко и не думаю об этом. Сейчас мне важнее всего найти работу. Знакомые отца, у которых я остановился, дали мне совет, который определил все мое будущее: они посоветовали пойти учеником на завод горного оборудования. Утром следующего дня я пошел навстречу своей судьбе. Дорога была дальней, а транспорта никакого. Пошел, ориентируясь на приметы: сначала мимо ипподрома, который находился в районе современной улицы Ольги Жилиной, потом — мимо кладбища (сегодня Дворец строителей), потом — на тарную базу, а дальше надо было идти по березовому лесу. Это сейчас здесь пролег проспект Дзержинского, а тогда шумел березняк. Наконец лес расступился, начались вырубki, пустыри, и за ними я увидел такое громадное здание, какого мне, приехавшему из маленького Минусинска, еще не доводилось встречать: в нем находились заводоуправление и школа фабрично-заводского обучения. Вокруг раздавался стук топоров, вжиканье пил, перестук молотков, конское ржание и голоса рабочих — за зданием заводоуправления раскрывалась перспектива стройплощадки молодого, организованного около трех лет назад завода.

Процедура приема в ФЗУ была непростой: надо было сдать экзамены за семилетку по русскому, математике, физике, истории. Потом был отдельный экзамен по проверке на сообразительность, сейчас бы это назвали тестированием. Экзамены я сдал и мог выбирать, кем же стать: токарем-револьверщиком, токарем-универсалом, слесарем, формовщиком-литейщиком или слесарем-модельщиком. Я решил учиться на токаря. Мне дали общежитие и стипендию размером в 31 рубль. Питания и обмундирования фэзэушникам в те времена еще не полагалось.

Подвели нас к станкам в первый же день, хотя, как мне думалось, этому должна была предшествовать хотя бы небольшая теоретическая подготовка. Дали старенький станок ЦИТ, такой примитивной конструкции, что это было ясно даже мне, новичку: большинство шестерен открыто, ременная передача на трех шкивах. Поначалу я очень боялся механизмов, старался обходить их стороной, с опаской проходил мимо большого наждачного точила, но постепенно втянулся, привык. Наш мастер Морозов, человек опытный и знающий, сумел заинтересовать нас профессией, и многие учились с удовольствием, жадно вбирая знания. Вся обстановка в школе была нацелена на то, чтобы мы стали настоящими специалистами: прекрасная библиотека, полностью укомплектованное оборудование, а преподавание, его теоретическая часть, было настолько интересным, что дух захватывало!

Среди учащихся было немало ребят, жадных до знаний, до учебы. Было видно, что ФЗУ — лишь этап в их биографии, что они пойдут учиться дальше. Но были и такие, которым было на все наплевать, которые бравировали полупрезрительным отношением к учебе.

В общежитии, куда я попал, мне на первых порах пришлось нелегко. Я происходил

из старовойсковой семьи, и после размеренной жизни в тихой религиозной среде мне мешал вечный шум и гвалт нашей большой комнаты. Очень тяготило и постоянное недоедание — стипендии хватало лишь на скудный обед в училищной столовке да на покупку по карточке 700 граммов хлеба. Наши молодые растущие организмы бунтовали против этого. Многие искали пропитание на стороне: лазали по огородам, воровали картошку на колхозных полях.

Время было такое, когда огромное значение имело социальное происхождение. Если вы происходили из семей рабочих или беднейших крестьян, то вам открывалась зеленая улица повсюду. Если же, не дай Бог, вашими родителями были служащие, зажиточные крестьяне или, того хуже, дворяне, то двери перед вами наглухо закрывались, вас не брали ни в одно приличное место — ни на работу, ни на учебу. Но поскольку жить хотелось и детям служащих, и детям «кулаков», то многие любыми путями добывали, покупали фальшивые справки, ввали в анкетах, шли на подлог. Такая липовая справка была и у меня. Мой отец был скромным торговцем, и хотя он даже не принадлежал к купеческой гильдии, но все равно был «чуждым элементом». Часть наших ребят боялись своего непролетарского происхождения, опасались, и небезосновательно, быть изгнанным из ФЗУ. Был у нас Серега Сапожников — фигура незаурядная, умница, находчивый, необыкновенно храбрый парень. Он прекрасно учился и мечтал стать летчиком, занимался параллельно на курсах планеристов и уже начал летать. Он имел все данные для того, чтобы стать настоящим летчиком. И надо же было такому случиться: что-то он там нечаянно сломал. Ретивые работники НКВД начали копаться в его «корнях» и узнали, что его отец был репрессирован! И — все! Сгинул парень!

Прошел учебный год, наступила весна, и мы отметили окончание учебы выставкой изделий, изготовленных нашими руками. На полянке возле школы стояли изготовленные 1 нами настольный сверлильный станок, домкрат и другие экспонаты. Многие люди, посетившие выставку, упорно отказывались верить, что это сделали пацаны. Покидая стены ФЗУ, мы оставили о себе память: посадили длинный ряд тополей. Они и сейчас стоят возле СПТУ № 1, невольно привлекая к себе внимание. Для нас это не просто тополя — это свидетели истории этой школы и завода.

После окончания нас отправили на завод. Впервые я переступил его проходную — деревянный, неказистый сарайчик — в 1935 году и остался здесь на целых 64 года! Сказать по правде, больших производственных достижений у меня не было, поэтому когда однажды ко мне подошел мастер и спросил: «Ну, Миша, знаешь, какой у тебя будет заработок за этот месяц?», и назвал очень солидную для меня сумму, я был несказанно удивлен и обрадован.

Я с завистью посматривал на опытных рабочих-ударников, которые работали на сверхсовременных по нашим понятиям станках — ДИПах. Расшифровывалось их название так: догнать и перегнать. Имелись в виду, конечно, капиталистические страны. Специальности токаря, фрезеровщика, вообще знающего обработчика металла тогда очень ценились и составляли мечту многих. Для неискушенных эти профессии несли в себе какую-то важную тайну, которая открывалась только избранным. Люди этих специальностей считались своего рода интеллигентами, и мне запомнилось выражение одного старого мастера: «Мы — министры в своем деле».

Рабочих кадров и оборудования не хватало, поэтому для решения этих проблем руководство города передало на баланс завода производственные мастерские ВЦСПС (Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов),

находившихся на улице Серебренниковской, но все равно растущий завод требовал новых кадров и нового оборудования.

Завод продолжал бурное строительство — рылись котлованы, закладывались фундаменты будущих цехов, возводились стены. Основными орудиями труда на стройке были кирка да лопата. Грунт кидали на длинные телеги, при выгрузке которых просто раздвигались доски днища. Эту работу выполняли чернорабочие-грабари. Их труд требовал немалой физической силы и был очень тяжел и утомителен. Около четырех десятков грабарей работали на котловане с утра до вечера, но поскольку это был малопроизводительный труд, работы продвигались медленнее, чем было надо.

Кирпич на стройку доставлялся с одного из старейших в городе заводов, стоящего на Каменском шоссе, гужевым транспортом. Этот завод-ветеран внес свой вклад в будущий завод им. Чкалова. Чтобы ускорить строительство и доставку кирпича, было решено протянуть железнодорожную ветку от стройки до кирзавода. Для этого была произведена мобилизация. Да, именно мобилизация, потому что добровольцев укладывать рельсы было маловато среди квалифицированных рабочих.

Шла работа на износ, авральными темпами. Не было ни одежды, ни порядочного питания. Но об этом и не заикались — знали, что любое напоминание об этом в лучшем случае встретит грозный окрик: «Прекратить чуждые нам разговоры!», а то и что похуже...

Линия железной дороги, которую протянули довольно быстро, была городским рубежом. Но очень скоро за линией стали появляться жилища самовольной застройки. В основном это были землянки: нарезанный пластами дерн — это стены, на них по центру — бревно с уложенными поверх досками, — крыша. Для тепла на крышу также укладывались земляные пласты. Так вот и работали, и жили многие рабочие в период первых сталинских пятилеток. Были, конечно, и засыпные бараки, но они считались роскошью и вызывали зависть.

Кто же жил в этих землянках? Вчерашние крестьяне, разоренные коллективизацией. У них отобрали все — землю, дома, одежду, скот, и в городе они были вынуждены наниматься на самые черные и тяжелые работы, чтобы хоть как-то прокормить себя. Приезжали сюда люди со всей Руси великой — из Смоленщины и Рязанщины, из сибирских и уральских сел. Немало было и женщин, мужья которых были репрессированы. Завод строили обездоленные люди, у которых не было ничего, кроме своих рабочих рук. Трагедия несчастных мало кого волновала, потому что таких людей было очень и очень много, потому что к этому привыкли. Отчаянное положение рабочих — выходцев из крестьян — было нормой того страшного времени. Рядом с землянками располагались заводские конюшни, и трудно было сказать, кому жилось лучше — людям или животным. Будущий индустриальный гигант создавался на первых порах полуголодными, оборванные рабочими. В отчетах и справках все достижения первых строителей назывались трудовым энтузиазмом... Единственной отрадой нового поселка была расположенная в одном из барачных баня, где было вдоволь кипятка и пара. Здесь с удовольствием смывали с себя липкую грязь, отогревались, распаривались и хлестались березовыми вениками из березы, благо росли они совсем рядом.

Правда, после баньки, как и полагается, многие напивались, забывая на время свою нелегкую долю. Пьяные драки, ругань, мат, скандалы — все это приметы того времени.

Чтобы выжить, люди шли нередко на преступление закона. Так, например, со

временем на месте землянок стали появляться деревянные бараки и рубленые дома. Но, понятно, поскольку тогда пиломатериалы официально практически не продавались, то их крали. И каждый, кто хотел хоть что-то изменить, хотя бы выйти из землянки, вставал на этот путь. При этом слово «красть» никто и не употреблял. Говорили «достать» или «устроить», причем говорили открыто, с ясным взглядом. Кто был посостоятельнее, тот покупал лес у дельцов, кто победнее — находил возможность добывать его без денег. Вдоль улицы Свободы, той самой, которая образовалась при строительстве завода, день и ночь шли железнодорожные составы с различными грузами, в том числе и с лесоматериалами. Лихие добытчики вскакивали на станции Ельцовка на платформы и по ходу поезда сбрасывали под насыпь что Бог послал. По ночам срывали сдерживающие груз стойки, и штабеля досок щедро рассыпались вдоль железнодорожного полотна. Добычу молниеносно уносили и надежно упрятывали.

Нравы людей падали, распространялось коллективное хулиганство. Появились так называемые «бакланы». Они одевались в косоворотку, опоясанную нарядным пояском с кистями, носили хромовые сапоги с собранными гармошкой голенищами, непременным атрибутом была заливчатая кепочка набекрень. За голенищем у многих — нож. По ночам они ходили с железными тростями, с цепями, с гирьками на крепком шнуре. Вражда была территориальная, улица на улицу. Но когда заходили городские, то залинские (т. е. живущие за железнодорожной линией) объединялись и начинались ожесточенные драки с диким и жестоким исходом, с тяжелыми, порой смертельными увечьями. Бакланы пускали в ход весь арсенал своего оружия, но и городские не давали им спуска. Ясного смысла в этой вражде не было, да о смысле и не толковали. Но, как говорится, из песни слова не выкинешь, так жили многие... Одновременно с возведением завода шло строительство соцгорода, в котором строились кирпичные дома для специалистов. В них поселилась заводская элита — инженеры и высококвалифицированные рабочие, в основном приехавшие из Центральной России. Не будь этих домов, не было бы возможности привлечь людей знающих и умеющих.

В 1936 году завод горного оборудования, еще не развернувшийся в полную силу, поменял свой профиль и стал секретным производством, которому предназначалось выпускать самолеты. Это был перелом. В то время у народа было особенное, приподнятое отношение к авиации, и тот факт, что мы будем причастны к ней, окрылял, вызывал подлинный энтузиазм и подъем. Люди стали собранней, начали серьезнее относиться к делу, к качеству своего труда.

Прибыло много специалистов из промышленных зон России, из Москвы. Они резко отличались от наших: были модно одеты, надушены и манерны. Хотя позже мы поняли, что у многих за красивой внешностью скрывались далеко не лучшие душевные качества. Но как бы то ни было, они внесли свой вклад в становление и развитие завода.

Я был уже опытным производственником, когда, проходя однажды по заводской территории, услышал... малиновый колокольный звон. Думая, что мне это почудилось, пошел на звук и увидел такую картину: с открытой железнодорожной платформы сбрасывали отливающие золотом меди колокола. Это были небольшие колокола, снятые, очевидно, с деревенских колоколен — последние свидетели надругательства над верой людей. Они доживали свои последние часы. Я стоял и думал о том, с каким трепетом их когда-то отливали мастера, добываясь постом и молитвами чистого звона: в эти дни им не полагалось есть скоромную пищу, пить и даже произносить скверные слова. Потом колокола звонили на деревенских

звонницах, отмечая радостные и горестные минуты в жизни сельской общины... Теперь же они печально вздрагивали и названивали прощальные песни... Как мне хотелось взять на память хотя бы самый маленький из них, чтобы спасти от незаслуженной жестокой казни и сохранить! Но рядом стоял суровый страж, и позволить себе такое было не только невозможно, но и опасно. Малиновый звон погиб в печах нашего завода, вместо него из переплавки вышли тупые молчащие болванки.

Впрочем, это лирическое отступление... А завод? Завод рос на глазах. Довольно скоро начали выпускать новую продукцию — первые самолеты — очень наивные, примитивные машины, в конструкции которых было много деталей из дерева и даже ткани. Но нам они казались верхом совершенства и вершиной прогресса!

Радостные перемены следовали одна за другой. Наконец-то от первой проходной до железнодорожного переезда был пущен трамвай. Трамвай в один вагон был, правда, всегда переполнен, и кондуктор с трудом протискивался сквозь толпу, но он был! Появлялись новые цеха, усложнялись наши задачи, мы становились цивилизованнее, современнее, технологичнее.

Но вот в воздухе стала распространяться тревога. Человеку свойственно чувствовать приближение беды, военного лихолетья. Предчувствие войны витало в атмосфере, о ее неизбежности говорили вполголоса, чтобы не быть обвиненными в панических настроениях, говорили в кругу друзей, дома на кухне.

И она началась. В ее тяжелую колесницу впряглись без исключения все — одни под напором тяжелых обстоятельств, другие — из сознания необходимости положить жизнь на алтарь Отечества. Строгим и сосредоточенным стал завод. Отменили отпуска, удлинился рабочий день, за опоздание на несколько минут отдавали под суд и садили в тюрьму. Мы открыли для себя таящиеся в нас внутренние резервы и всей своей жизнью показывали, на что способен народ в критических ситуациях.

Приведу только один пример: огромное производственное здание, в котором и по сей день располагается несколько цехов, росло не по дням, а в буквальном смысле слова по часам. Столбы и опоры, непрерывно доставляемые транспортом, немедленно устанавливались, и тут же производилась кладка стен — фантастика! Подобное происходило по всему заводу, на всех производствах. Внутренняя жизнь заводского коллектива стала более собранной: никто не торопился домой после 12-часовой смены, а если было необходимо, то мы оставались ночевать на работе. Как мы ждали известий о победах нашей армии! А их все не было и не было — войска отступали, но мы жили верой и надеждой.

С начала войны мы, сибиряки, со свойственным нам неторопливым укладом провинциальной жизни, столкнулись с непривычными нравами и обычаями эвакуированных специалистов. И москвичи, и киевляне держались довольно заносчиво, всячески выказывая свое пренебрежение к нашему брату-провинциалу. Это, конечно, задевало людей, думающих и тонко чувствующих. Зато о товарищах, прибывших из Ленинграда, можно говорить только самые добрые слова.

Удивительно добросовестные, серьезные, высококвалифицированные, они покоряли еще и своей культурой, которая проявлялась и в труде, и в отношениях к людям, и в быту. Они стали для многих из нас примером для подражания. Мы впервые воочию, а не с экрана, увидели людей, на которых хотелось походить. Помню, каким событием был для нас приезд прославленного авиаконструктора Яковлева. Нам всем хотелось взглянуть на этого удивительного человека, поэтому когда стало известно, что он проводит в клубе совещание, мы с завистью смотрели на счастливых, приглашенных в клуб. А там произошел забавный случай:

пожилая вахтерша никак не хотели впустить в клуб скромно одетого Яковлева без пригласительного билета:

— Не пуцу и все, мало ли вы кто...

Только после вмешательства администрации она пропустила генерального конструктора на им же созванное совещание.

Война стала испытанием на прочность, оселком, на котором проверяются все людские качества. Она проявила дремлющие до поры до времени таланты простых людей, вчерашних мужиков от сохи. Их новаторские предложения, их придумки порой приводили в восторг самых опытных технологов и конструкторов, но об этом надо писать отдельную главу повествования.

Вместе с известиями об успехах Красной Армии на фронтах стало подниматься настроение, надежда и вера сменились уверенностью в окончательной победе. Мы стали обращать внимание на такие вещи, которых не замечали в тяжелых 42-м и 43-м. Вдруг увидели, какая у нас захлавленная, запущенная территория, и стали наводить порядок и чистоту. На местах вчерашних свалок стали садить деревья, и когда они зазеленели, радовались этому, как чуду, воспринимая молодые деревца как символ новой лучшей жизни.

Летом 1945 года мы наблюдали, как по Транссибирской магистрали пошли на восток воинские эшелоны для последнего сражения второй мировой войны — схватки с Японией. С переходного моста станции Ельцовка (ныне Новосибирск-Восточный) был хороший обзор: многочисленные составы с солдатами, с открытой и зачехленной техникой на платформах. У всех военных было приподнятое настроение, из вагонов звучали музыка и песни. Люди выходили провожать войска с улыбками: ни у кого не было сомнений, что это последнее сражение будет коротким и победоносным.

Напряжение постепенно спадало, и мы начали освоение мирной продукции. Это была посуда — кастрюли, сковородки, столовые приборы и т. д. Единственно только нас удивляло, что за нее со стороны начальства был не меньший спрос, чем за военную технику. Начались изменения и в обыденной жизни. В снабжении населения появилось новое — коммерческая торговля. Особенно изменились хлебные отделы — полки были полны. На прилавках лежали большие ножи, стояли весы: покупай сколько хочешь! Одна беда — хлеб коммерческий стоил очень дорого. Начали возвращаться к родным местам эвакуированные специалисты, хотя часть из них по производственной необходимости задерживали здесь. Руководство завода принимало срочные меры, чтобы задержать в Новосибирске как можно больше людей. На территории Золотой горки спешно строились отдельные дома для желающих остаться, выделялись участки земли для садов и огородов.

Жизнь постепенно, медленно входила в нормальное русло. Но по-прежнему очень мучительным оставался вопрос городского транспорта. Люди гроздьями висели на трамвайных подножках, залазили на крыши вагонов. Многие, видя бесполезность попыток уехать, «брали на себя обязательства» добираться пешком, как бы далеко они ни жили, и тратили часы на дорогу. Завод оказывал помощь городу в реставрации разбитого подвижного состава, но его было все равно мало и это не решало проблему.

Но облик города разительно, на глазах менялся. Появился «горбатый» мост, Каменское шоссе стало именоваться проспектом Дзержинского: на нем выросли красивые дома, исчезли землянки и бараки. Завод набирал силу и расцветал, вместе с ним стали зажиточно, достойно жить и труженики нашего завода, на долю которых выпали тяжелые испытания, и которые они с честью выдержали.

Галина Телегина

До революции наша семья жила в красивом старинном городе Томске. Когда начались гражданская война и разруха, отец, спасая детей от голода, уехал сначала в деревню, а потом, во время нэпа, в Новониколаевск. Приехали мы сюда в 1925 году и поселились на городской окраине, напротив Кудряшовского бора, на берегу Первой Ельцовки. Улица была неказистая — напротив домов на возвышенности стояли огромные резервуары с крупной надписью «Нобель», от которых на высоте человеческого роста тянулись трубы, которые бежали куда-то к вокзалу. Вода в Ельцовке становилась иногда ярко-красного цвета от стекавших в нее отходов со скотобойни. И тем не менее улица носила изысканнейшее название — Моцарта! Не больше и не меньше!

И вообще, Новониколаевск был совсем захудалым городишкой — неухоженный, пыльный, со случайными строениями. Самый красивый дом — Дом Ленина, который только что построили и которым очень гордились: в него даже водили экскурсии. И в самом деле, в ту пору каменных зданий в Новониколаевске было раз-два — и обчелся.

Вспоминаю городскую лотерею, которую устроили власти возле Дома Ленина, на площади, что была на месте Первомайского сквера. Вся площадь была запружена... скотом. На коровьих рогах были прикреплены дощечки с номерами. Покупай билет — и выигрывай корову. Заманчиво! Народу собтлось великое множество — каждый хотел испытать свое счастье и выиграть такой завидный приз. Мы тоже купили билетик, и нам достался призовой номер. Схватив билет, я побежала осматривать коровьи рога. И каково же было мое разочарование, когда оказалось, что мне положен всего-навсего какой-то кувшинчик!

Мой отец был сапожником. Это было доходное ремесло, потому что он мастерски шил обувь — и сапоги, и дамские туфельки. Когда снимал мерку, то самым тщательным образом изучал все особенности ноги заказчика и замерял все неровности, все шишечки, все бугорки, а потом воспроизводил их на колодке. Поэтому обувь выходила как раз по ноге и была очень удобной. Мало того, отец умел шить так красиво, что каждой парой башмаков можно было любоваться! Я любила смотреть, как они с братом работают. Наблюдала, с какой ловкостью всучивают в конец дратвы щетинку вместо иголки — это может далеко не каждый, это целое искусство! Мне было все интересно: как набирают из полосок кожи и прессуют каблучок, как вытачивают дамские «шпильки». И уж совсем веселое дело смотреть, как делают деревянные гвоздики. Сначала берется кусок березового ствола и пилится на тонкие, в один сантиметр, диски. Они долго сушатся, а потом раскалываются на брусочки толщиной в два миллиметра. После этого каждый брусочек заостряется с двух сторон и уж потом режется поперек — выходят ровненькие, как из-под машины, абсолютно одинаковые прехорошенькие гвоздики! Я считала, что папа и брат — настоящие художники своего дела, и потому сильно обижалась, когда, придя в кинотеатр, слышала иногда крики: «Сапожники!», если лента обрывалась...

Когда жизнь стала немного стабилизироваться, мы вернулись в свой цивилизованный Томск, но я приезжала каждое лето погостить к своей двоюродной сестренке в Новосибирск. Их дом стоял в Закаменском районе, неподалеку от рынка. Возле него — унылый магазин с пугающе пустыми полками. Здесь, сменяя

друг друга, мы часами стояли в хлебных очередях. Хлеб привозили на лошади, в небольшом деревянном фургоне. Бывали случаи, когда осатаневшая от многочасового ожидания толпа останавливала фургон еще в пути и расхватывала из него хлеб — кто сколько сможет. В такие дни мы возвращались домой с пустыми руками.

Свою профессию я выбрала, учась еще в третьей группе. Классов тогда не было — это слово считалось буржуазным и было упразднено из школьной жизни. По дороге в школу мне часто встречался студент, из портфеля которого торчала длинная линейка с перекладной на конце. Эта линейка меня просто завораживала. Я не знала, как она называется, но считала, что с ее помощью «чертят дома». И я решила: как вырасту, тоже буду этим заниматься!

Так и получилось. После седьмого класса поступила в архитектурно-строительный техникум. Кадры у нас были прекрасные — многие дисциплины вели преподаватели Томского политехнического института. Среди них — князь Волконский, приехавший сюда, конечно, не по своей воле, и профессор Молотиллов, по учебнику которого училась вся страна.

Вскоре строительный факультет из Томска перевели в Новосибирск. Туда же переехала и вся профессура. Образовался новый институт — Сибстрин.

В «архитекторах» мне довелось ходить недолго: в начале тридцатых годов началось массовое строительство благоустроенных зданий, а специалистов по проектированию центрального водоснабжения, отопления и канализации не было. И тогда многих из нас перевели волевым порядком в сантехники! Прощай, мечта стать архитектором! Поначалу я рыдала от отчаянья, но потом увлеклась и полюбила эту специальность.

Нашу группу очень часто возили в Новосибирск на занятия к профессорам и на практику. В Томске благоустроенное жилье еще не строилось, и он начал сильно уступать молодому растущему Новосибирску.

Находясь на практике, я познакомилась с блестящим молодым человеком — Борисом Алексеевым. Его, архитектора по специальности, выселили из Ленинграда в 1934 году, во время чисток после убийства Кирова. Конечно же, я не могла не увлечься этим эрудитом с тонким интеллигентным лицом, прекрасными манерами. У Бориса Алексеевича был отменный вкус: он учил меня одеваться, сам выбирал ткани для платьев и пальто, которые, прямо скажу, противоречили моим тогдашним вкусам. Но я всегда ему подчинялась. Он был человеком европейского склада, ценил современную западную музыку, хорошо знал иностранную литературу. Когда учеба закончилась и я получила распределение в новосибирский «Сибстройпуть», мы стали мужем и женой. Каждую неделю муж ходил отмечаться на улицу Коммунистическую. У меня сохранился любопытный документ об условиях его высылки: «Предъявителю сего... Алексееву действительно разрешено свободное проживание в Новосибирске с обязательной явкой для регистрации в ОГПУ через каждую неделю». Видите, какая свобода!

Коллектив нашего института был очень дружный. Особенно сплотила нас работа над зданием нового вокзала в Новосибирске. Проект был результатом совместных усилий киевлян, москвичей и новосибирцев. Ходили слухи, что это копия с вокзала Чикаго: недаром Новосибирск хотели в свое время назвать Сибчикаго! Но так ли это на самом деле, я не уверена. В первоначальном варианте в правом углу здания планировалась высокая башня. При корректировке проекта ее «срезали». И правильно сделали, потому что она имела довольно нелепый вид. В нашу задачу входила «привязка» проекта к местности. Руководил этой работой мой муж. Мы все

были увлечены столь значимой работой и трудились с упоением. Наш институт принадлежал ведомству Томской железной дороги, и поэтому мы были в курсе многих дел дорожников. Однажды путевой обходчик сумел предотвратить неподалеку от Новосибирска крупную железнодорожную катастрофу. Не сделай он этого, большегрузный товарный поезд потерпел бы жуткое крушение. Группа специалистов выехала на дрезине к герою. Когда зашли в стоящий рядом с путями домик, то увидели у порога кучу спящих на полу детишек, накрытых какими-то лохмотьями. Торчали только ноги. И их было так много, что невозможно пересчитать!

Комиссия выяснила обстоятельства дела, а потом, когда стали говорить «за жизнь», спросила, в чем он нуждается. Обходчик пожаловался, что детей много, а одежды нет — голые! На вопрос, зачем же так много нарожали, добродушно ответил: «Дык, карасину-то нету, спать ложимся рано, вот и дети!» Путейцу было выдано большое вознаграждение, и, думается, он и одел, и обул своих ребятишек.

Нам с мужем дали комнату в доме на Красном проспекте, возле кинотеатра им. Маяковского. Для нас, инженерно-технических работников, которых было так мало в то время, существовало много привилегий: каждый год делали бесплатно побелку и покраску квартир, привозили бесплатный уголь для печи в общей кухне, давали 50-процентную скидку на абонементы в столовую.

Дома у нас часто бывали друзья. Например, архитектор Аркадий Ширяев, по проекту которого построен Госбанк и которым он очень гордился, другие коллеги. Часто приходили работать и два молодых талантливых студента — Ащепков и Лоскутов. Первый из них стал крупным ученым и профессором в Сибстрине, второй построил красивый жилой дом на улице Урицкого, возле здания «Сибстройпути».

Мой муж проектировал и строил спортивный комплекс «Динамо», дом на Серебренниковской, что стоит напротив ДК им. Дзержинского, но его фамилию вы нигде не встретите по причине, о которой я еще расскажу.

Познакомились мы и с главным архитектором города Тейтелем. Он — москвич, тоже был выслан в Сибирь и жил здесь один. Его жена, актриса, иногда приезжала к нему, но разделить с ним ссылку не хотела — не декабристка. Тейтель был очень красив, элегантен, имел много поклонниц. По его проекту была проведена реконструкция Дома Ленина и построен фонтан напротив него. Вспоминаю пикантный эпизод из его жизни. Он заканчивал какой-то важный проект и работал дома всю ночь, пока жена спала. Закончив работу, лег. Зато встала жена, изрезала бритвой все чертежи на подрамниках и снова легла спать. Он сам рассказывал об этом своим коллегам, и ему очень сочувствовали.

В 1936 году прилавки магазинов начали наполняться товарами. Стали заботиться даже о женщинах — появились косметика и парфюмерия, открылся специализированный магазин «ТЭЖЕ», по названию ленинградской фабрики, в нем продавали духи «Манон», «Маска», «Красный мак», пудру и губную помаду. Тогда даже ходила такая частушка:

На щеках — ТЭЖЕ,
На губах — ТЭЖЕ,
Целовать где же?

В магазины стало приятно заходить, и это радовало. В те же годы в Новосибирске был создан институт «Шахтстрой», который располагался наискосок от Главпочтамта. В этот институт было приглашено на работу много иностранцев:

немцев, американцев, венгров, французов, поляков. Начали осваивать угольный бассейн, были нужны грамотные инженеры-проектировщики. Для них были созданы хорошие условия — выделены просторные квартиры в новых благоустроенных домах, работали магазин «Ин-снаб» и ресторан с таким же названием. В этом ресторане (немыслимо!) играл джаз-оркестр! Джазовая музыка тогда считалась профанацией музыкального искусства и была под запретом для советских людей. Вход в ресторан был по специальным пропускам, поэтому там не было никакой шпаны. Мы с мужем частенько бывали там, и я очень любила наблюдать, как отдыхают и веселятся иностранцы. Многие из них приходили семьями, танцевали, шутили, все были здоровыми, сильными, жизнерадостными.

Ресторан «Инснаб» был не просто местом, где можно вкусно поесть и выпить. Это был своеобразный клуб, где встречалась творческая и техническая интеллигенция города. В нем, кстати, я познакомилась с автором оперного театра — архитектором Тургеневым. Официанты-мужчины были великолепно вышколены и демонстрировали прекрасный сервис: например, глазунью на стол подавали прямо на жаровне с раскаленными углями и она дожаривалась прямо на глазах... В два часа ночи оркестр играл прощальный фокстрот «Пока, пока, уж ночь недалека!» и уходил. А потом крутились патефонные пластинки...

Иностранцы обжились в Новосибирске, одинокие мужчины завели себе дам, некоторые женились на русских и даже приняли наше гражданство. Семейные привезли с собой невиданные вещи — холодильники, стиральные машины, детские коляски. О таких чудесах здесь и не слыхали.

Мы познакомилась с американской семьей по фамилии Югас. Мать семейства была прекрасная портниха и шила нашим модницам платья и пальто. Очередь к ней стояла месяцами, но все-таки она успела мне сшить несколько платьев. Изучив немного русский язык, они рассказали нам свою историю. В 30-х годах в Америке был тяжелый кризис, и они, бывшие фермеры, разорились. О Советском Союзе они судили по поступавшим туда продуктам — дешевым и хорошего качества. Особенно им нравились наши конфеты... Наивные люди, они решили, что если после перевозки за океан товары так дешево стоят, то в своей стране они вообще ничем. Имея такие вот представления, подталкиваемые кризисом, они откликнулись на предложение нашей страны и уговорили своих сыновей поехать в Союз. Старики сразу же приняли советское гражданство, а молодые — нет. Наступил зловещий 1937 год. На окнах магазинов появились плакаты, на которых был изображен Ежов (руководитель НКВД), сжимающий в руках по целому пучку врагов народа, а они, как змеи, извивались. Под плакатом была надпись про «ежовые рукавицы», из которых никто не вырвется!

Всех иностранцев в 24 часа превратили в шпионов и выселили из страны. А тех, кто, к несчастью, принял наше подданство, отправили в лагеря вместе с русскими женами. Американцев Югас постигла та же участь: сыновей выдворили из страны, а стариков, ставших гражданами СССР, не выпустили вместе с ними, зато выгнали из квартиры! Они ютились где-то на окраине в комнатухе частного домика без всяких средств к существованию. Народ им очень сочувствовал. Мой муж их разыскал и застал обоих в полном отчаянии. Дальнейшую судьбу их не знаю — самим пришлось уехать из города...

Расправившись с внешними «врагами», принялись и за своих. На работе каждый день недосчитывались одного-двух сотрудников. Пустели рабочие столы. Моя близкая приятельница и сотрудница Валя Дорошинская как-то утром шепнула: «Сегодня ночью взяли отца». А отец ее, старичок-инженер, работал у нас и как раз

собирался ехать на курорт... Через несколько дней она мне сказала: «Сегодня ночью взяли Юру». Это ее брат, только что вернувшийся из армии, из летной школы. Начались партийные чистки и в институте, и в управлении железной дороги. После них люди исчезали. Исчезли и сам Эйхе — председатель Сибкрайкома, и его помощник Грядинский. Про них народу говорили, что они удрали на самолете за границу. Народ в это верил. Исчезли и Тейтель, и Ширяев. Подобрали всех архитекторов, которых я знала. В соседнем доме унесли на носилках парализованного профессора. Он был неподвижен, и жена была при нем сиделкой. Она умоляла взять и ее, чтобы могла «там» за ним ухаживать. Но она была не нужна...

За мужем пришли, когда его не было в городе. Он уехал в Ленинград, где у него умер отец. Меня вызвали в первый отдел и спросили, где мой муж. Я не сказала, но срочно сообщила мужу об опасности, а сама, бросив квартиру и работу, сбежала вместе с дочкой в Томск к родителям. Спасаясь от ареста, мы решили спрятаться в Новороссийске. Там муж не стал даже прописываться. Проектировал санатории для Геленджика. Но все равно его нашли: и в Новороссийске тоже был 37-й год! А фамилию мужа, очевидно, вымарали из проектов, над которыми он работал, как вымарывались портреты руководителей, полководцев, ученых в учебниках, в книгах, если они попали под топор репрессий, — вот почему имя Алексеева абсолютно не известно ни простым новосибирцам, ни даже исследователям по истории архитектуры Сибири.

Анекдоты, на мой взгляд, ярко отражают жизнь. В то время ходил такой: встречаются двое и спорят, можно ли построить социализм в отдельно взятой стране? Один говорит — можно. Другой — нельзя. Тогда решили поискать ответ в Талмуде. Посмотрели, а там написано: «Построить можно, но жить в этой стране нельзя!» Вот мы и строили такую страну... Мужа я больше не видела. После его ареста вернулась в Томск, где живу до сих пор.

Несколько лет назад ностальгия привела меня в Новосибирск. Зашла в дом, где жила и откуда когда-то сбежала. Поднялась по крепкой лестнице на третий этаж. Все так же. Вышла в коридор — те же семь дверей, семь квартир, на моей двери тот же номер. За дверью никого не было — хозяйка была на работе. Поразили грязь в коридоре, дурной запах, захламленность. Стою, смотрю, вспоминаю... В 1937 году из семи квартир при мне увели троих, сколько без меня — не знаю.

Волнение улеглось. Вышла совершенно спокойно из этой экскурсии в прошлое и подумала: раньше народ был опрятнее. Грязи у нас не было...

Все-таки я очень любила когда-то свой Новосибирск. И до сих пор сохранила к нему доброе и почти нежное чувство.

Раиса Бриллиантова

Наша просторная, огороженная высоким забором усадьба стоит на углу улиц Фрунзе и Советской. Здесь много строений: хозяйский огромный, на десять комнат, дом, трехкомнатный флигель, наш 16-метровый домишко — бывшая баня, а еще — погреб-ледник, амбар, сеновал, коровник, конюшня, курятник, сад-огород и наша отрада — просторная зеленая лужайка. Здесь проходило наше детство и здесь было место добру, дружбе, взаимопониманию. В большом доме живут семьи Хасановых и Полежаевых, с которыми мы сдружились на всю жизнь. Хозяином усадьбы был татарин Насибулла Хасанов, прибывший в 1900 году в Новониколаевск из Нижегородской губернии. Он занимался ломовым извозом и, имея большую семью, сумел дать образование своим семерым детям.

Во дворе у нас все интересно: кудахчут куры, бегают цыплята, под крыльцом живет добродушный большой пес Тарзан. Сколько веселых счастливых дней мы пережили здесь, играя в прятки, классики, в мяч, прыгая через скакалку, залезая на сеновал, где духовито пахло разнотравьем, где можно было блаженно раскинуться на пышной травной перине, наблюдая за игрой света, пробивавшегося через неплотно пригнанные доски. Счастливые минуты незамутненной детской жизни!

По утрам мы любим наблюдать, как хозяин выводит из стойла коня Серко, впрягает его в телегу с большой бочкой для воды и едет через дорогу, к Федоровой бане, где набирает воду вся окрестность. Из высокой стены пристройки выходит длинная труба с краном и большой железной воронкой. Наполнив бочку, хозяин въезжает в широко распахнутые ворота, Серко натужно поматывает большой головой, из-под крышки бочки выплескиваются струйки воды, а навстречу бежит Тарзан, радостно повиливая хвостом.

Воду в те времена продавали. Для тех, кто подходил к водокачке с ведрами, открывалось небольшое оконце, за которым сидел «хозяин», отпуская за пятак два ведерка.

В тридцатые годы многие новосибирцы держали скот. Ранним летним утром пастух подходил к воротам, играя на рожке, и хозяйки отправляли в стадо свою скотину. Сегодня невозможно себе представить, что коровы паслись совсем недалеко от дома, в теперешнем центре города, в районе нынешнего стадиона «Спартак» и Центрального парка. Когда солнце склоняется к закату, по улицам поднимается пыль и раздается мычание — усталые, медленно шагающие коровушки-кормилицы с набухшим выменем возвращаются домой. Большой радостью для нас, ребятишек, было появление на свет ягнят. Об этом нас извещал хозяйский сын Гумер: «Ягнята родились!» Мы бежали в хозяйский дом, куда новорожденных вносили пожить, пока не окрепнут, и с умилением наблюдали очаровательных животных с тоненькими слабыми ножками, с милыми мордочками, ласкали их.

Зимой у нас свое веселье: строим снежные крепости, лепим баб, катаемся с горки, прыгаем в сугробы с высокого забора. Снег чистый, ярко-белый, мы в нем тонем, как в пуховой постели. Ах, какое это удовольствие, вволю набарахтавшись, броситься спиной в высокий сугроб, широко раскинув руки, и глядеть в высокое небо!

Устав от беготни и возни, мы усаживаемся вокруг стола и предаемся тихим занятиям: рисуем, читаем, играем в лото, в бирюльки и блошки. Бирюлька — это точеная из дерева фигурка: чашка, ваза, блюдце, кувшинчик. Все фигурки кучей укладываются в блюдце, и надо при помощи тонкой палочки с крючком на конце

суметь подцепить из кучки фигурку за тоненькое проволочное ушко, не пошевелив другие. Выигрывает тот, кто вытянет большее количество бирюлек.

А блошки — это костяные кружочки-диски с утолщением в центре. Они разных размеров и напоминают пуговицы. Если правильно нажать на блошку, она подпрыгнет. Чем выше, тем лучше. Иногда она прыгает так высоко, что слетает со стола, чему мы особенно радуемся.

Семья Полежаевых, в которой мы проводили немало времени, состояла из трех поколений. Выходцы из Петербурга, с блестящим питерским образованием, они имели сына — известного в Новосибирске художника, с детьми которого мы дружили. Это было большое семейство, в котором соблюдались интеллигентские традиции — к столу собирались в определенные часы, обедали всегда за белой скатертью, чай пили — за цветной, держали няню и домработницу. Они устраивали приемы, на которых собиралось прекрасное общество из художественной интеллигенции, играли на фортепиано, пели романсы. Запомнились и новогодние праздники для взрослых и детей, где угощали нас и дарили подарки.

Наигравшись дома и во дворе, мы шли за ворота, на улицу, где была своя жизнь: гремят телеги по булыжной мостовой, пробегают легковые коляски, медленно движется похоронная процессия, проезжает бочка ассенизатора, разнося по воздуху жуткие миазмы, или устало бредет серая, безнадежная колонна арестантов, сопровождаемая конвоирами, — типичная картина для 30-х годов.

Иногда проезжает телега, нагруженная мешками с древесным углем, рядом — угольщик в грязной одежде, с перепачканным углем лицом. Он идет и громко выкрикивает: «Кому березовые угли, выходи! Угли-и-и! Угли-и-и!». Мы бежим к маме: «Мама, угольщик проезжает!» Мама берет корзину и торопливо идет за ворота. Случай упустить нельзя, без угля ни разогреть воду в самоваре, ни накаливать утюг. Березовый уголь, мелкий, ломкий, быстро загорается от тоненькой лучинки, стоит копейки, а жизнь облегчает!

Ходили по дворам и мужики-точильщики. Они носили на плечах свой инструмент: кремниевый круг на деревянной подставке, соединенный с большим колесом и приводимый в движение ногой. Точильщики входили во двор и призывали: «Ножи-ножницы точи-и-ть!» Иногда забредали и ходячие сапожники-китайцы, которых называли «ходя». Они были очень бедные, несчастные, оказавшиеся на обочине жизни люди. Их было очень много в нашем городе.

Федорова баня, что напротив нашего бывшего дома, была городской достопримечательностью. Не случайно в старом Новониколаевске была в ходу поговорка о городе: «Вокзал, базар, Федорова баня!» Построенная до революции предприимчивым и умным человеком, железнодорожным служащим Федоровым, она дожила до наших дней и всегда верно служила людям. На наших глазах она неоднократно перестраивалась и становилась все лучше и удобнее. А раньше в ней не было даже отдельных кабин, вместо них — ячейки в два этажа, куда банщица складывала нашу одежду в узлах и называла номер места. Выйдя из моечного отделения, нередко приходилось стоять в очереди за узлами на холодном затоптанном полу.

На углу улиц Журиной и Советской была и лудильная мастерская — маленький темный домик. Сюда хозяйки носили для починки посуду: самовары, кастрюли, тазы, ведра. Дыры в них заливали оловом и покрывали полудой всю внутренность посуды. Лудильщики были черкесы. Хозяин — хромой, черноглазый мужчина, всегда в каракулевой папахе. Темные стены, грязные оконца, запах железа и окалины, босые, в истрепанной одежде детишки...

Неподалеку от нас, на углу улиц Романова и Советской, на месте нынешнего магазина «Дары природы» стояла ветеринарная лечебница — добротное высокое деревянное строение с широкими окнами. За воротами можно было видеть всегда чистый двор. Сюда водили и носили лечиться зверей и домашних животных. Мы однажды приносили даже курицу, которая перестала нести яйца.

А на площади Кондратюка (тогда Андреевской) стоял деревянный цирк, построенный в 1927 году. Там горели яркие огни, гремела музыка, там было весело и интересно. Мы знали некоторых работников и артистов цирка, выступавших неизменно под звучными иностранными именами, потому что хозяева нашей усадьбы нередко сдавали им комнаты. Цирк этот просуществовал не очень долго, так как его не смогли отстоять от пожара...

Еще одной достопримечательностью нашей округи была пекарня, расположенная в самом начале улицы Фрунзе, которая выпекала очень вкусный, пахучий и ароматный, с легкой кислинкой, пеклеванный хлеб.

Наше детство было неотъемлемо и от чтения. Благодаря все той же семье Полежаевых мы имели возможность знакомиться с прекрасной литературой, с произведениями русских и зарубежных писателей и даже с книгами и журналами, изданными в XIX веке. Однако мы ходили и в читальный зал детской библиотеки, которая находилась на задах здания нынешней администрации Центрального района.

С другой семьей — семьей Хасановых — нас сближала национальность, соблюдение обычаев и традиций. Татары в те годы тесно поддерживали отношения. В городе были места их компактного проживания, не случайно одна из улиц носит название Татарской. Неподалеку от нашего дома, по улице Фрунзе, 1, находилась мечеть. В ее строительстве активно участвовал и хозяин нашей усадьбы Насибулла. Построенная накануне революции, в 1916 году, она стояла на хорошем месте, в окружении частных домов, где было много зелени. Мечеть активно посещалась единоверцами и просуществовала до середины 30-х годов. Наши родители ходили в мечеть по пятницам и по праздникам. Наверху, на антресолях, располагались женщины с детьми, внизу — мужчины, приходившие в мечеть с молевыми ковриками в руках. Как-то раз нас провели на минарет, на высокую башню, откуда открывалась захватывающая панорама города. В годы нашего раннего детства на минарет трижды в день поднимался муэдзин и сообщал о времени наступления молитвы — сначала с нижней площадки башни, затем со средней, затем — с верхней. Потом этот обряд отменили, так же, как и бой часов с каланчи на крыше средней школы № 10.

В первой половине тридцатых годов татары стали официально отмечать национальный праздник сабантуй. Это народный праздник в честь окончания посевных работ, в переводе — праздник плуга. Помню, как нас повели на ипподром, где его проводили. Везде нарядно одетые люди, на поле — шест с развевающимся полотнищем. Были скачки и борьба. Борцы раздеты по пояс. Побеждает тот, кто с помощью полотенца повалит противника на землю. Непременной частью сабантуя была раздача подарков детям. Потом все это было запрещено, закрылись татарские школы, а Ипподромский район превратился в Центральный.

В годы нашего раннего детства квартиры освещались керосиновыми лампами, и поэтому, когда электромонтер вкрутил над нашим столом электролампочку, началась совсем другая жизнь, в доме стало светло и празднично.

Такой же радостной переменой стало радио. Где-то в 1934 году папа принес небольшой черный ящик и наушники. «Теперь, дети, будем слушать радио! Это

очень интересно!» — сказал он. И в доме послышались чужие далекие голоса. Мы прижимались с сестренкой к наушнику и слушали. Среди первых запомнившихся впечатлений я помню радиопостановку «Восстание Спартака», а попозже, в 1936 году, выступление Сталина по поводу принятия Конституции. Сталин говорил негромко, очень размеренно, строя короткие чеканные фразы. Через несколько лет наш шелестящий тихими голосами радиоприемник сменил настенный громкоговоритель — черная тарелка.

Что еще из быта тех лет сохранила память? Зима. Во дворе по несколько дней качаются замороженные, негнущиеся выстиранные простыни, полотенца, рубахи. Постепенно белье выветривается, становится податливее, мягче. Но все равно, когда его вносят в дом, оно позванивает, слегка гремя обмороженными краями. В комнате вкусно пахнет морозной свежестью. Белье и после глажения не теряет своего аромата. Глажка — это тоже целая процедура. Утюги в то время были тяжелые, чугунные. Открывается крышка с прикрепленной к ней ручкой, внутрь закладывается и поджигается древесный уголь. Утюг ставят на железную подставку для разогревания. Через отверстия в крышке видно, как разгораются и вспыхивают угли. Чтобы быстрее накалялось, хозяйки брали утюг и раскачивали его на вытянутых руках из стороны в сторону. Он был очень тяжелым, но зато температура в нем держалась очень долго и им одинаково хорошо было гладить и батистовые блузки, и шерстяные брюки. Мы пользовались угольным утюгом вплоть до 50-х годов. Простыни, наволочки, полотенца многие гладили традиционным, еще дедовским способом: наматывали на круглую палку аккуратно свернутое белье, а затем раскатывали его валиком с зубринками, со ступеньками. Прокатанное белье становилось мягким, но, конечно же, его внешний вид уступал глаженному.

Мы учились, играли, читали, отмечали юбилеи и не подозревали, какие испытания готовит нам жизнь. Еще не все понимая, мы чувствовали витавшую в воздухе тревогу. Говорилось о шпионах и вредителях, в школе на уроках истории нам рассказывали о диверсиях на заводах, о врагах народа. В учебниках мы вымарывали чернилами портреты бывших руководителей, разоблаченных органами, пошли повальные аресты. А однажды беда пришла и в наш дом.

16 июля 1937 года в три часа ночи нас разбудил громкий стук в двери. Папа вышел в сени и спросил: «Кто?»

— Открывайте! Бриллиантов, ордер на арест!

Четверо военных вошли в дом, велели всем встать, пригласили понятого — им стал наш сосед, молодой человек, его вырвали из кровати, он пришел в одних трусах и так просидел на стуле, дрожа от холода и страха. Нам с сестренкой Фру-зой сказали стоять на голой кровати, и мы простояли в одних рубашонках несколько часов, ничего не понимая.

Обыск начался с того, что растеребили все постели, открыли сундук и тумбочку, перекидали все вещи. Потребовали бумаги, книги и фотографии. Ничего уличающего не нашли, потому что этого просто и не было! Конфисковали на всякий случай две брошюры, письма на татарском языке, фотографии. Особый интерес вызвал папин револьвер и боевые патроны.

— Откуда и для чего это у вас? — спросил оперуполномоченный. Отец ему объяснил, что ему это выдали после ночного нападения на улице. Револьвер, конечно, забрали. Но особенно нас поразило, что забрали наших бумажных кукол. Позднее мы поняли, почему: на спинках кукол были написаны фамилии наших знакомых и соседей-татар: Измайловых, Рамазановых, Хусаиновых и других. Это могло спровоцировать новые аресты! Протокол обыска, его копия, у меня

сохранился. Заполняя его, оперуполномоченный Моисеев, человек малограмотный, писал с чудовищными ошибками: «Кабур от револьвера системы коравин». Такие люди вершили судьбы других...

На рассвете обыск закончился, отцу приказали: «Бриллиантов, собирайтесь!» Папа надел белую рубашку и новый костюм, наверное, был уверен, что арест — недоразумение. Мы кинулись к нему со слезами, рядом стояла растерянная мама. Папа обнял нас и сказал: «Не волнуйтесь, к вечеру вернусь». Так на всю жизнь и осталось в памяти: стоит у порога наш отец с печальным подавленным взглядом и мы около него. Уже направляясь к выходу, военный повернул голову и кинул взгляд на маминого брата, приехавшего к нам погостить из Караганды, и сказал: «Приезжий, собирайтесь!» Дядя оделся. Так они и ушли из нашей жизни, чтобы никогда не вернуться. Это событие перевернуло нашу жизнь. Отец наш был простым продавцом и, конечно, не был замешан ни в какой антисоветской деятельности. Размышляя о судьбе отца и о репрессиях, хочу вспомнить соседей и знакомых, которых постигла та же участь. В тот же день, 16 июля, вместе с отцом увели и хозяина усадьбы Насибуллу Хасанова. В сентябре — Полежаева, которого только весной освободили из ссылки. У них тоже забрали письма и фотографии, всю ту дорогую память, которую хранят в семейных архивах. Вскоре забрали его брата — Сергея Полежаева, потом Константина Ласунского, мужа Тамары Полежаевой. В октябре — Гумера Хасанова, 18-летнего малограмотного юношу. В один день с нашим отцом забрали отцов татарских семей — Алямова, Хусаинова, Измайлова. Все они были пожилыми людьми и все они не вернулись. Были репрессированы и затем ликвидированы мужчины из соседнего двора — Осипов, Собстель, Шубин, Добросинский. Были арестованы многие мужчины из соседних домов по улицам Фрунзе и Советской. Вернулись, пережив тюрьмы, лишь единицы. Я помню среди них только Идриса Кадырова, который, отбыв 10 лет по 58-й статье, вернулся больным и вскоре умер.

Смертельно испуганные люди стали скрываться и уезжать. Соседи Хасановы рассказывали, что старший сын Осман, который учился в Сибстрине, срочно уехал к сестре в Уфу, а дочку Хадычу, работавшую бухгалтером в НКВД, назавтра после ареста отца вызвал начальник и спросил: «Что произошло с вашим отцом?» — Вы ведь знаете, что произошло, и не надо об этом спрашивать.

Тогда начальник сказал: «Мы вас больше держать в органах не можем и увольняем». Потом прибавил: «Если есть возможность куда-то скрыться, срочно уезжайте». Очевидно, он пожалел ее молодость и красоту. На другой день Хадыча уехала к сестре в Наманган и так была спасена от страшной участи.

Внутри двора, во флигеле, жили мать и сын (тот самый, что был понятым при аресте папы) — Вольские. Мать работала администратором цирка. Испуганные арестами, они незаметно для всех однажды исчезли. В один прекрасный день их флигель обнаружили пустым — когда и как они скрылись, никто не знал. Так люди спасались от злой воли злой власти.

Летом 1956 года я узнала, что можно подать заявление на реабилитацию своих родственников. Занялась этим и я. Меня очень любезно приняли в областной военной прокуратуре и помогли составить заявление. И вот в январе 1957 года я получила справку о реабилитации отца и дяди. В ней было написано: «Постановление тройки УНКВД по Запсибкраю от 7 августа 1937 года в отношении Бриллиантова А. Г. отменено, дело прекращено за отсутствием состава преступления, и он по этому делу полностью реабилитирован». В свидетельстве о смерти написано, что папа умер 5 октября 1945 года в возрасте 47 лет от лейкемии,

в графе «место смерти» — прочерк. Этот прочерк меня очень смущал, была в этом какая-то недосказанность, какая-то неправда. Много лет еще я жила с этой недосказанностью и с этими сомнениями и в октябре 1992 года подала новое заявление в управление Министерства федеральной службы безопасности по Новосибирской области, в котором просила предоставить полную информацию о судьбе отца. Сведения, содержащиеся в ответе, поразили меня. Оказывается, отца и дядю обвиняли в том, что они принадлежали к контрреволюционной мусульманской организации, и за это их присудили к высшей мере наказания — расстрелу. Пронзили болью строчки о том, что они были в том же тридцать седьмом году оправданы как невинно пострадавшие! Какой чудовищный акт: в июле арестовали, в августе — расстреляли, в декабре — оправдали! Как все просто! Теперь я понимаю, что в 1956 году нам говорили полуправду, чтобы как-то успокоить, и лишь десятилетия спустя решились раскрыть позорную тайну геноцида против собственного народа. До сих пор не могу понять: для чего, с какой целью? В чем были виноваты перед властью эти, в большинстве своем малограмотные, люди-труженики?

Наша семья с потерей отца лишилась материальной опоры и впала в большую нужду. Мама хоть и пошла работать, но вынуждена была продавать вещи. Удивительно долго не смывалось клеймо «враг народа» с детей репрессированных. Оно напомнило о себе, когда после окончания педагогического института встал вопрос о моем трудоустройстве. Члены комиссии по распределению не поддержали предложение заведующего кафедрой оставить меня при кафедре на том основании, что я дочь врага, и мне пришлось ехать в деревню. Тень репрессий накрыла меня и два года спустя, когда я стала искать работу в городе, мне прямо сказали в одном месте: «Для таких, как вы, у нас работы нет...»

Война началась, когда мне было 15 лет, я только закончила 8 классов. В считанные дни перестроился весь уклад жизни. Радио извещало о событиях на фронте, Красная Армия отступала. Шла большая мобилизация. Мимо наших окон по Советской, по гулкой мостовой, день и ночь шли войска в сторону вокзала. Сердце холодело при виде мужчин с посуровевшими лицами. В город ежедневно прибывали эвакуэшелоны с людьми и заводским оборудованием. На центральных улицах появились большие плакаты: «Родина-мать зовет!»

Художники Ликман, Мочалов, Иванов и другие начали выпускать «Окна ТАСС», по типу «Окон РОСТА» Маяковского. Выпуски выставлялись в витринах главного универмага, что находился возле Первомайского сквера (сейчас в этом здании супермаркет «Зебра»). Возле них всегда стояли люди. Броским языком плаката художники изображали события на фронте и в тылу, комментируя их выразительными стихотворными строчками.

Очень изменился состав населения города. Люди бежали оттуда, где была война: из Киева, Харькова, Кишинева, Воронежа, Москвы, Ленинграда. Провинциальный город, похожий, скорее, на большую деревню, где исключение составлял лишь центр, превращался в многолюдный и шумный, наполнился новыми людьми, которые отличались по одежде, обуви, разговору, поведению. Каждая новосибирская семья потеснилась и уступила часть своей площади приезжим. В конце июля прибыли поезда с полотнами Третьяковской галереи, Музея искусств народов Востока, Музея изобразительных искусств имени Пушкина и других хранилищ. Однажды к нам пришел завхоз нашей школы: «Рая, собирайся. Иди к оперному, там стоят грузовики с ящиками, поможете их разгрузить». Мы перенесли картины на второй этаж, а после вернулись в школу, где собрались в актовом зале.

Помню, как мы там сидели и мечтали о хлебе с маслом. Значит, уже в первые месяцы войны мы начали испытывать нужду в питании.

Наша большая усадьба дала приют многим людям. В больших дворах горисполком разрешил строительство бараков и землянок. Это коснулось и нас. Огород был перекопан под землянки, а на лужайке был построен домишко для эвакуированных. Разные люди перебивали за годы войны в нашем дворе. Одни уезжали, другие приезжали, не все запомнились, но некоторые остались в памяти на всю жизнь. В хозяйский дом на половину Полежаевых въехала семья полковника Машленко, уехавшего вскоре на фронт. С его дочкой Майей я подружилась и после ее отъезда в Москву долго переписывалась. Потом семью Машленко сменила большая семья из Харькова, с которой я тоже была дружна. В маленьком новом доме, с дверями, открывающимися прямо на улицу, стала жить семья Таратыно. Трое детей, отец на фронте. Они появились поздней осенью, плохо одетые, голодные, несчастные. Маленький сынишка не мог ходить — у него были тоненькие ножки и раздутый животик, он был болен рахитом. У них не было с собой даже постели. Жители двора несли им кто что мог. Мама принесла старое одеяло и какое-то тряпье — чем богаты... Малыш был раздет и разут, дом было нечем топить. Их мать Улита была совсем неграмотной и работала где-то на черных работах. Они голодали. До самого снега ходили рыться по полям в поисках недовыкопанных картофелин и других овощей. У них не было родственников, и им никто, кроме соседей, не помогал. Годы спустя я встретила бывшего малыша, который вырос в ладного мужчину, отца двоих детей. Неграмотная Улита сумела вырастить детей в нечеловеческих условиях. В нашу крошечную избушку площадью в 16 метров тоже подселяли. Сначала ленинградку Ольгу Федоровну Баранову, которая сама помогала нам, работая в столовой, принося иногда то хлеба, то борща. Потом у нас поселилась Фрима Григорьевна Лехтрейгер, которая и прожила с нами до самого конца войны. Это была несчастная мать, которая каким-то образом в дни эвакуации потеряла дочь и приехала в Новосибирск из Кишинева одна. У нее было печально-растерянное выражение глаз, что сразу выдавало в ней человека, угнетенного большим горем. Все время она думала о дочери и говорила с сокрушенным видом: «О вейзми! Майн гот! Где моя Циля?» И во всем мире не было никого, кто бы ее утешил. За время ее жизни у нас она так и не получила никаких вестей. Спала Фрима Григорьевна в углу на сундуке, положив ноги на стул. Как и все эвакуированные, она получала карточки, а подрабатывала шитьем. На ее счастье у нас была старенькая зингеровская машинка, которая и выручала ее. Шила она посредственно, но для нас тогдашних вполне годилось качество ее работы. Мы подрастали, нужна была одежда, купить ее было нельзя, и Фрима перешивала для нас вещи родителей. Она, конечно, понимала свои портновские огрехи, но, выдавая свою продукцию, неизменно произносила: «Хорошо получилось. Нечто особенное!» Хотя это «нечто особенное» приходилось нередко перешивать. Фрима Григорьевна прожила у нас долго и оставила о себе добрую память.

Вместе с войной в дом вошли новые для нас испытания — голод и холод. Запасов топлива у нас не было, и большую печку нечем было топить. Мама приобрела печь-чугунку для экономии топлива. Мы поставили ее посередине избы. Она давала тепло, мы грелись возле нее, сушили пимы, готовили на ней пищу. За топливом приходилось ходить на лесозавод, где иногда отпускали отходы производства. Шли пешком туда и обратно. От улицы Фрунзе до Чернышевского спуска, до самого берега Оби. Бывали дни, когда топлива вовсе не было и мы ложились спать в одежде. К слову сказать, ни теплой постели, ни теплой добротной одежды у нас

тоже не было. Хорошо, что хоть пимы у нас были всегда. Их покупал нам мамин брат, который работал в системе «Заготживсырье». Кто не имел возможности достать валенки, шил себе шубенки или стеганки и носил эти ватные сапоги с галошами. Большинство людей одевалось очень плохо, сильно пообносившись за долгие военные годы.

Холодно было и в школе, где мы сидели в верхней одежде и в рукавицах. Писать было трудно — чернила порой застывали в скляночках, думать не хотелось, потому что в голове стучала мысль о еде. Мы не могли дождаться, когда принесут завтрак — маленькую, менее ста граммов булочку и ложку сахара с какао. Возвратившись домой, мы съедали по куску хлеба (каждый свой) и продолжали мечтать о пище. Мамину порцию мы никогда не трогали, но она, вернувшись вечером или даже ночью, отрезала нам от своей порции по куску. Мы радовались, если в доме была квашеная капуста с растительным маслом, праздником был постный суп с лапшой, заправленный каким-нибудь жиром. Наша мама работала в системе «Пищепродукт» в кондитерских цехах и иногда приносила по капельке сахара или несколько пряников. Делалось это только с разрешения начальника цеха, поэтому это было редким явлением. Бывали дни, когда мы ели жмых — выжимки семян из масличных культур. Жизнь была полна лишений и нужды. Не было постельного белья, нормального мыла, посуды. Сломались ходики, и это очень осложнило наш быт. Просыпаясь по утрам, мы не знали, пора ли вставать. Кто-то из нас шел за ворота, чтобы узнать время у прохожих. Однажды мы с Фрузой долго стояли, поджидая людей, но никто не шел. Оказалось, была середина ночи, и мы ушли досыпать. Поддерживали нас близкие люди, давали поношенную одежду и обувь.

Осенью 41-го года наша двадцать вторая школа переполнилась детьми эвакуированных. В нашем девятом классе и без того училось 40 человек, прибавилось еще 15. Потом, правда, произошло перераспределение. Среди приезжих было много хороших, симпатичных ребят, которые были интересны нам как личности, как новые люди.

В те голодные годы было дорого, если в чьем-то доме приглашали к столу. На такие приглашения было щедро Люся Задорнова. Бывало, скажет: «Зайдем, пообедаем!» Я всегда шла, знала, что меня встретят приветливо и угостят. В памяти такая картина: в светлой кухне на столе дымится горячая картошка и стоит квашеная капуста, заправленная растительным маслом. Мечта!

Осенью первого года войны началась мобилизация старшеклассников на заводы. Нам объявили список ребят, которые должны оставить учебу и идти работать. В этом списке была и я. Сердце мое сжалось — мне очень хотелось учиться дальше, но делать было нечего... Ноябрьским холодным утром я поехала на завод им. Чкалова. Холод пронизывал тело — я была в легком пальто и в туфельках с галошами. В бюро по трудоустройству мне дали анкету, заполняя которую я честно указала, что отец репрессирован, а дядя бывал по работе в Японии. Через несколько дней мне объявили, что я не подхожу по анкетным данным. Учебу я продолжила, а многие мои соклассники проработали все годы войны и так и остались без образования. Они вынесли на своих плечах все тяготы военного времени. В 1943 году у нас остался только один десятый класс, в котором учились 28 девочек и один мальчик! Общественная жизнь школы замерла, работал только комитет комсомола. У меня появились усталость, апатия, я заставляла себя учить уроки. Угнетало все, в том числе и неустроенный домашний быт. Бывали дни и месяцы, когда не подавали электричество. Свечей не было. Мы делали коптилки: в крупной картошке вырезали глубокую лунку, вставляли фитилек из туго скрученной

ваты и наливали растопленный жир. При таком свете делали уроки, занимались хозяйственными делами. Это была жизнь впотымах!

Среди людей, с которыми нас свела война, был выходец из Польши Конрад Глинсман, человек замечательной судьбы. Когда произошел раздел Польши в 1939 году и фашисты оккупировали ее, часть Польской Армии, патриотически настроенная и верившая политике Советского Союза, организованно перешла границу. Вместе с армией перешла ее и часть гражданского населения, которая потом расселилась по городам Союза. В этом потоке оказалась и семья Глинсман. Судьбы всех этих людей были очень драматичны. Конрада определили в строительный батальон при Бердс-кой воинской части, а семью отправили в Среднюю Азию. Познакомилась с ним моя подруга Галя, которая после переезда семьи в Бердск работала в библиотеке мелькомбината.

Однажды пришел молодой человек в форме солдата-стройбатовца и спросил книги советских поэтов. С этого дня началось знакомство, а потом и дружба с этим человеком. Он оказался юристом по образованию, окончил Варшавский университет, а его отец был коммунистом. Семья Полежаевых приняла дружеское участие в его судьбе, разделила его одиночество. Поддержку он нашел и в нашей семье. Приезжая в город, он заходил в наш дом, здесь он мог отдохнуть и поесть. Конрад был старше нас на десять лет, и мы мало что разумели в политических сложностях военного времени. Общим языком для нас стали книги, литературные интересы. Живя в Сибири в казарменных условиях, терпя лишения, Конрад оставался интеллигентным человеком в своем поведении, в суждениях, интересах и мыслях. Мы бывали с ним на концертах. В мыслях он стремился на родину и мечтал попасть в армию, чтобы лично участвовать в освобождении Польши. Мечта его сбылась. Когда на территории Советского Союза сформировались части Польской освободительной народной армии, Конрад вступил в ее ряды. Весной 1943 года он простился с нами и отправился в армию, а затем на фронт. Вскоре мы стали получать письма. Это были письма умного, зрелого человека, большого, настоящего патриота своей родины. Свою Польшу он хотел видеть свободной. В одном из писем он писал мне: «Нам мало выиграть войну, нам необходимо выиграть покой и устроить такую Польшу, чтоб она в семье свободных народов смогла занять почетное место». В армии Конрад достиг немалых служебных успехов, стал политработником. После окончания войны след его пропал. Но мы его помнили и иногда задавали друг другу вопрос: интересно, жив ли и где он? Вдруг совершенно неожиданно он появился в Новосибирске в 1952 году: он ехал на Корейский фронт в составе миротворческой бригады от социалистического лагеря для урегулирования конфликта и прекращения агрессии со стороны южнокорейской военщины и американских интервентов. Проездом решил остановиться, чтоб встретиться с друзьями, то есть с нами. Он говорил потом: вышел на вокзал, не зная точно, куда пойдет и кого найдет. Но велико было желание, и он наугад пошел искать улицу Советскую; выйдя на нее, вспомнил Федорову баню и, узнав ее, легко нашел наш двор, а в нем наш домик. Меня в том году не было дома, я работала в сельской школе и не увиделась с ним. Мама моя удивилась его виду: вместо стройбатовца в грязной гимнастерке и в обмотках над грубыми ботинками она увидела достойного мужчину в форме офицера, полковника Польской Армии. На обратном пути он снова остановился, чтоб повидаться с Галей. После этого были редкие короткие открытки и долгое молчание. Он стал человеком, который занимается важными делами в сфере политики, культуры, спорта, журналистики; он стал писателем. Интересно очень, что при всем этом он не забывал о нас и своей жизни в Сибири. Через сорок

лет, в 1992 году, он известил, что намерен ехать в Новосибирск. Мы очень обрадовались. Встреча состоялась. Мы с живым интересом слушали его: он прошел войну, участвовал в строительстве новой Польши и в свои семьдесят семь лет находился в первых рядах творческой интеллигенции. Во время этой встречи я показала ему письма с фронта, которые он мне писал. Он читал их влажными от слез глазами и удивлялся, что я их сохранила. Прочитав их, сказал: «Спасибо тебе за память и дружбу». Мы поняли, какое большое значение имели для него сочувствие и поддержка наших семей в трудные годы пребывания в Сибири, если в благодарной памяти своей он хранил в течение жизни наши образы и нашу дружбу. Есть над чем подумать...

Вместе с голодом и холодом война внесла и замечательные перемены в скромную жизнь провинциального города. Здесь разместились художественные коллективы, поселились художники, артисты, композиторы, писатели, ученые. Они все вместе и каждый в отдельности создали в Новосибирске новую культурную среду и тем самым помогли местной культуре и науке подняться на более высокий уровень. Сам факт пребывания крупнейших столичных театров стал исключительно важным для нас. Перед нами открылся новый, высокий мир искусства. Знакомство с новыми театрами, со знаменитой ленинградской Александринкой (театр им. Пушкина) было для меня новой радостью, расширились мои горизонты. В репертуаре театра было много прекрасных пьес русской и западной классики: «Лес», «Таланты и поклонники» А. Островского, «Лгун» К. Гольдони, «Стакан воды» Э. Скриба и другие. А какие имена! Черкасов, Юрьева, Корчагина-Александровская, Вивьен, Меркурьев... Но новосибирцы, конечно, больше других запомнили актеров А. Борисова и К. Адашевского. Они были для нас Шмелько-вым и Ветерковым — ведущими замечательной радиопередачи и театрализованного представления, которые назывались «Огонь по врагу». Это была боевая сатира: частушки, куплеты, анекдоты. Артисты высмеивали поступки немецких захватчиков, все их промахи и ошибки, находили такие беспощадные слова и выражения, что зал взрывался от хохота. Выступления — и на сцене, и в радиоэфире — всегда сопровождалось музыкальным аккомпанементом нашего прославленного баяниста Ивана Ивановича Маланина. Их программа всегда шла в переполненном зале. Она поднимала настроение, давала надежду и уверенность в победе. Последний раз они выступали весной 1944 года...

Познакомились новосибирцы и с Ленинградской филармонией, узнали, что такое большая музыка, и услышали крупнейших деятелей искусства Е. А. Мравинского и И. И. Сол-лертинского. Я впервые слушала симфоническую музыку, помню, что было холодно и все сидели в пальто. Концерт шел в зале Дворца труда (сегодня в этом здании водный институт). Оркестр звучал мощно, музыка поражала и захватывала воображение, вводила высокие трагедийные ноты в сознание. Это была Седьмая симфония Шостаковича.

В разных местах города афиши приглашали на симфонические, камерные, сольные концерты, на литературные вечера и лекции по искусству. Блестящие лекции Соллертинского раскрывали перед нами горизонты мировой культуры. Мы стали беднее материально, но зато приобрели духовные богатства. В Новосибирске жил и творил свое веселое искусство Московский театр кукол Сергея Образцова. ; • Яркое и неповторимое впечатление осталось и после спектаклей Еврейского театра Белоруссии (Белгосет). Он выступал на сцене ТЮЗа. Незнание языка нас с подругой Эней Гельфанд не смущало. Эня, хотя и выросла в еврейской среде, языка тоже не знала. У меня был свой интерес к этому театру, как к национальному. С ранних пор я

чутко относилась к национальному вопросу, знала, что такое дискриминация, по своему опыту. Помню, как впервые пришла в этот театр. Зал переполнен, все черноволосы — южане! Это совсем не те люди, которых я привыкла видеть в нашем ТЮЗе. За пятьдесят с лишним лет стерлись какие-то краски, но осталась память о ярком зрелище с национальным колоритом и темпераментной игрой актеров. Театр нам понравился, и мы посмотрели в нем много спектаклей — «Заколдованный портной», «200 тысяч», «Два жениха», «Сиротка», «Суламифь».

В 1943 году я вместе с моей подругой Люсей Задорновой поступила в Ленинградский театральный институт, который разместился в здании оперного театра, учиться на театроведа. Учебные аудитории были расположены в ложах, выходящих в зал. Ложи оказались очень вместительными, в них свободно располагалась группа в 30 человек. Мне очень понравилась наша группа, в ней подобрались очень интересные и способные люди. Но самым замечательным, пожалуй, оказался наш новосибирец, студент режиссерского отделения Зяма Карагодский. И он это доказал на деле — впоследствии стал главным режиссером Ленинградского театра юных зрителей и был известен в театральных кругах как новатор. Он дружил с Люсей и со мной. У нас были блестящие преподаватели, но особое впечатление оставил, конечно же, Соллертинский. В свои 40 лет он был уже профессором. Я с большим интересом ждала его первого появления. И вот он вошел быстрым шагом, кинул на стол большой портфель и воскликнул: «Не видать чернее бреда! Тридцать три театроведа!» Мы насторожились: а вдруг нас станут сокращать? Он ответил на наш вопрос иносказательно: театроведческая баржа перегружена! Он увлекал и увлекался. Его хотелось слушать и слушать, удивляясь его энциклопедическим знаниям и уникальной памяти, любуясь его взрывным характером, бурными эмоциями. Но, неожиданно для всех, 11 февраля 1944 года он скончался... Грудная жаба, тяжелая болезнь сердца, мучила его уже не один год, а он жил беспощадно, расходуя себя без жалости. Весь театральный Новосибирск прощался с великим человеком. Он лежал на сцене клуба им. Сталина, и большая очередь медленно шла мимо, склоняя головы. Тысячи людей прощались с этим неповторимым, удивительным человеком, отдавая дань его вкладу в мировую культуру. Бывая на Заель-цовском кладбище, я всегда поворачиваю голову направо, где неподалеку от входа в первые ворота нашел последнее пристанище Иван Иванович. Прошло пять десятилетий, но до сих пор не появился человек, равный ему по мощи таланта в области искусствоведения.

В январе 1945 стали поговаривать о возвращении института в освобожденный Ленинград. Мне было ясно, что я не смогу туда поехать — бедность не пускала. Через месяц институт выехал домой, а я простилась с сокурсниками и со своей мечтой о дальнейшей учебе в этом прекрасном институте. Я долго и болезненно переживала это. На будущий год меня без экзаменов приняли в педагогический институт.

Закончилась война, начали прибывать первые эшелоны с демобилизованными фронтовиками. Но к чувству радости примешивалась и огромная горечь — многие были покалечены войной, изранены и изувечены. Было очень тяжело смотреть на молодых мужчин, ставших инвалидами. До наших дней подавляющее большинство из них не дожило. Жизнь еще не успела войти в нормальное русло, как пришло известие о другой войне, начавшейся на Дальнем Востоке. А нам хотелось жить и радоваться жизни, ходить в нарядной одежде, хотелось счастья. Ведь мы были молоды! Но бедность и нищета продолжались еще долго, продукты по-прежнему были по карточкам, хлеба не хватало. Но мы прошли сквозь все это, выжили и стали

людьми, потому что вокруг были такие люди, как моя мама, которые забывали о себе, трудились не покладая рук, ковали победу и вопреки всему вырастили и воспитали своих детей. Низкий поклон им за это!

Жизнь моя началась в Новосибирске и закончится в нем. За всех не скажу, но для меня это самый родной и дорогой город. В нем мне было суждено познать Жизнь! Я поражалась и поражаюсь его стремительному росту и преобразению. Из года в год жизнь в нем становится все более благоустроенной. Мы ходили пешком или ездили на гужевом транспорте, а потом стали ездить на трамваях, позже в троллейбусах, теперь появилось метро. Шагали по деревянным тротуарам, теперь — по асфальту. Освещали жилье керосиновой лампой — теперь широко используем электричество. Отапливались дровами и углем, теперь получаем тепло через систему центрального отопления. Ходили мыться в бани, стояли там в длинных очередях, теперь моемся дома в удобных ваннах. Хранили продукты в ледниках, теперь имеем холодильники. Стиральные машины, телевизоры, разнообразные домашние приборы, облегчающие жизнь, пришли на смену нашему примитивному быту в течение жизни одного поколения! Новосибирск стал центром большой науки и культуры. Преобразился внешний вид города, он похорошел, стал цивилизованным, красивым. Насколько просто и скромно жили мы в годы нашего детства и юности, и насколько удобно и благоустроенно живем теперь! Но несмотря на это, та наша жизнь осталась в памяти как яркая, неповторимая, дорогая. На месте нашей усадьбы стоят два больших пятиэтажных дома, но остались два тополя, два старых свидетеля жизни, которая здесь отшумела. Когда мне случается проходить мимо, я останавливаюсь возле стариков-деревьев и долго-долго смотрю на них. Они тоже отживают свой век, как я, как и мы, жившие когда-то здесь. Все в прошлом. В своих снах я нередко захожу в наш старый двор, вижу людей, живших в нем, вхожу в дом и вижу маму. Сны эти тревожат душу. Прошное прочно живет в памяти...

Елена Павлова-Пашкова

Август 1937 года. Я еду в Новосибирск. Мой багаж — фанерный чемоданчик, в котором лежат блузка, юбка, хлопчатое платье да аттестат отличницы. Позади остался глухой таежный поселок, расположенный высоко в горах Красноярского края на берегу никогда не замерзающей студеной речки Саралы. Наш поселок, а вернее лагерь спецпереселенцев, лишенных гражданских прав, состоял из восьми бараков. В одном из них, в секции в 12 квадратных метров, жила и наша большая, в семь душ, семья. Папа был болен, и потому работала лишь мама, которой надо было помогать. Поэтому уже после семилетки я была вместе с ней на лесоповале: валила сухостой, пилила, укладывала поленницы. Каждый вечер на нашу делянку приходил мастер и принимал работу.

Жили мы впроголодь: питались в основном дарами природы — ягодами, орехами и грибами; чтобы их запасти, надо было выхаживать многие километры по тайге. Так что к моменту окончания школы я прошла большую трудовую закалку.

Я не ехала — летела, словно на крыльях, ведь мне прислали вызов из самого лучшего, самого престижного в то время института военных инженеров транспорта. Вызов обеспечивал мне, отличнице, право поступления в этот вуз без экзаменов! Кроме возможности учиться в прекрасном институте меня радовали и высокая стипендия, и питание, и обмундирование, которые предоставлялись студентам в этом институте. Для меня, девочки из бедной семьи, это было очень существенно. Поселили в общежитие, в котором я прожила несколько беспечных дней.

И вот пришло долгожданное время, когда, наконец, по окончании вступительных экзаменов вывесили списки принятых. Пробиваюсь сквозь толпу, ищу глазами свою фамилию, но меня в списках нет! Ошибка? Иду в канцелярию, где мне объясняют, что детей репрессированных в этот институт не принимают. Боже, для чего же вы присылали мне вызов? Ведь вступительные уже закончились везде... Это был очередной удар в моей еще небольшой жизни: в пионеры и комсомол меня не принимали тоже по этой же причине.

Как быть? Домой возвращаться не на что, да и зачем? Опять валить лес? Узнаю: недобор в медицинском. Вместе с группой девочек, не прошедших конкурс, подаемся в медицинский. Я уже стала умной и не указала в анкете, что мои родители репрессированы, и нас зачислят. Начались занятия, посещения анатомки, которые очень нам не нравились. И вдруг — о, счастье! Узнаем, что в Сибстрине тоже объявляют дополнительный набор на астрономо-геодезический факультет. Пусть это не совсем то, о чем мне мечталось, но это технический вуз, это возможность стать инженером, получить самую уважаемую профессию. Женщина-инженер! Это мечта! Короче, тем же составом забираем свои документы и идем в Сибстрин. После единственного экзамена — черчения, который мы успешно сдаем, нас зачислят!

Наконец-то моим волнениям пришел конец, и можно начинать новую, студенческую, городскую жизнь. Все было так ново, так интересно, так свободно: не надо учить уроки — до сессии никого не спрашивали. Красота! Очевидно, я как следует расслабилась, потому что хоть и сдала сессию без троек, но стипендию не получила. Пришлось устроиться лаборантом, чтобы не пропасть с голоду. Первая сессия научила меня никогда не расслабляться, а целенаправленно учиться. Студенческая жизнь была захватывающе интересна. Все было внове, все я

впитывала в себя с жадностью. Были, конечно, и танцевальные вечера, но на них я не ходила — не было туфель. Этим обстоятельством я не особенно огорчалась — было где приложить свои способности и интересы. В то время в большом почете был спорт. Не заниматься спортом было странно, все равно что не чистить зубы. Подавляющее большинство молодежи занималось в различных секциях. В моде были подтянутость, спортивность. Мы занимались разными видами спорта и после тренировок чувствовали себя особенно приподнято. Как это здорово, когда тело наполнено молодой силой, когда поют мышцы, когда чувствуешь себя так, словно горы можешь свернуть, словно тебе все по плечу! Упоительное ощущение! И песни, которые мы пели, были под стать:

Мы все добудем, пойдем и откроем, Холодный полюс и свод голубой. Когда страна быть прикажет героем, У нас героем становится любой!

Мы в этом и не сомневались, глядя с жалостью на некоторых неженков, хлюпиков и маменькиных сыночков, которых вовсе не интересовал спорт. В институтской обязательной программе на занятиях физического воспитания мы сдавали нормативы, чтобы получить значок «Готов к труду и обороне». Эти нормы выполняли все молодые люди того времени — и учащиеся, и рабочие. Было две степени сдачи норм на ГТО — первая и вторая. Мы, конечно, в подавляющем большинстве выполнили нормы и на ГТО-I, и на ГТО-II. Плавание, бег, прыжки, лыжи, коньки — все эти виды входили в ГТО.

Я никогда не вставала ни на лыжи, ни на коньки — в школьные годы этих предметов в нашей округе и в помине не было! Но трудовая закалка, лесные походы за зимним припасом для семьи вытренировали мое тело, сделали сильными ноги. И я, к удивлению, впервые встав на лыжи, сразу получила неплохие результаты на межфакультетских соревнованиях. На втором курсе я уже стала чемпионкой Сибстрина и никому не отдала этот титул до окончания вуза. мл..-^,

Летом и зимой обязательно проводились межвузовские соревнования по летним и зимним видам спорта. Я входила в институтскую сборную как лыжница, и каково же было мое изумление, когда нас, спортсменов, начали бесплатно кормить за две недели перед соревнованиями. Это обстоятельство позволило мне на сэкономленные деньги купить себе кое-что из одежды.

В институте же нас учили стрелять. Это было обязательно не только для парней, но и для девочек. Нам давали тяжелые боевые винтовки, больно и сильно отдающие в плечо, и мы стреляли по мишеням, изучали устройство оружия, учились разбирать и собирать. Все, кто научился хорошо стрелять, получили значки «Ворошиловский стрелок». Освоив винтовку, приступили к знакомству с более внушительным оружием — пулеметом «Максим», после чего получили по значку «Ворошиловский пулеметчик».

Но больше всего мне нравились занятия в кавалерийской школе. Вот где было интересно и здорово! Кавшкола находилась напротив Ипподромского (Центрального) рынка, на территории нынешнего зоопарка на улице Гоголя. За отсутствием транспорта мы ходили пешком. Но это обстоятельство не портило нам удовольствия от предстоящей встречи с благородными животными. Хотя мы сами питались впроголодь, но для наших коняшек непременно припасали какое-нибудь лакомство: кусочек сахара, посыпанную солью горбушку... Лошадки к нам привыкли и вскоре стали узнавать, приветствуя тихим ржанием. Мы входили к ним, гладили шелковистые морды, трепали по холке, чистили, прихорашивали. У меня был рыжий конь Трамплин — неказистый конек с белой полосой на морде. На нем я и овладевала премудростями верховой еды — рысью, галопом, барьерами,

вольтижировкой.

Прозанимавшись целую зиму, мы должны были продемонстрировать свое умение на необыкновенно важном экзамене — на первомайской демонстрации пройти строем перед трибуной! В честь грядущего события мне дали красавца-коня по имени Дракон. Он был молодой, горячий и... плохо объезженный. Едва слышав команду «Шагом марш», он бросился в галоп. Постепенно тренировки сделали его более покладистым, но боязнь, что он подведет в самый ответственный момент, оставалась, и поэтому на параде его поставили не впереди, как сначала было задумано, а в середине. Испытание парадом прошло превосходно, и все мы получили еще один значок — «Ворошиловский всадник».

В 1939 году многие из нас ходили в аэроклуб, где учились кто на пилота, кто на штурмана, кто на парашютиста... Я же для себя выбрала более земное занятие — пошла учиться в автошколу. Уж очень хотелось научиться водить машину. Но если вы думаете, что в наше распоряжение были предоставлены легковые автомобили, то вы глубоко заблуждаетесь. Мы учились на грузовике, на полуторке, наезживая положенное количество часов по Бердскому шоссе — единственной заасфальтированной дороге. Учились и на городских улицах, на булыжных мостовых, что было сложнее, потому что надо было на практике применять правила дорожного движения. Учебу закончили, но сдать экзамены на водителя третьего класса не успели — началась война. Впрочем, об этом речь ниже.

А пока мы находимся еще в мирном 39-м году и собираемся в альпинистский поход на Алтай. Наша задача — совершить восхождение на четырехтысячник, на гору Акуру-Баш. Уже на Алтае мы проводим ледовые и скальные занятия, учимся ходить в связке, пользоваться ледорубом и многим другим полезным для похода вещам. Наш инструктор, студентка-старшекурсница Вера Сбоева, бывалая альпинистка — она мастерски сумела провести нас горным маршрутом и без происшествий спустить в долину. Костры, гитары, песни — все как полагается... И радость достижения вершины, когда у твоих ног лежит мир, когда ты выше всего, когда вокруг — неоглядные просторы. Ради таких минут стоит жить! Все мы получили значок «Альпинист СССР».

Учеба, спорт, общественная работа — все это заставляло бы меня забывать о своем классовом происхождении, если бы не одно «но»: я не была комсомолкой. И когда объявлялось комсомольское собрание, была вынуждена покинуть аудиторию. Это, конечно, било по самолюбию, и я довольно ранимо относилась к тому, что я не такая, как все. Сокурсники уговорили меня подать заявление в ВЛКСМ. Я долго боялась делать этот шаг, боялась упреков в том, что я, дочь кулака, осмеливаюсь вступать в комсомол. Но в мою пользу были и хорошая учеба, и спорт, и общественная деятельность. В общем, подала заявление. Сначала меня приняли на факультетском собрании, потом на институтском, потом утверждали в райкоме комсомола. Утвердили, но на всякий случай, чтобы избежать упреков из вышестоящих инстанций, постановили, чтобы я прошла утверждение еще и на бюро горкома, и бюро обкома ВЛКСМ. Я прошла все эти ступеньки, была утверждена и принята в комсомол. На следующий год меня даже избрали секретарем бюро ВЛКСМ нашего факультета! Так я смогла преодолеть свое «черное» прошлое и стать полноправным членом студенческого коллектива.

...А потом началась война с Финляндией. Несколько парней — лучших лыжников института — ушли по призыву райкома комсомола на фронт в лыжный батальон. А те парни, что ходили в аэроклуб, были отправлены райкомом заканчивать эти курсы — ведь все они были без пяти минут летчики, штурманы, парашютисты. Но война с

Финляндией, к счастью, быстро закончилась, и уходившие на фронт стали возвращаться на учебу. Но вернулись не все...

Летом 1940 года произошло историческое событие: аст-рономо-геодезический факультет, на котором я училась, выделился в самостоятельный институт — НИИГАиК! Директор вновь образованного вуза Афанасий Ильич Агроскин просил меня не уезжать на каникулы, а помочь в организации первого набора в институт. Интересно вспомнить, что дирекция этого вуза размещалась в... частном домике, неподалеку от Центрального рынка, на улице Каменской, что, конечно, не работало на авторитет нового института. Но зато к моменту его открытия было построено превосходное пятиэтажное здание для общежития, которое было великолепно, если не сказать роскошно, оборудовано. Новенькие кровати с панцирными сетками — шик тех времен. У каждой кровати своя тумбочка, в каждой комнате — шкаф, на полу — ковры, в коридоре — трюмо, зеркала. Думаю, такой роскоши не было больше нигде. Учебный корпус был еще не достроен, и поэтому занятия временно велись на площадях НИВИТа — института военных инженеров транспорта. Там же разместились и техническая библиотека, и лаборатория высокоточных геодезических инструментов. На демонстрацию 7 ноября наш институт впервые вышел своей колонной, и народ дивился: «Что это за диковинная организация?» Нас очень радовало повышенное внимание к молодому вузу, и мы ужасно собой гордились.

Зимой 1940—41-го институт участвовал в городских соревнованиях, на которых я заняла первое место и стала чемпионкой Новосибирска по лыжам на дистанции в 5 километров!

Как хорошо, как радостно мы жили. Как торжественно провожали первых выпускников, которые получили дипломы весной 41-го. Мне предстояла преддипломная практика на Северном Кавказе. 25 июня я должна была уезжать в новые края... Но началась война, которая поменяла все наши планы. Вместо Кавказа я поехала в Топкинский район Кемеровской области руководить летней практикой студентов-первокурсников, потому что настоящий руководитель был призван на фронт.

С началом войны немало наших парней и девчат ушли воевать добровольцами. А несколько ребят с нашего курса были направлены в военную академию, в город Фрунзе, после окончания которой они тоже ушли на фронт. Оставшиеся в живых заканчивали институт уже после победы.

Наше шикарное общежитие и недостроенный учебный корпус занял эвакуированный химзавод — он до сих пор занимает эти площади. Студентов расквартировали в частные дома вдоль берега Ельцовки. С жильем как-то определились, а вот слушать лекции стало негде, потому что корпус, в котором мы занимались, был занят заводом имени Ленина.

Студентов первого и второго курсов мобилизовали на работу на этот завод с оговоркой, что они получают право восстановиться в институте сразу после окончания войны.

Старшекурсники же продолжали учебу в здании аэроклуба на улице Крылова. Там же разместилась и наша дирекция. А вот учащиеся третьего курса долгое время оставались неприкаянными — для них никак не могли подыскать место для занятий. Наконец, где-то месяца через три, отчаявшись найти подходящее помещение, решили заниматься в третью смену, с шести вечера в просторной комнате институтской бухгалтерии.

Наш курс оказался до смешного маленьким: диплом защищали только четыре

девушки (парней-то забрали в академию). Зимой 1941-42 годов все свободное время мы проводили на расчистке улиц, железнодорожных путей или на дежурстве в госпитале. В марте получили дипломы, но выпускного вечера у нас нет было. Ничего не поделаешь — война!
Закончилась юность, началась большая трудовая жизнь...

Кира Орлова

Вот Уже много лет я хожу в этот удивительный дом, ставший моей судьбой, моей жизнью, моим храмом. В этом доме я страдала, радовалась, влюблялась, боролась, я жила! Я говорю о «Красном факеле», частью которого мне посчастливилось быть на протяжении шести десятилетий. Я была свидетельницей того, как он вырвался вперед и стал на равных с лучшими театрами страны, я была свидетельницей его пути на вершину славы и расцвета.

Невероятно, но в этом провинциальном городе, за тысячи верст от столицы, родилось и сформировалось необыкновенно яркое созвездие артистов, в котором каждый, буквально каждый, был штучным, но вместе с тем это был единый ансамбль, в котором никто не затмевал других, в котором блистал каждый. Это был фейерверк, захватывающий парад талантов!

Мы, молодежь, пришедшие в театр в тридцатых годах, робко входящие во врата искусства, смотрели с почтением на старших товарищей, познавших тайны драматического творчества, приобщившихся к высокому искусству «Факела», — Николая Северова, Аркадия Аржанова, Веру Белоголовую, Николая Кудрявцева, Николая Михайлова. Какие таланты! Один одного лучше! Когда шли спектакли, зал замирал — так пронзительны они были, так потрясали до глубины души.

Я до сих пор убеждена, и никто меня не переубедит, что наш «Красный факел» стал одним из основополагающих звеньев духовной культуры города. Город еще был плохо радиофицирован, кинофильмов было мало, но был ТЕАТР, который пробуждал в людях высокие чувства, учил добру и свету, нес культуру. И это не только мое личное мнение: бывая на гастролях, идя по улицам города, я часто встречаюсь с людьми, которые останавливают меня, благодарят и заявляют, что они выросли на нашем театре. И я думаю, что в развитии и становлении Новосибирска как крупного центра есть заслуга и нашего «Факела».

Театр нес в себе лучшие традиции русской драматической школы, был приверженцем реализма, решительно отвергая все, что выходило за рамки жизненной правды. Советская драматургия, делавшая еще первые шаги, не всегда давала актерам богатый материал. Среди пьес немало было схематических и прямолинейных произведений, но актерское мастерство было столь высоко, что артисты сплошь и рядом создавали глубокие и значительные образы, далеко превосходившие то, что давали драматурги.

Вспоминаю себя, молоденькую актрису, спешащую в театр. На ногах — тапочки и шерстяные чулочки, на теле — брезентовая куртка, на голове — шаленка, и вот в таком виде, в мороз, бегу через весь город на работу. Всегда бегом, потому что иначе пропадешь с холоду. Но что за чудо! Стоит только переступить порог нашей проходной будочки, как весь будничный мир отступает, как поднимается настроение, как попадаешь в иной мир, где нет места мелкому, низкому, примитивному. Какая радость общения друг с другом! Мы собирались в фойе в свободное время и разговаривали. Всегда о чем-то прекрасном, высоком, зовущем. Как много знали наши старшие товарищи и как много дали нам, молодым! Атмосфера творчества, товарищества была удивительно чистой и красивой.

Как-то мы отдыхали в сочинском доме творчества, в заезд провинциальных актеров, с Агароновой и Михайловым. Пляжик небольшой, и невольно слышишь разговоры коллег из других городов. Это было что-то чудовищное: сплошное перемывание

грязного белья, сплетни и пересуды. Елена Ге-расимовна Агаронова, мудрая женщина, тогда сказала врезавшуюся в память фразу: «Кирочка! Какое счастье, что в нашем театре никогда не было ничего подобного!»

И в самом деле — не было. Хотя мы все люди, можем завидовать и ревновать, но не позволяли себе опускаться до этого. Вера Павловна Редлих, наш художественный руководитель и наша ярчайшая звезда, всегда говорила: «Это никогда не должно проникнуть в наш театр. У нас порядочный и чистый театр!» На нас обижались коллеги: «Почему вы никогда ничего не рассказываете о себе?» — «Да нам нечего рассказывать. У нас все нормально». Мы все были спаяны воедино, и нам нечего было выплескивать. В нас не было грязи, мы жили благородными порывами, и это было уникально!

Когда началась война, то это благородство, эта возвышенность нашего театрального коллектива получили подтверждение в реальной жизни. Из газет мы узнали о том, что Ленинградский академический театр им. Пушкина (Александринка) после эвакуации никак не может найти себе пристанища и живет в вагонах — нигде его не принимают. Нас собрал директор театра Серафим Дмитриевич Иловайский и сказал: «Товарищи! Мы — меньший театр, чем Александринка. У него труппа гораздо больше нашей. Им очень трудно найти для себя помещение. Я предлагаю: отдадим наше здание ленинградцам, а сами временно уедем куда-нибудь по соседству. Скажем, в Кузбасс». И что же вы думаете? Мы отдали наш театр без единого ропота. Больше того, мы оставили им все декорации, оборудование, забрав с собой только мягкую утварь. Наши квартиры вместе с обстановкой мы тоже отдали в пользование эвакуированным коллегам, забрав с собой лишь постели и одежду. Приняв ленинградцев, мы бегали к ним в наши бывшие квартиры, стремясь поудобнее устроить, подкормить, угостить. А сами затем уехали в Сталинск (Новокузнецк) и Прокопьевск, где пробыли до мая 1943 года. Война была для нас временем испытания на прочность: работы было так много, что некогда было даже пожаловаться на усталость. С первых же дней мы стали давать концерты в цехах, иногда по три подряд сразу, один за другим, для смен, выходящих на работу. После завода — репетиции, затем спектакль, а еще путевки в рабочие общежития. Все мы трудились на воскресниках — строили бараки для эвакуированных рабочих. На них работали с энтузиазмом все — и заслуженные, и ведущие артисты, и наши руководители, и даже вели соревнование между собой. Отработав более полутора лет в Кузбассе, мы вернулись в родной город, где нам предложили абсолютно непригодное для театра помещение клуба им. Клары Цеткин. Мы взялись за пилы и топоры, за мастерки и кисти: сооружали пристройку, расширяющую сцену и помещение для декораций. Ютились в коммуналках, в которых даже ванная считалась жилой комнатой.

В середине 1944 года ленинградцы вернулись домой, в стены Александринки, а мы — в «Красный факел». Но радость возвращения была омрачена: наши гости оставили нам голые стены и в квартирах, и в театре, прихватив с собой буквально все, что можно было увезти. Первое ощущение от увиденного — шок. Но едва оправившись от него, мы не стали злиться, проклинать, писать вдогонку гневные петиции. Бог с ним, с добром, наживем новое. В конец концов ленинградцам тоже нужно было все это — возвращаются-то на пепелище. Зажав себя в кулак, начали жизнь почти сначала.

Но зато когда в 1950 году театр поехал в Питер на гастроли, принимали нас как самых дорогих друзей. Один за другим выходили на сцену актеры и благодарили за то, что поддержали их в годы войны, называли нас спасителями и выражали

восхищение человечностью и щедростью сибиряков. Находили такие слова, что мы сами плакали.

А какие были аншлаги! Какие аплодисменты! Когда мы, разгримировавшись, выходили из театра, то нас встречали выстроившиеся шеренги людей, которые кланялись нам земными поклонами и говорили: «Спасибо вам, родные! Спасибо за ваш талант!» Каждый хотел что-то дать от себя — открытку, сувенир, цветок. Мы понимали, что это было двойное признание — нам как актерам и как жителям города, давшего в годы войны приют, кров и хлеб тысячам ленинградцев. Это был подлинный триумф!

Гастроли в Питере показали всей театральной общественности, что в Сибири есть, оказывается, удивительный театр, что здесь светит настоящий факел театрального драматического искусства, способный покорять сердца и волновать души. И что тут началось! На нашу труппу буквально накинудись: нас стали раздирать по частям, сулить золотые горы, делать заманчивые предложения — всем хотелось получить наших актеров. И тогда Вера Павловна Редлих, наш худрук, наша Пассионария, наша Долорес Ибаррури, как мы ее тайком называли за ее страстность и темперамент, за ее умение так сказать слово, что душу перевернет, собрала нас: «Товарищи! У нас великолепный театр! Великолепный! Созвездие талантов, мы столько лет создавали этот блестящий коллектив, мы научились жить одной душой, одним сердцем, неужели вам хочется это разрушить?» Мы заорали: «Не-е-ет!» И никто не ушел! Мы отпустили только двоих. Один из них — Евгений Матвеев, которому открывали двери сразу пять столичных театров. Остальные остались ради нашего братства и нашего союза! Хотя здесь золотых гор никто не обещал, хотя жилье было далеко не у всех... Но уж такими мы, факельцы, были.

В 1951 или 52-м году мы гастролировали в Москве. И опять пресса была сногшибательная. Нам посвящали целые полосы, в газетах красовались наши фотографии, критики всерьез называли нас сибирским МХАТом. Театр гремел! Авторитет его был столь высок, что любой из нас, вздумай он уйти, был бы без разговоров немедленно принят в любой театр, так высоко мы котировались на московской актерской бирже. И при этом никто бы не поинтересовался, долго ли человек трудится на сцене, главное было принадлежность к «Красному факелу» — это дорогого стоило, это много значило! Все знали: в «Факеле» случайных людей не бывает. Вера Павловна очень строго принимала в труппу людей. Своим безошибочным чутьем она сразу же определяла — «факелец» ли этот молодой человек или нет. И будь он даже очень одаренным, но если по своей внутренней линии он выражал другую эстетику, говорил как бы на другом языке, ему отказывали. Попасть в театр «Красный факел» было очень нелегко и очень почетно. И вот что удивительно, никогда мы, актеры, не были избалованы большими деньгами, мало кто может похвастать накопленным богатством. Но мы и не стремились к нему! Деньги для подавляющего большинства из нас значили очень немного, мы умели довольствоваться необходимым, но были богаты духовно и этим богатством дорожили больше всего на свете. Мы жили истинными ценностями, которые ни ржа не портит, ни моль не ест: мы жили высоким, и это давало нам ощущение полноты и радости жизни. Спасибо тебе, «Красный факел», за то, что ты дал нам это!

Вера Агапова

Вся моя жизнь прошла в Новосибирске. Я люблю этот город, и мне хочется рассказать о своей жизни в нем, ведь я его частица...

В тридцатые годы наша семья жила на улице Горького, неподалеку от строящегося театра оперы и балета. Рядом с ним на площади стояла огромная деревянная трибуна для проведения парадов и демонстраций. И мы, ребяташки, не имея во дворах детских площадок, любили сюда прибегать и играли здесь в догоняшки, лазали, как обезьянки, по стенам, качались на перекладинах, прыгали по ступенькам и взвизгивали от боли при очередной занозе.

Перед самой трибуной пролегали стальные рельсы — по ним ходили трамваи. Трамвай считался тогда огромным достижением для города и верхом цивилизации. И он на самом деле величаво, торжественно выезжал на главную площадь, проходил перед фасадом театра, огибал его и затем сворачивал на улицу Серебренниковскую. И только в день окончания войны, после многотысячного собрания на площади, городские власти поняли, что трамвай здесь мешает. И я помню, как мы, комсомольцы, по заданию райкома разбирали рельсы, чтобы перенести их за фасад театра.

Рядом с театром — поликлиника № 1. О ней я думаю с особой нежностью, потому что в моей детской жизни она занимала очень важное место. Когда началась война, появились проблемы с теплом и светом. А уроки-то надо было учить. Вот я и ходила в поликлинику, чтобы готовить здесь задания. Работать там было очень приятно — высокие потолки, много света и воздуха, повсюду в больших кадках растут красивые растения. Все так комфортно, уютно, чисто!

А письменные предметы приходилось готовить в... бане. Новая, выстроенная перед войной баня № 8, что на улице Каменской, казалась просто великолепной: большие залы ожидания с диванами, на втором этаже — лепнина, буфет со столиками. Правда, здесь всегда были многочасовые очереди, страшная духота и теснота. Каждый день, чтобы не выгнали из помещения, я занимала очередь и располагалась со своими тетрадками за буфетным столиком.

Вскоре 29-ю школу, как и многие другие, отдали под госпиталь, а нас стали целыми классами переводить в другие, тоже переполненные школы. И так по несколько раз за учебный год! Нередко школы были очень далеко, и нам, учившимся в третью смену, приходилось возвращаться домой поздним вечером почти на ощупь: на улицах — ни огонька, ставни домов наглухо закрыты, да за ними часто и не было света. Страшно до жути! Бежишь по пустынной улице и слышишь, как бьется собственное сердце.

Так нас гоняли до 1943 года, а потом отправили весь класс на завод. Про меня же учителя сказали маме: «Она у вас такая маленькая. Какой ей завод? Пристройте ее куда-нибудь сами!» Мама моя работала на трикотажной фабрике, теперешней фирме «Сибирь», располагавшейся и тогда на улице Коммунистической. Там трудились ее братья и сестры. В двадцатые-тридцатые годы в Новосибирске, как и во всей стране, была безработица, и поэтому люди были рады любой работе, крепко держались за нее. Подавляющее большинство сотрудников сами строили фабрику, а потом, как бы в награду, получали здесь место. Мама так любила фабрику, была такой патриоткой, что просто жить не могла без нее...

Пристроила она меня неподалеку — ученицей в ателье мод. Ей уж очень хотелось,

чтобы я научилась шить. Это ателье находилось в самом центре, на улице Ленина. Теперь на его месте стоит гостиница. Нам, неумехам, конечно, не доверяли никакой ответственной работы, и мы пришивали пуговицы к офицерскому обмундированию, которое здесь шилось. Пуговицы пришивались тогда вручную. Пока пришьешь — исколешь все пальцы. К наперстку привыкать надо долго, да и не было маленьких наперсточков на наши ручки. На каждой форме — аж 17 пуговиц! Пришиваем, а сами думаем: как это офицеры на фронте с такими тугими пуговицами справляются? Иногда мы писали подбадривающие записки будущим хозяевам формы и клали их в карманы...

Работали мы, подростки, так же, как и взрослые — по 12—15 часов. Иногда переходили на казарменное положение: это когда нельзя никуда отлучаться из цеха по нескольку дней, а рабочий день длился 18 и больше часов. Кормили здесь же чем придется. Спали по очереди, кто где пристроится, чаще всего на готовой продукции. В этом отношении нам было полегче, чем на заводах, — ведь у нас были «мягкие постели»! Хотя, конечно, и у нас сон был не сладок: грохот электрических машин, свет, вибрация. Только уплывешь в сладкую дрему с мечтой о мире, о хлебе, о тепле, как тебя уже будят: четыре часа прошло. Уступай место следующему! Напротив окон ателье — магазин «Кузбасс» (в нем теперь главный хлебный магазин города, что на улице Ленина). Так вот, рядом с этим «Кузбассом» располагался «черный» рынок, на котором можно было купить многое, в том числе и хлеб! Спекулянты продавали его за огромные, просто баснословные деньги. Вы только представьте: моя месячная зарплата ученицы была 80 рублей, а буханка черного хлеба тянула на все 400! Этот рынок постоянно дразнил, напоминал нам, голодным, что на свете существует хлебушек. Мы глядели на него и думали: а как же это раньше, до войны, мы его совсем не замечали и даже разбрасывали? Хлеб по вкусу тогда напоминал замазку, а по объему — кусок хозяйственного мыла. Это была наша дневная норма по карточке. Но все равно он казался нам большим лакомством. Тем более что уже к 25 числу мы успевали отоваривать все наши карточки, а в оставшиеся до конца месяца дни «разгружались». От такой разгрузки постоянно кружилась голова и случались голодные обмороки. У меня они начались еще в школе.

Обносились мы страшно, а купить ничего не могли. Почти до самого снега ходила в самодельных тряпочных тапочках. Бежишь, бывало, съездившись в комочек от холода, а если прыгаешь через лужу, то шепчешь заклинание: «Только не в лужу. Только не в лужу!» Стараешься прыгнуть воробышком, повыше, потому что негде отогреться.

Мне приходилось особенно трудно по сравнению с моими одноклассниками, потому что администрация маминой фабрики, зная ее патриотизм и преданность делу, самым безжалостным образом ее эксплуатировала и очень часто посылала в командировки. Она почти не бывала дома. А я, совсем еще ребенок, была предоставлена сама себе. Росла, как в песне, словно придорожная трава. Мне вообще кажется, что эта песня про меня написана...

Валенки мне достались мужские сорок последнего размера, в которых я почти целиком умещалась. Представляю, как я выглядела, особенно при взбирании на лестницу: сначала ставила свой огромный валенок на ступеньку, за ним уже подтягивалась сама. В телогрейке, в постоянно сползающей на глаза большой военной шапке-ушанке — и хороша же я была! Но что делать? Выживать-то надо было!

Однажды на маминой фабрике по просьбе маминих коллег, насмотревшихся на мое

житье-бытье, мне выписали 50 килограммов угля. Это было очень кстати, потому что топливо давно закончилось и я совсем пропадала от холода. Таскала этот уголь на себе за полтора-два километра, и пока носила, мне казалось: ой, как много! А когда начала топить, то поняла, какую же малость мне выделили. Уголь имеет скверную особенность — не разгорается без дров. А дров-то у меня тоже не было. Взрослые брали меня несколько раз с собой в лес за сушняком. Шли, как мне казалось, километров 10—12 до конца улицы Большевистской, к разъезду «Иня». В своих огромных валенках я постоянно падала и стирала ноги в кровь едва дойдя до места, а ведь надо было еще искать сухостой и везти на себе груженные сани... В общем пока печку растопишь, вволю наплачешься и от дыма, и от обиды, и от своей неумелости и беспомощности, и от того, что нет мамы, и от того, что себя жалко... Часто приходилось спать в вообще нетопленной комнате, не раздеваясь. Как был с вечера снег на пимах, так и не оттаивал до утра. Кипяток, принесенный от соседей, к утру превращался в лед. Конечно, Новосибирск — не Ленинград. У нас, слава Богу, не было блокады, но лиха и горя горького и мы хватили с избытком. И здесь люди погибали и от голода, и от холода, и от угара в своих домах, потому что, стремясь сэкономить тепло, очень рано закрывали печные задвижки. Я тоже угорала несколько раз, но меня как-то вовремя находили и спасали соседи. Впрочем, не хочу о грустном. Как ни тяжела была война, а место для шуток, для смеха оставалось. Да и сама жизнь порой подбрасывала такие хохмы, что потом самой не верится — было ли такое.

Сажали мы с мамой картошку. Землю почему-то давали очень далеко, под Черепаново. И ездили мы туда не на электричках (их тогда еще не было), а в так называемых телятниках. Обычно в таких вагонах перевозили скот — они были без окон, без сидений. Народу набивалось — как сельдей в бочке. Стояли в буквальном смысле слова на одной ноге — для другой не хватало места! Но зато и упасть было невозможно. Ехали очень долго, потому что пропускали военные эшелоны. И вот когда картошку уже выкопали, пришлось мне одной в город возвращаться, потому что маме как члену комиссии надо было проследить за вывозом картошки с полей. Вернулись в Новосибирск поздним вечером. Когда подъехали к вокзалу, уже стояла непроглядная тьма. Зная, что трамвая не дождешься, я решила идти домой пешком. Но чтобы было не так страшно идти опасными городскими кварталами, решила дошагать до улицы Коммунистической по рельсам, а там и до дому недалеко. Товарные поезда, воинские и санитарные эшелоны были растянуты далеко от вокзала. Приходилось несколько раз подлезать под вагоны. Чего греха таить, боялась я страшно! Думаю, вот сейчас вылезу из-под вагона и наскочу на носилки с покойником — ужас! А тут еще мешочек с картошкой вечно за что-то цепляется, и каждый раз мне кажется, что кто-то хочет меня схватить. У страха глаза велики — и мне мерещатся страшные дядьки, прячущиеся во мгле разбойники...

Я бросилась бежать по шпалам. И тут началось! Кто-то стал меня преследовать, бросая по ногам галькой. Причем чем быстрее бегу, тем сильнее бросают. Чуть живая выскочила на Коммунистическую, а она здесь у путей черная, пустынная, страшная. Хорошо, что бросаться перестали... Кое-как добралась до дома, села на стул дух перевести да так и заснула. Проснувшись от страшного голода. Только сейчас вспомнила, что весь день ничего не ела. И как я обрадовалась мысли, что у меня целый мешочек картошки! Вот сейчас и сварю. Хватит, а в мешке ни одной картофелины! Так вот кто меня по ногами бил! И что значит молодость: мне бы плакать от обиды, что столько еды по рельсам разбросано, а я давай хохотать! Наступил 1944 год. Наша армия громила немцев, в воздухе реял дух грядущей

победы. Люди немного повеселели: близился конец войне! Иногда стали давать выходные дни, а нам, малолеткам, дали... отпуска. А мы и не знали, что такое бывает!

И тогда мы стали задумываться о том, как начнем жить после победы, что будем делать. У меня было сразу две мечты: одна — стать летчицей, вторая — балериной. Казалось бы, две совершенно непохожие профессии. Но для меня в них было одно объединяющее свойство — полет! Когда ты танцуешь, а я в детстве занималась танцами и сумела познать радость взлета в прыжке, в танце. А еще я любила всякие вышки, лестницы, башни, когда дух захватывает от высоты...

И вот когда я с двумя своими подружками увидела объявление о приеме на учебу в балетную труппу, то решила испытать свое счастье. Мама отговаривала, убеждала, что я должна научиться шить, говорила, что с этой специальностью у меня всегда будет кусок хлеба, и возможно, даже с маслом. Сама-то она, наверное, думала, что я — гадкий утенок, а разве бывают артистки некрасивые? Но, несмотря на мамин протест, отправились мы на просмотр. Посмотрели мои физические данные — тоненькая, стройная, а когда проверяли связки, ахнули: какой у меня высокий взъем ноги! Это меня радовало и волновало. Но вот преподаватель, постучав карандашом, попросил воспроизвести ритм, а у меня в голове вдруг почему-то зазвучали мамины слова: «Надо научиться шить! На-до на-у-чить-ся ши-ить!» И слезы реками потекли у меня по лицу. Не знаю даже, приняли меня или нет: я больше туда не пошла!

Скорее всего нет. А вот самую хорошенькую из нас, Валю, приняли, а другую Валю, просто симпатичную, — нет. Немного позже с ней произошло ужасное несчастье. Транспорта-то было очень мало. На подножках трамвая гроздьями висели люди, держась друг за друга. В то время все очень боялись опоздать на работу, потому что за это могли посадить в тюрьму. В этой толчее оказалась и Валя, не смогла удержаться и попала под трамвай. Жизнь ей врачи спасли, но ампутировали обе ноги и руку! Какая трагедия! Но творческая натура Вали взяла верх над превратностями судьбы: она научилась прекрасно вышивать, и ее высокохудожественные работы были замечены и даже выставлялись в разных экспозициях и музеях.

После краха своей балетной карьеры я стала учиться на курсах закройщиков при швейной фабрике. Поначалу на них было много желающих овладеть этой профессией. Но... занятия проходили в неотопляемом помещении, в котором коченели руки и ноги, в лед замерзали чернила, и многие не выдержали, бросили. А я продержалась до победного конца. Меня перевели на самостоятельную работу, прикрепили к прекрасному и знающему мастеру.

Моя наставница Клавдия Ивановна Журавлева была превосходным специалистом. До революции она шила богатым купчихам и купеческим дочкам, а те были капризны и привередливы... И поэтому у нее была прекрасная выучка. Вообще в нашем ателье были неплохие мастера. У нас часто шили одежду известные в городе люди. Забегая вперед, скажу, что и жена прославленного Покрышкина одевалась у нас, когда бывала наездами в Новосибирске. А когда после победы приехал и сам Покрышкин, то многие организации делали ему подарки. И наша фабрика преподнесла ему красивое кожаное пальто. Администрация города устраивала с ним встречи. На одной из них, в клубе Сталина, побывала и я. Какой ему был устроен прием! Какие были овации! Какими влюбленными глазами смотрели мы на него, когда он рассказывал о своих сражениях в небе! Мы преклонялись перед ним и гордились, что наш земляк — известный всему миру герой!

Учеба моя близилась к концу, и я по совету Клавдии Ивановны приняла участие в

профессиональном конкурсе. Приемная комиссия аттестовала мою работу на «отлично» и решила присвоить мне первое место и высший разряд. Но тут взрослые женщины дружно закричали: «Мы тут годами работаем, а пришла какая-то кроха — и ей сразу все?!» Одним словом, получила второе место и первый разряд. В награду за призовое место мне дали ордер на блузку, чему я была страшно рада. Правда, червячок досады все-таки шевелился в глубине души — за первое место мне бы дали ордер на платье.

На фабрике я вступила в комсомол. Меня избрали секретарем комсомольской организации. В последний военный год, несмотря на все тяготы и лишения, жить стало веселее: наши громили немцев, и мы словно ожили, повеселели. Да и государство стало проявлять больше заботы о молодежи и подростках, понимая, как они вымотались за войну. Проводились спортивные соревнования, коллективные выходы в кино и театры. Уже в 1945 году к нам приехали работники киностудии и стали нас снимать для киножурнала «Сибирь на экране»: надо было показать, как страна уже переходит на мирные рельсы, как наши женщины готовятся встретить своих мужей и какие наряды шьют для этих встреч. Однажды мы пошли посмотреть «Волгу-Волгу» и перед сеансом увидели себя на экране! Многих удивило то, что почти все время крупным планом показывали меня. Мне было так неудобно перед девушками: ведь они такие хорошенькие, а я — нет! На меня подружки очень долго обижались... Особенно после того, как кто-то сказал, что в «Работнице» напечатали обо мне очерк с фотографиями. Но я сама журнала не видела — не смогла достать. Когда наши вступили в Берлин, мы каждый день ждали известий о конце войны. Прошел слух, что 8 мая в 16 часов объявят о победе. Казалось, весь Новосибирск собрался на площади Сталина перед оперным — яблоку упасть негде. Все поднимали головы к черным тарелкам репродукторов, висевшим на столбах. И вот отбило четыре часа, и диктор спокойным ровным голосом стал передавать рядовые новости, обычные последние известия и ничего об окончании войны! Люди молча стали расходиться.

А девятого мая ранним утром объявили: «Победа!» Полураздетые люди со слезами радости на глазах выскакивали из домов на улицу. Обнимались, целовались, смеялись и плакали. На работе сказали: «Работы не будет! Отдыхайте!» И весь день шло веселье, гулянье, пели, плясали. Радости не было предела.

Пора было думать о продолжении образования. Закончив семь классов вечерней школы, решила поступить в техникум легкой промышленности. Но — не судьба. Неожиданно срезалась по своему любимому предмету — по русскому, хотя остальные экзамены сдала на пятерки. Тяжело переживала очередную неудачу и пошла туда, где был недобор: в техникум электросвязи. Мне уже было все равно где учиться. Учеба давалась с трудом после стольких лет перерыва, все «ехали» на тройках. Но как было интересно! Опять, как в былые годы, появились всякие кружки, как в том стишке: «Драмкружок, кружок по фото, а мне еще и петь охота!» И я бегала в Дом офицеров в хореографический кружок и на фотокружок, после которого на всю жизнь пристрастилась к кинокамере.

Учась в техникуме, я подрабатывала шитьем, потому что на мамину зарплату в 500 рублей не протянешь. Вот тут я была искренне благодарна маме, что она настояла и я научилась нужному ремеслу.

К этому времени моя подружка Валя-балерина вышла замуж и жила со своим мужем-скрипачом в доме артистов. Он находился тогда на месте нынешнего Дома одежды, что на Красном проспекте. На первом этаже был книжный магазин, на втором — жилье. Не очень хорошее, кстати. Коридорная система, множество

комнаток, в каждой из которых жила отдельная семья. В них помещались только кровать, стол, пара стульев да пианино. Когда я сшила Вале платье, то и другие артистки захотели заполучить меня. Мои вещи получались, скажу без ложной скромности, элегантные и нравились всем. Мне даже платили больше, чем я запрашивала. Но шила я очень медленно. Утром — занятия, днем — кружки, вечером — шитье, а к ночи — домашние задания. Часто засыпала прямо за столом. Назавтра все повторялось. Такая жизнь сильно отразилась на здоровье, и я прямо перед самыми экзаменами за второй курс сильно разболелась на целый год! Потом мне предложили либо снова повторить второй курс, либо сдать экзамены экстерном. И то и другое было невозможно. Учебу пришлось оставить. Навсегда.

Вспоминая свою жизнь, я поняла, что у каждого своя судьба, которая неуклонно ведет человека и часто совсем не совпадает с твоими мечтами и целями. А в наше поколение еще неумолимо врезалась война, которая перекроила наши судьбы, исковеркала, изломала многие. Именно война помешала многим моим сверстникам получить образование, любимую профессию, неумолимо и сурово расправилась с нашими жизнями. И когда порой слышишь от молодежи, что «для вас, старых, главное — чтобы не было войны, а все остальное неважно», мне хочется ответить, что нам тоже очень хочется жить благополучно и зажиточно. Но мы знаем, что такое война, мы испытали это на себе и поэтому не хотим, чтобы это когда-нибудь повторилось. Мы не хотим, чтобы вы, молодые, хоть когда-нибудь испытали то, что выпало на нашу долю. Вот почему от нас часто можно услышать фразу: лишь бы не было войны! Лишь бы был мир!

Город мой выдержал все испытания, развился, похорошел, помолодел. А наше поколение, то, которое помогало ему расцветать, состарилось. Но я думаю, что мы выполнили свой долг перед Новосибирском, перед Богом и людьми.

Александр Синцов

Чтобы рассказать мою историю, мне придется оживить свои тяжелые воспоминания, вновь пройти через боль, потому что история эта невеселая. Поэтому я хорошо понимаю своих товарищей, которые избегают разговоров на эту тему, иначе — зайдет, зажмет, задавит сердце, подскочит давление. А где взять здоровья для этого? Годы наши уже не те. Лучшие из них были отданы в жертву страшному Молоху, пожиравшему людей. Не миновал он и меня. Но все-таки я должен рассказать все, несмотря на то, что после этого разговора буду потом долго болеть... Должен, потому что сейчас очень многим хочется, чтобы все забыли о страшном прошлом, многим хочется сделать вид, что ничего и не было, многим хочется воскресить светлый образ товарища Сталина — «учителя, вождя и отца народа».

Для чего ему нужны были эти жертвы? И зачем ему потребовалась моя юная 18-летняя жизнь — чтобы навсегда изуродовать и искалечить ее?

Впрочем, начну по порядку. Сначала все было хорошо. Жили мы в Омске, где я закончил сначала семилетку, а потом училище судовой радиосвязи. Был здоровый, сильный, комсомолец, спортсмен. Вся грудь в значках: БГТО, ГТО, «Ворошиловский стрелок». Бывало, на танцах пригласишь девушку, другие завидовали: смотри, какого парня отхватила!

В училище связи я попал не случайно, а сознательно, потому что и родители мои были связистами. Мама работала на телеграфе, а отец находился в распоряжении Наркомата связи, строил новые линии.

Когда началась война, мне очень захотелось идти воевать. Был уверен, что война скоро и победоносно закончится, как финская, как бои на Хасане. Рисовал себе, как я вернусь таким геройским парнем с кубарями в петлице и пистолетом на боку. То ли дело! Такое вот мальчишество было в голове. Подал заявление на фронт в первые дни войны. Меня отправили на учебу в Тюменское пехотное училище, где объявили, что через шесть месяцев обучения мы станем младшими командирами. Надо сказать, что среди курсантов я сильно выделялся. У большинства из них образование было три-пять классов. А я по сравнению с ними — грамотей! Да еще и моряк! А кроме того, у меня были карманные часы, вызывавшие зависть окружающих. Это был такой шик, почище, чем сегодня «Мерседес»!

Учились мы напряженно: занятия по 12 часов — строевая, огневая, тактическая подготовка. Помню, осень, грязь, слякоть. Шинели намокли, обмотки в глине и воде. Командир взвода дает команду: «Привал!» Разожгли костер. И ребята начали вести разговор о политике, в том числе о Сергее Мироновиче Кирове как об ораторе и трибуне. А я в молодости хвастливый был, мне надо было выделиться, я возьми да и брякни сдуру где-то услышанную фразу: «Киров, — говорю, — конечно, трибун. Но мировой оратор был Троцкий. Он мог зажечь молодежь, и она его поддерживала!» Все! Утром меня вызывают в особый отдел, начинают вести допрос, а потом суют бумагу с требованием подписать. Я прочитал и обомлел: во сне не видел того, что там написано. Будто бы я враг народа и занимался подрывной работой, вел пропаганду среди курсантов, утверждал, что немцы сильнее, что мы не подготовлены к войне. Теперь-то, годы спустя, прочитав много книг да и проанализировав нашу учебу, я понимаю, что и мы в самом деле не были готовы к большой войне. Представьте себе, что на тактических учениях мы ни разу не

слышали взрыва гранаты. Таскали по земле макет танка и бросали в него деревянные. А через шесть месяцев таких занятий предстояло идти в настоящий бой и вести за собой солдат.

Но тогда-то я ничего такого и близко не думал. Не было у меня в молодой голове таких умных мыслей и никакого критического настроения в помине!

Но меня посадили в столыпинский арестантский вагон, в купе с тремя парнями, и повезли. За дверью — конвой вооруженный, все как положено. Еды — никакой. Едем. Где-то на станции Татарской к нам подсадили «случайного» попутчика. Мы потеснились, а он, такой доброжелательный, открывает свой мешок, а в нем горбуша соленая, жирная. У нас глаза заблестели. А он «от души» угощает: «Ешьте, ребята, не жалейте!» Разве мы, пацаны, думали, какие будут последствия этого «угощения»? А последствия страшные. Жажда! А пить-то нам не давали. Все было подстроено, отработано, отшлифовано, поставлено на поток.

Привезли в Новосибирск, доставили в НКВД на Коммунистическую. Поместили в одиночку. И вдруг температура в ней стала резко подниматься. Все жарче и жарче. Стены огнем пышут. Градусов 50, не меньше! У меня все внутри пересохло, распухло. Я кричу, прошу пить — бесполезно! В конце концов, когда я оглох и осип от крика, вошли двое, избили и ушли. Я впервые потерял сознание. А ночью, часа в два, повели на допрос.

Сидит следователь. Такой вроде приветливый. Перед ним графин. Он его берет и начинает медленно-медленно наливать воду в свой стакан. У меня глаза из орбит вылазят, внутренности дерут соль и жажда. Он это понимает и подсовывает бумагу на подпись. Я отказываюсь. Тогда один из его напарников бьет меня сзади, и я падаю со стула. Подскакиваю, инстинктивно хватаюсь за этот самый стул, чтобы дать сдачи, а он привернут к полу. Все предусмотрено...

Через некоторое время меня из термической камеры, где мучили то холодом, то жарой, перевели в пересыльную тюрьму. Находилась она в то время, считай, в центре, на улице 1905 года. Там теперь психоневрологический диспансер.

Потом, уже в девяностые годы, я попросил председателя новосибирского КГБ Фролова: «Приведите меня в мою камеру на Коммунистической. Покажите мне ее. И скажите, кто был моим следователем?» Он ответил: «Сейчас там ничего нет. И зачем тебе фамилия следователя? Если бы ты ее узнал, что бы ты сделал?»

А что бы я сделал? Не знаю, может быть, набил бы ему морду, может быть, даже убил, может быть, плюнул на его могилу поганую... Не знаю...

Три месяца таскали меня на допросы и все время били, заставляли делать «заячью стойку». Знаете, что это такое? Это когда ты стоишь, не смея шелохнуться, на одной ноге, подняв руки вверх. Если переступишь ногами, то время пытки увеличивается. И все-таки целых три месяца я ничего не подписывал. Держался. И держался бы еще какое-то время, если бы в мою камеру не приволокли почти бездыханного человека. Я кое-как подполз к нему (сам, избитый, не мог ходить), подсунил ему под голову шинель и стал отваживать. Потом, когда он немного отошел, мы стали разговаривать. Мой новый сокамерник оказался заслуженным человеком, военным комиссаром с боевыми наградами. Он, конечно, больше меня знал о порядках в НКВД и он мне сказал: «Плохо твое дело. Тебе отсюда все равно не выбраться. Спасай хотя бы своих родителей. Спасай, пока не поздно. Отрекись от них!»

Когда меня привели на следующий допрос и я попросил перо и бумагу, следователь заулыбался. Я же не знал, что они за каждое законченное дело получали вознаграждение. Так, по крайней мере, мне говорили люди знающие. В общем, они были заинтересованы нас погубить. Чем больше жизней сломают, тем богаче живут!

Короче, я подписал все бумаги. И до сих пор не могу понять, почему и после этого меня опять принялись бить. После того допроса я две недели пошевелиться не мог — все было отбито! Я же подписал, а они все равно били. Тешились!

Перед самым Новым, 1942, годом состоялось заседание военного трибунала. Он находился тогда в начале улицы Чаплыгина, у самой насыпи, рядом с какими-то складами железной дороги. Привезли на «черном вороне», я вышел и поднялся на второй этаж. И не успел и рта раскрыть, как мне объявили: «За измену Родине и связь с другими заговорщиками приговорен к высшей мере наказания — расстрелу!» И все! Весь процесс! Мне завязали глаза, подхватили под руки, засунули в «воронок» и привезли в камеру смертников. Там находилось 22 человека. Все — пацаны. Самому старшему — 23 года. Все эти мальчишки — изменники Родины и враги народа!? Всем им предстояло умереть.

Теснота и духота невыносимые. Ночью спали на боку, поворачивались по команде. Самое страшное начиналось, когда мы засыпали. Вдруг раздавался звон ключей, лязг открываемого замка, скрип дверей и надзиратель выкрикивал: «Такой-то! На выход!» Что тут начиналось! Невообразимые вопли, прощания, плач, истерики.

Такая психологическая драма, такая нагрузка... В одну из ночей вывели и меня, завязали глаза, подхватили под мышки, и мы начали куда-то спускаться. Пока шел, мысленно прощался с мамой, с сестренкой, с отцом. Но вот куда-то завели, мы остановились, повязку сдернули, и в лицо хлынул мощный пучок света. Я потерял сознание... Сколько я был без памяти, не знаю. Но когда очнулся, почувствовал, что лежу на чем-то холодном, с ног до головы мокрый. Надо мной — лица людей.

Оказывается, рассмотрели мою апелляцию и заменили расстрел десятью годами лишения свободы и пятью годами лишения в правах. А спектакль с выводом на расстрел — это часть неизменного ритуала особистов, направленного на подавление в человеке чувства собственного достоинства, на запугивание. В общем, меня, бесчувственного, затащили в общую камеру, где заключенные окатили меня водой, чтобы быстрее очухался.

После вынесения нового приговора я целый год находился в одном из новосибирских лагерей. Не скажу, в каком именно, — то ли на территории завода Чкалова, то ли на прожекторном заводе, то ли еще где. На работу я не выходил: после четырехмесячной «обработки» в предварительном заключении и в камере смертников я мог только лежать или с трудом передвигаться по барaku. Другие заключенные работали кто на «Сибсельмаше», кто на погрузке вагонов. Состояние мое было настолько тяжелым, что весь этот год остался для меня словно в тумане. Потом был другой лагерь, под Томском. Привезли в зону, построили. А там — 8000 уголовников стоят по одну сторону плаца, а по другую — человек двести — мы, политические. Начальник лагеря обращается к уголовникам: «Вы можете и должны честным трудом исправить свою вину перед страной, а вот эти — враги народа».

Дал понять, что мы и есть самые настоящие отщепенцы и с нами можно делать все что угодно и что отвечать за это никто не будет. Что и происходило. Скажем, идем за хлебом. Берем пайку на неделю, по 160 граммов в день на человека. Нас сопровождают при этом человек 30, а нападают человек 100. Не отбиться! Все отнимут, и некому жаловаться.

Вокруг — тайга непроходимая, болота, гнус, слепни. Если с кочки сорвался — все! Смог выбраться — радуйся, не смог — твоя беда. Нас там почти и не охраняли — бежать некуда.

Однажды пришли в столовую обедать. Я — бригадир. Взял обед. Только повернулся сесть за стол, у меня его вырвали. Тут началась такая свалка, такая битва и так

меня зверски избили, что в лагере не могли вылечить, повезли в Томск. Поместили в психиатрическую больницу, там — криминальное отделение, где лечили зэков. Бросили на полу в коридоре. Я был долгие дни без сознания и умер бы, если бы не добрая душа — Дарья Васильевна Поморцева, медицинская сестра. Она пожалела меня, такого молодого, и начала выхаживать. Царствие ей небесное! Год-то был голодный, тяжелый, 1942. А она для меня еду из дому носила, присматривала за мной. А когда стал потихоньку ходить, упросила главного врача, чтобы мне разрешили выезжать в лес на заготовку дров. Зэков туда не брали, а занимались этим легкораненые и выздоравливающие бойцы, находившиеся здесь же, только в другом отделении. Кое-как одели: на одной ноге ботинок, на другой — обрезанный валенок, телогрейка, шапчонка. Как на улицу вышел, закружилась голова от воздуха, и стал я падать. Меня положили в сани и повезли в лес. На свежем воздухе стал потихоньку приходить в себя, но состояние было тяжелое, ведь после лагерных побоев я три месяца находился между жизнью и смертью. Работа в бригаде дала мне право есть первым из общего котла, а значит, порой зачерпнуть супу погуще. А это уже много. Понемногу стал выздоравливать. Рад был возможности вернуться к жизни.

В больнице искал для себя работу, что-то чинил, кому-то галоши клеил, старался быть полезным. И вот за этой работой за приметил меня один человек. Подходит он ко мне и спрашивает: «Тебя как зовут?» Я ответил.

— А кем тебе доводится Павел Солнцев?

— Это мой дед.

Вот, судьба! Представляете, этот человек услышал мой голос, а у нас в роду все мужчины говорят густым басом, и какие-то интонации показались ему знакомыми. Вот как бывает! Как оказалось, этот человек был начальником шахты в Экибастузе и работал вместе с моим дедом. В больницу он приехал подлечиться после нервного потрясения и вот встретил меня. Уезжая, подошел: «Я дам тебе денег». Я ему ответил: «Спасибо, конечно. Но вы меня извините, что я с этими деньгами делать буду? Если хотите помочь, будьте любезны, сообщите моему отцу, где я нахожусь». Я ведь был без права переписки, и мои родные не знали обо мне ничего, хотя много раз наводили справки.

Человек этот вернулся домой и сообщил оттуда маме обо мне. Она — отцу, который находился в это время на выполнении правительственного задания, на строительстве проводной связи по линии Киров — Воркута. Работал он в непосредственном подчинении маршала войск связи Николая Демьяновича Пересыпкина. Получив мамино письмо, отец на правительственном бланке телеграммой сделал запрос в больницу о моем состоянии здоровья. Телеграмму получили, и тут началось!

Я к тому времени, отбыв шесть месяцев в больнице, вернулся в зону. Стояло лето, мы валили лес, и я был бригадиром. Норма была нелегкой, но мы старались. Не выполнишь — лишат пайки, так что работали на совесть, даже план перевыполняли, о чем регулярно сообщала стенгазета, прославляющая передовиков.

Проходит немного времени, за мной приезжают на лесосеку, везут в зону и бросают в кандей — это туда, где содержат провинившихся. А там — стоишь весь день и вся еда — кружка воды. Тут я взбунтовался, зашумел, закричал. Приходит начальник режима: «Ты чего хочешь?»

Я зло так отвечаю: «На каком основании меня бросили сюда? Режим я не нарушаю, норму выполняю и даже перевыполняю. Что я сделал плохого, что вы надо мной издеваетесь?»

Привели к начальнику лагеря и стали допрашивать: «Через кого сообщил?»

— Ничего я никому не сообщал!

— Мы знаем, что Дарья Васильевна была с тобой в хороших отношениях. Мы будем тогда с ней разговаривать. И, будь уверен, нам-то она все скажет!

Я как представил себе, что мою спасительницу, старенькую Дарью Васильевну, пытать начнут, мне страшно стало. Отвечаю: «Кто передал обо мне, я вам не скажу. Этого человека здесь нет. А Дарья Васильевна никакого отношения к этому не имеет».

И тогда они решили снова меня в психушку вернуть. Только на этот раз не в криминальное отделение, а туда, где настоящие психи лежат. Решили отомстить. Привезли, завели в просторную ванную комнату, подвели противопожарный насос и стали водой поливать. А потом надели мокрую холщовую смирительную рубашку. Когда она высыхает, все тело начинает как тисками сжимать. Не дай бог! Это что-то страшное.

Рядом — больные, настоящие и мнимые — симулянты, не желающие воевать. Но их быстро разоблачали. А меня, здорового, специально залечивали по указке особистов. Испытывали на мне какие-то препараты. Вводили куриный белок, от которого разносило ноги, кололи какие-то уколы, от которых я в самом деле стал похож на невменяемого. Стал безразличным, ни на что не реагировал. Похудел до невозможности. Постарел, губы все обметанные, тело покрыто чирьями.

Ни лечь, ни встать. Залечили. Так прошло года полтора. Но вот однажды входит ко мне главврач и ведет в свой кабинет. Там сидят двое. Они долго и очень странно смотрят на меня, а потом произносят: «Ну, и как мы его в таком виде повезем?» А я ничего хорошего не жду и только думаю: «Господи, опять куда-то увозят!»

— Сколько времени потребуется, чтобы привести его в нормальное состояние? — спрашивают.

— Недели три, — отвечает врач.

— Займитесь этим!

После их визита перевели меня в военный госпиталь. А там другое питание и другой уход. Раздевают меня донага и помещают в кабинку, где горит 40—50 лампочек, на прогревание. Ну и выходили. А после привезли в Новосибирск, к отцу. Отец, оказывается, все это время хлопотал за меня. Он был в чинах, и я даже думаю, что он за помощью мог обратиться к самому маршалу. Он взял меня на поруки, и благодаря ему я стал последние годы своего заключения отбывать... на воле! Меня как бы перевели из одной лечебницы в другую, в новосибирскую. Каждый день я ходил туда, и там меня лечили уже по-настоящему, исправляя тот вред, который нанесли в Томске. Каждый день в шесть часов вечера я ходил в комендатуру и отмечался — ведь я оставался поднадзорным.

Жизнь круто изменилась. Я даже сумел поступить в техникум связи. Как уж отец разговаривал о моем поступлении с директором, не знаю, но то, что я — зэк, держалось в тайне. Здоровье продолжало оставаться очень плохим. Первые два часа занятий я сидел нормально, а потом начинались нестерпимые головные боли, я ничего не мог воспринимать и тогда вставал и шел в диспансер, где мне делали уколы. Тому, что остался жив, я до своих последних дней обязан Капитолине Андреевне Дмитриевой, которую считаю своей второй матерью, Цезарю Петровичу Короленко, Валентине Григорьевне Шумиловой. Они, спасая меня, делали все что могли и даже больше того. Благодаря их заботе и старанию я стал выкарабкиваться из объятий старухи с косой, медленно приближаясь к норме.

Но вот однажды прихожу на занятия и меня вызывают в кабинет к директору. Там

сидят двое гражданских, показывают свои удостоверения НКВД и уводят в здание штаба Сиб-ВО, где начинают допрос:

— Почему на воле? На каком основании?

Отвечаю, что взят на поруки, что каждый день отмечаюсь в комендатуре. Их эти ответы не устраивали, и они продолжали допрашивать, но делали это с такими подначками, так издевательски, так меня провоцировали, что я и в самом деле не выдержал, схватил со стола графин и швырнул что есть силы в стену. Они только этого и ждали. Скрутили, завели в подвал и так избили, что сами испугались.

Вызвали врача. Она стала со мной отваживаться, а потом позвонила своей подруге Капитолине Андреевне: «У тебя, случайно, не стоит на учете Синцов?» — «Это мой больной!» В общем, отец прислал машину и меня доставили домой. После этого свидания с особистами я опять надолго вышел из строя.

В 1951 году истек срок моего заключения и меня выписали из больницы. Больше не надо было ходить каждый день на отметку в комендатуру, но жизнь все равно не была полноценной. Во-первых, у меня оставалось еще пять лет поражения в гражданских правах, а это тоже не доведи, Господи, никому! Когда истекли и они, то клеймо врага народа продолжало преследовать меня: ведь реабилитации-то не было!

Годы спустя я написал в «Советскую Сибирь» о своей истории. Ее прочитали сослуживцы моей супруги и говорят: «Вера Александровна, что у тебя муж-то, с ума сошел? Как он мог быть репрессированным, сидеть в лагерях, когда мы вместе с ним техникум заканчивали?» Жена пришла такая взволнованная: «В чем дело?» Она ничего не знала, ведь я давал подписку, не имел права никому говорить. Я ей ответил: «Верочка, а если бы ты узнала, что я — враг народа, ты бы вышла за меня замуж?»

Испытаний и так хватило на долю моей дорогой супруги. Во-первых, я не имел права быть прописанным в городе, а только в Новосибирском сельском районе. Когда началась стройка в Академгородке, моя супруга монтировала там телефонную станцию, и ей, как каждому строителю, полагалась квартира. Но из-за меня ей ее не дали. Как, враг народа да в Академгородке? Дали значительно позже, в Толмачево. И мы много лет ездили на работу в город, в такую даль, это с нашим-то здоровьем! То же самое с работой. Окончив техникум, я устроился лаборантом в институт связи — на большее я не имел права претендовать, хотя был неплохим специалистом и оказывал ученым большую помощь в проведении их научных разработок. Меня обскакивали девочки со школьной скамьи. Даже в институт я долго-долго не имел права поступить учиться. Когда я все-таки его закончил уже в шестидесятых годах, когда был развенчан культ личности Сталина, меня приняли преподавателем в техникум связи. Нагрузка — минимальная, зарплата — копеечная. Директор техникума, царство ему небесное, предложил мне в порядке материальной поддержки преподавать новую дисциплину — гражданскую оборону. Я ему ответил: «Федор Кириллович, низкий вам поклон, но я не могу принять ваше предложение, потому что начальник штаба ГО должен иметь доступ к документа-ции, а у меня вот такая история», — и рассказал все о себе. Он так возмутился, так близко принял к сердцу мою судьбу, что начал делать запросы в Москву о моей реабилитации. Шесть раз ходили бумаги в столицу, и только в 1966 году пришла реабилитация из военного трибунала и военной прокуратуры. Мне даже выплатили компенсацию: за два месяца 6 рублей довольствия, паек — 19 рублей 38 копеек и что-то там еще, всего на сумму 64 рубля!

Потом, в девяностых годах, компенсация уже не выглядела такой издевкой — 100

минимальных окладов. И все-таки лучше бы мне вернули здоровье, чем эти горькие деньги.

Казалось бы, все! Реабилитировали, вроде восстановили справедливость, можно забыть о страшном прошлом. Но от него никуда не уйдешь. И самое трагичное напоминание о нем — наш сын. Мне говорили, что не стоит детей заводить после тех лекарств в томской психушке. Но нам так хотелось иметь малыша, так хотелось радоваться ему, что мы рискнули. И вот итог: сын наш очень, очень больной человек. Сейчас ему 45 лет, и он перенес 14 операций. Не говорю уж о том, что он страшно неуравновешенный, нервный. Мы в постоянной тревоге за него. В редкие периоды улучшения, когда он покидает свой дом, мы не находим минуты покоя: как он там? Как правило, эти выходы заканчиваются «скорой»... Живет он вместе с такой же насквозь больной женщиной. Вот так и получилось, что мы, два старика, тянем молодых. А что с ними будет, когда нас не станет?

Так что прошлое цепко держит нас своими когтями. Когда на гребне перестройки образовалось общество «Мемориал», я стал членом его правления. Там и познакомился с сыном Льва Каменева — Глебовым. Мы стали заниматься работой по оказанию помощи репрессированным в деле их реабилитации, другой практической деятельностью. Но к нам вдруг присоединилось и общество «Возрождение», которое преследовало политические цели. Начались митинги, общественные акции. А нам это было не нужно. Нам надо было людям помогать. И Глебов предложил: «Давай создадим свое общество». Что мы и сделали в 1989 году. Новую организацию назвали «Союз репрессированных». На первых порах нам оказывали кое-какую материальную помощь, а мне, как председателю, даже платили небольшую зарплату. Потом это сошло на нет, и работу я веду на общественных началах. Денег у нас своих нет. Ходим по миру с протянутой рукой. Если кто-то выделяет какие-то средства, покупаем на них дешевые продукты и так же дешево продаем или просто раздаем нуждающимся. Политикой мы не занимаемся вообще. Не наше это дело, нам надо помогать людям юридическими консультациями, содействием по реабилитации и другими практическими делами. Это тяжелый груз. Невыносимо тяжело выслушивать новые трагические истории, пропускать через себя чужую боль, окунаться в эти беды людские. Каждый раз сердце кровью обливается. Но бросить эту работу не могу. Не вправе. Чувствую, что я нужен людям.

Работая здесь, я сумел полнее других представить масштабы репрессий. Они чудовищны! Когда изучаешь документы, бываешь на местах массовых расстрелов, разговариваешь с людьми, попавшими в эту сатанинскую мясорубку, волосы дыбом встают. И, поверьте, это не метафора! Это правда. В том же нашем Куйбышеве, когда начали рыть котлован под химкомбинат, обнаружили штабеля убитых... Таких мест в области, да и в городе, есть немало. Я вам еще не всю правду открываю. Тысячи безвинно погубленных новосибирцев лежат в безымянных ямах, никто никогда не плакал над их могилой, никто не принес цветка к последнему пристанищу дорогого человека. Разве это по-людски?

Разве власть, будто бы признавшая свою вину перед этими людьми, не обязана была хотя бы поставить памятник жертвам сталинских репрессий, чтобы дети и внуки невинно убиенных могли положить цветок к его подножию, чтобы жители города могли склонить свои головы перед ним, чтобы он служил назиданием современникам и потомкам?

Говорят — нет денег. Несколько лет тому назад, правда, была попытка организовать конкурс проектов памятника, но он кончился неудачей. На вторую попытку не

хватает энтузиазма, зато есть весомая отговорка — нет средств. Хотя деньги это не такие уж великие, куда большие у нас расходуются на торжества и празднества. Кончаем мы свою жизнь с чувством обиды и горечи. До сих пор не нашлось никого в правительстве нашем, чтобы сказать пострадавшим: «Простите нас, люди!» Нас приравнивали по льготам к ветеранам войны, спасибо за это, но ветеранам — честь и почет, а нам — плохо замаскированное раздражение. Обидно еще и то, что до сих пор продолжают врать, до сих пор не говорят всей правды, и нам еще горше от этого. До сих пор без возмущения не могу вспоминать, как на улице Коммунистической я ознакомился со своим делом. Вы знаете, что я там прочел? Что я, будучи курсантом училища, якобы украл у своего товарища затвор из винтовки и спрятал его в дымоход. И что, будучи на стрельбище, украл один (!) боевой патрон... Да там их можно было мешками таскать! Какое отношение имеет эта писанина к 58-й политической статье, по которой меня осудили? По этому делу выходит, что я — обыкновенный вор. За такую провинность и в те строгие времена ничего бы мне не сделали, разве что из комсомола исключили...

Куда девалось мое настоящее дело? Кто и зачем его спрятал? Кто и зачем подменил его какой-то ахинеей?

Мы уходим из жизни с израненными душами. Во имя чего, во имя какой великой цели был совершен этот невиданный геноцид? Кто ответит на этот вопрос?

Город мой. Ты был жесток и неласков ко мне. Но на твоих улицах я повстречал свою первую и единственную любовь, свою дорогую и верную спутницу жизни, мою Верочку, давшую мне счастье. Здесь я встретился со многими хорошими людьми, которые помогли мне выжить в труднейших ситуациях, которые поддерживали меня в нелегкую минуту. Вот почему я очень, очень неоднозначно отношусь к тебе, мой город...

Юрий Магалиф

От Ленинграда до Новосибирска мы ехали двадцать два дня. На второй день пути нас обстреляли гитлеровские самолеты. Чувство было паршивое, вся душа сжалась в комок, и сам весь словно съежился... А над вагоном хлещут короткие пулеметные очереди, и сквозь них — нарастающий вой пикирующего ужаса.

Эшелон остановился в поле. Маленькие окошечки в товарном вагоне были прикрыты почти наглухо; но все-таки можно было разглядеть, как охрана разбежалась от поезда и пряталась в кустах... А мы — сорок семь небритых мальчиков от шестнадцати до семидесяти двух лет — сидим не дыша и ждем, когда нас всех фашисты перебьют; нам-то в кустах не спрятаться — вагон закрыт снаружи на все запоры.

Было жарко и душно. Июль 41-го года. Война началась ровно месяц тому назад. Длиннющий товарный эшелон медленно тащился от Ленинграда неизвестно куда... А почему неизвестно? Очень даже известно — на Дальний Восток тащился, на Колыму, как было положено в ту пору. Страшно хотелось пить. А воды конвой выдавал по три чеплажки в день («чеплажка» — крышечка такая из-под мыльницы). Вода набиралась только из водокачек, на больших станциях — там была хоть маленькая гарантия, что вода чистая — не протухшая и не отравленная диверсантами (что, говорят, бывало в начале войны).

...Фашисты постреляли и улетели. Но поезд наш еще долго стоял, как будто специально поджидая нового налета. Я сидел на верхних нарах рядом с Георгием Григорьевичем — возле него почему-то было надежно и спокойно. Высокий, худой — кожа да кости, немного сутулый, с большим орлиным носом, этот инженер-строитель, узнав, что я начинающий артист, как бы потянулся ко мне: просил читать ему Пушкина, Блока, Гумилева, напевать шансоны Вертинского... И мы немного подружились. Нравился мне этот человек — очень ровный и вежливый со всеми, типичный ленинградский интеллигент старомодной формации.

Дружба наша, к сожалению, была недолгой. Да это и не удивительно: я для него был, наверное, просто мальчишка — мне только что стукнуло двадцати три, а Георгий Григорьевич был уже довольно пожилой. И срок у него был настоящий — десять лет; а у меня — только шесть (по тогдашним временам — не срок, а просто так, забава).

А фамилия моего этапного друга была Будагов... Ну и что? — фамилия как фамилия... Это уж потом, много-много лет спустя она окуталась для меня флером старой романтики: оказывается, Григорий Моисеевич Будагов в конце прошлого века был главным инженером строительства того самого моста, с которого и начался наш Новосибирск. И улица здесь когда-то была Будаговская. И первая школа была построена на его деньги. И, кажется, собор Александра Невского...

А я, восседая в гроыхающем вагоне на кособоких нарах, беседовал о серебряной поэзии с его сыном! А товарняк с политическими заключенными ехал через Обь по «мостовому переходу», построенному известным в России инженером — отцом моего друга Георгия Григорьевича. До сих пор не понимаю: почему он тогда ничего не рассказал мне об отце?

Потом, в лагере, на Третьем центральном лагпункте Сиб-лага СССР, мы с Будаговым виделись редко: работали в разных бригадах, жили в разных бараках. Его вскорости этапировали в какой-то другой лагпункт — кажется, в Кривошеко-во,

на строительство нового завода.

...А встретились мы еще раз в конце пятидесятых в Кыш-товском районе, куда я приехал с концертами. Будагов увидел на афише мою фамилию и пригласил к себе в гости. Жил он в старенькой деревенской избе. Недавно его полностью реабилитировали, и готовился он к возвращению в Ленинград. И снова в тот летний вечер были у нас и стихи, и тихие песенки; была, конечно, водочка под пельмешки; был роскошный, чистый сибирский закат... И сидела с нами за столом молчаливая немолодая крестьянка в белой косыночке — жена Георгия Григорьевича. Она никогда не была даже в Новосибирске, а теперь ей предстояло ехать с мужем в какой-то Ленинград. Прежняя питерская семья Будагова погибла в блокаду, вот и обзавелся он в Кыштовке новой семьей.

Это хорошо, это правильно, что мне вспомнился сейчас Будагов — ведь он в меру своих сил помогал строить город, который начинал его отец.

Нет, до Колымы нас не дотащили. Несколько эшелонов с заключенными оставили, слава Богу, в Новосибирске. Здесь надо было срочно строить заводские цеха для оборонных заводов, жилье для эвакуированных. Наконец, нужно было горбатиться у станков — вытачивать снарядные гильзы; нужно было шить солдатские шинели, стирать и латать окровавленное белье, которое привозили с фронта.

...Рассказывают, что в годы войны сюда приезжал какой-то высокопоставленный американец. На вопрос, как ему понравился Новосибирск (который тогда гордо именовали «вторым Чикаго»), гость вполне равнодушно ответил: «Большая деревня». «Но ведь у нас такой красивый театр!» Американец, помолчав, сказал: «Новосибирск с его театром напоминает мне голодранца в шляпе».

Сказано было грубо, но достаточно точно — большинство районов города были тогда одноэтажными, деревянными, с мостками вместо тротуаров, с подслеповатыми фонарями, со скрипом ставень, с медленным уличным движением... Началась война... В Сибирь хлынул с запада поток эвакуированных. Невиданный размах экстренного строительства потребовал сотни, тысячи рабочих рук. Желательно дешевых. И каждое утро (и каждый вечер, конечно) по городу тянулись длинные колонны плохо одетых людей. Мужчины и женщины, старики и подростки: в рваных телогрейках, в замызганных бушлатах, в дырявых кирзачах, в уродливых бахилах под названием «четезе», — они шли и шли из лагпунктов на объекты, с объектов — в лагпункты. Знаменитая пересыльная новосибирская тюрьма всегда была переполнена... И когда я теперь иногда прохожу по улице 1905 года, мимо невродиспансера, мне все еще слышатся крики со сторожевых вышек: «Проходи, не задерживайся!..»

По бокам этих скорбных колонн шли солдаты с винтовками наперевес, злобно лаяли собаки, то и дело раздавались окрики «Подтянись! Шире шаг!..» и угрозы «Шаг влево, шаг вправо — конвой стреляет без предупреждения!»

В любую погоду — в жуткую непролазную грязь, в пятидесятиградусный мороз, в зной и в грозу, в дождь и в пургу — плелись по «второму Чикаго» «сиблаговцы-сибулонцы» — заключенные новосибирских лагерей.

Боюсь ошибиться — прошло все-таки более полувека, но в годы войны в городе, в разных его концах, было не менее шестнадцати лагерных пунктов и великое множество так называемых «раскомандировок» — маленьких лагерных подразделений в 20—30 человек заключенных.

Меня пригнали сразу же на Центральный лагпункт, что раскинулся возле какого-то длинного оврага на тогдашней городской окраине. Теперь это улица Учительская. Вот там, где ныне стоят дома №№ 17 и 19, темнел высокий забор, опутанный

колючей проволокой, и возле бревенчатой вахты тихо скрипели широкие ворота; какой-то остроумец начертал на них: «Кто не был, тот будет, а кто был, тот не забудет!» Потом этот жизнерадостный лозунг замазали известкой.

А за забором — около двадцати приземистых бараков и громадная площадь для утренних разводов. Десять тысяч человек каждое утро (без всяких там выходных и праздничных дней) строились здесь по пятеркам, формировались в бригады, в отряды, в колонны. Зверские крики охрипших бригадиров, десятников, надзирателей; стоны, плач — все, все впитал в себя этот новосибирский воздух, который до сих пор кажется мне на той улице уплотненным и замороженным! Вначале, в первые военные месяцы, нас кормили плохо... Нет, не плохо — нас кормили омерзительно и унижительно: пустая несоленая баланда, в которой в лучшем случае плавала косточка от вонючей наваги; жидкая, как слизь, каша из какого-то неведомого «магара» — вот и весь обед... И в наступление пошел смертельный авитаминоз — жуткая болезнь «пеллагра», косившая тысячи людей. Зимой я работал санитаром в лагерном госпитале. Зловеще памятное совпадение: 12 января 1942 года в осажденном Ленинграде скончался от голода мой отец, и в эту же самую бесконечную ночь в Новосибирске — только в моем больничном бараке — погибло от пеллагры двести сорок человек! А таких бараков у нас было четыре...

Вместе со мной дежурил санитар Анатолий Францевич Гидаш — известнейший венгерский поэт. Он сапожным ножом нарезал фанерные бирки — руки его были сплошь в кровоточащих мозолях... А я писал на бирке фамилию умершего и привязывал ее к левой ноге покойника... Не знаю, где их закапывали, эти желтые скелеты? Где-то поблизости от лагеря. Должно быть, бедная лошадка, таскавшая санки с трупами, совсем не отдыхала...

Неожиданно все переменялось! Черпак раздавалычика плескал в ржавую миску суп, который уже не хотелось называть баландой; и каша была как каша — синеватая, конечно, но довольно густая, с рыжиковым маслом. И хлебная пайка немного увеличилась...

Видно, кто-то где-то сообразил, что строителей выгоднее кормить, чем хоронить с голодухи.

А работали мы теперь по 12—14 часов в сутки. И как работали! Все военные годы Новосибирск строился фантастически быстро. Вырастали мощные заводы. Формировались жилые кварталы. И главным образом все это строили люди подневольные — в основном политические заключенные: «контрики» и частично «бытовики». Как водится, матерые уголовники — «паханы», «воры в законе» — на работу не выходили.

Поздней осенью в теплый солнечный день нашу 257-ю бригаду привели в густой березовый лес неподалеку от лагеря. Мы валили кряжистые деревья, корчевали пни, а потом рыли большие землянки. «И кто же будет здесь жить? — спрашивал я. — Для кого роем землю в эдакой глухомани?» «Кажись, для эвакуированных», — отвечал бригадир.

Мы справились с земляными работами, и после нас сюда пришла бригада плотников...

А года через три, когда нашу колонну почему-то провели через эти же места, шедшая рядом со мной в шеренге Татьяна Всеволодовна Мейерхольд восхитилась: «Глядите, Юра, до чего же дивная улица в березовом лесу! Просто сказка! И какая идиллия — солнце, зелень, побеленные домики... Вот где бы жить и жить!..» Сегодня как раз на этом самом месте высится весьма уже почтенный Дворец

культуры им. Горького.

А Танечка Мейерхольд — дочь гениального режиссера, убитого на Лубянке — несколько месяцев работала в нашей бригаде, когда мы поспешно строили авиадвигательный завод (ныне завод химконцентратов). Мы там делали бетонные полы в цехах. Сейчас не помню, для чего нужна была в бригаде бетонщиков эта худенькая нервная брюнетка? Но отлично помню, что осенью ее этапировали на станцию Шелковичиха в сельхозлагерь. По образованию она была зоотехник-коневода. Знаю, что после прибытия Танечки на Шелковичиху дела в том лагере пошли так хорошо, что даже сам грозный начальник Сиблага майор Моргунов помог ей досрочно освободиться!..

Я долго не мог в это поверить: Моргунов славился хамством и беспощадностью. Но вот поди ж ты! Характеры людские непостижимы: оказывается, этот Моргунов был страстным театралом и к фамилии Мейерхольд относился просто благоговейно! И тут самая пора сделать небольшое замечание.

Вполне может быть, что эти мои заметки кое-кому покажутся странными из-за того, что нет в них кошмарных лагерных сцен, описанных Солженицыным, Шаламовым, Жженовым... Что поделать! Уж, видно, так устроена память сердца моего, что ужасные картины запомнились плоховато.

Конечно, изуверы-палачи были не только на Колыме, но и на Печоре, в Акмолинске и в Сибири... Возможно, кто-нибудь еще напишет про страшный лагерь уничтожения в Ис-китиме (на известковом карьере), куда я чуть было не угодил перед самым своим освобождением...

Но сейчас мне хочется подчеркнуть, что свет не без добрых людей, что среди лагерного начальства мне посчастливилось встретить порядочных граждан; и в общем их было не так уж мало в Новосибирске военного времени.

Разве могу я забыть Петра Петровича Соколова — начальника Центрального лагпункта? Сухощавый, седой, всегда подтянутый офицер, не очень улыбчивый — он среди заключенных славился справедливостью и человечностью. Сколько моих товарищей по несчастью обязаны жизнью этому суровому «гражданину начальнику»! Сколько он поддержал скупым добрым словом и посильной заботой!

Рассказывали мне, что жил он где-то на Волочаевской улице. Ничего, к сожалению, не знаю про детей его и внуков. Но если живы наследники Петра Петровича, то пусть они не стыдятся, что их предок носил голубые погоны в ту страшную противоречивую эпоху; пусть гордятся они человечностью капитана Соколова.

...Андрей Леонтьевич Денисюк, Николай Николаевич Су-щев, Анна Ивановна Леонова — они в разных званиях и должностях трудились честно в КВЧ — культурно-воспитательной части. Образования у них было маловато и, как говаривал Сущев, «культурешки бы поднабраться!» Но свои душевспасительные функции исполняли исправно и на «врагов народа» украдкой взирали сострадательно. А даже тайное сострадание для нас тогда было куда дороже хлебной пайки.

Простой, краткий и понятный лозунг «Все для фронта, все для победы!» определял тогда жизнь всей страны — и на воле, и в заключении, придавая ей важный смысл и наполняя каждый день активной деятельностью.

С конца сорок первого и всю зиму сорок второго года заключенные Центрального лагпункта сооружали аэродром для завода им. Чкалова.

...Мы делали планировку,
Возили в тачках бетон,
А ветры, как псы, срывались

Со всех четырех сторон!..

Эти стихотворение я написал спустя тридцать лет. Но до сих пор мне слышится острый вой мартовской поземки на том призрачном, адском пространстве.

...Кто-то не выдержал и бросился бежать в сторону редкого перелеска. Тут же стрелок-конвоир (говорили, из таежный охотников) с одного выстрела на глазах у всех и всем в назидание насмерть уложил голубчика. И такая тишина наступила на летном поле. «Кто еще хочет бежать? Нет желающих?.. Продолжай вкалывать!»

Однажды на аэродром приехал первый секретарь обкома партии Михаил Васильевич Кулагин. Он привез с собой ящик водки.

Я очень хорошо запомнил его необычайную речь на небольшом митинге. Как всегда, было ветрено. И Кулагин кричал что было сил, ветер далеко разносил его голос:

«Дорогие товарищи заключенные! Да, я не оговорился — знаю, что обращаюсь к вам не по правилам, не по инструкции. Но к черту сейчас всякие инструкции! Мы сегодня с вами действительно товарищи, потому что делаем общее дело: помогаем громить фашистов. Я вам верю, как самому себе. Вы настоящие герои военного времени! Вы построите аэродром досрочно!..»

Мы, политзаключенные, которых иначе как «контрики поганые» никто не называл, слушали секретаря обкома разинув рты. Многие молча плакали — я это видел своими глазами. И водка тут, пожалуй, была уже не нужна: взлетно-посадочная полоса выростала прямо на глазах.

До славной победы на войне было уже недалеко, когда на Центральном лагпункте был установлен необычный мировой рекорд. Мой лагерный друг Сашка Добужинский (родной племянник знаменитого художника) ходил молчаливый и взбудораженный. Его, бывшего студента строительного института, определили учетчиком в бригаду каменщиков, которая возводила цеха на авиамоторном заводе. — Что такой задумчивый? — спросил я его после отбоя.

— Боюсь, ничего не получится... — загадочно ответил Сашка. — Дело это пока что секретное, болтать о нем не нужно. Потому что если провалимся, вонь пойдет по всему Сиб-лагу — могут и головки полететь. Но мне кажется, что подготовились мы здорово: с кирпичом и раствором полный порядок. А ребятки — что быки на откорме, поглядеть страшно!.. Только бы погода, только бы не дождик!

Потом Добужинский рассказал все более внятно. Оказывается, где-то там, у начальства, родилась безумная идея: рвануть рекорд по скоростной кладке. Да не просто рекорд — а мировой! Не знаю, какие там были цифры, но получалось, что трое каменщиков должны были за одну нормальную рабочую смену возвести стены целого цеха... Или что-то вроде этого. И представьте себе — получилось! Здорово получилось!

В тот погожий осенний денек из города на стройку прикатило разное начальство.

Явились и корреспонденты с фотоаппаратами. Огромный кумачовый плакат трепыхался на ветру:

Их метод всегда одинаков:

На вахте войны и труда
Навощик, Ефремов, Булгаков
Первыми будут всегда!

На другой день из этого немудреного стишка даже песню сотворили и спели ее на утреннем разводе.

А примерно через неделю на первой полосе газеты «Правда» (!) под очередной сводкой Информбюро появилась крохотная заметочка о том, что на строительстве завода в Новосибирске трое каменщиков установили мировой рекорд кладки кирпича. Вот и все. Даже фамилии рабочих не были упомянуты.

Но в самом лагере торжества все-таки были. Навощи-ка, Ефремова и Булгакова освободили в тот же день, когда они установили рекорд, тем более что срок у них подходил к концу.

Через несколько лет, уже после войны, на всю страну прославился новосибирский каменщик Максименко. Он тоже установил мировой рекорд на кладке кирпича.

Максименко был вольнонаемный, свободный человек. А те трое, как ни говорите, были заключенными — взгляд на их достижение должен быть другим.

Я предан Новосибирску. Его нынешний облик создавался на моих глазах. И где-то в кварталах этого города оставил я капельки своего пота, слез и крови... Конечно, это никому не заметно, кроме меня. И никто не подозревает, что, проходя по улицам города, меня тянет сойти с тротуара на проезжую часть — шагать, как бывало, по мостовой. И что даже через полвека я все еще слышу хриплые окрики: «Подтянись! Шире шаг! Конвой стреляет без предупреждения!..»

Лопаты давно проржавели, Тачки давно сожжены, Серые чуни из корда Сто раз позабыться должны.

А вот — ничего не забылось! Я вечно на поле твоём, Чкаловский испытательный Маленький аэродром.

Я знаю, как там бывает В мартовский гололед... Земля моя дорогая — Мой первый далекий взлет!

Раиса Максимова
Землетрясение

Опять не спится. Опять перед глазами проходят годы молодости и детства — трудные, горькие. Думаю о том, как я, девочка из Молдавии, попала в Сибирь, в Новосибирск.

Мой папа воевал у Котовского, был членом партии, лично знал Тухачевского, был чекистом. В двадцатых годах отца забросили в Бессарабию, которая с 1918 года входила в состав Румынии, для ведения нелегальной работы. Хотя переход границы прошел довольно благополучно, отец находился под постоянным подозрением у румынских властей, и у нас в доме были постоянные обыски. Чем отец занимался подпольно, я не знаю, но помню, что он спас жизнь нескольких человек, преследуемых буржуазной охранкой.

Летом 1940 года в Бессарабию вступили войска Красной Армии и была создана Молдавская республика. Как только появились органы НКВД, отец пошел туда и все рассказал о себе. Его похвалили за правильный поступок.

Все шло нормально до 13 июня 1941 года. В этот день наш пес Доник выл без остановки, и ничто не могло остановить его скулеж. Мама велела нам спать одетыми — не иначе ночью начнется землетрясение и придется спасаться на улице. Пес напрасно выть не станет! В два часа ночи раздался властный стук в дверь. Началось! — подумали мы, вскакивая с постелей. За дверью стояли двое конвойных:

— Вы все арестованы. Собирайтесь! С собой можно взять 100 кг вещей. Не забудьте пилы и топоры!

Вот это землетрясение!

Пока мама металась, собирая вещи и кое-какую еду, привезли с ночной смены папу, втолкнули всех в «воронки» и доставили на станцию. А там народу — чистая демонстрация! И откуда только набралось столько «воронков» в нашем маленьком городе Бельцы? Затолкали всех в телячьи вагоны, уплотнили, как сельдей в бочке, а потом раздалась команда: «Главы семейств, выйдите из вагонов!» Все мужчины вышли, двери вагонов закрылись и состав тронулся. Сработали точно! Днем состав загоняли в тупики, и мы страдали от неимоверной духоты, ночью потихоньку ехали. Куда нас везут? Конвоиры, раз в день забрасывающие к нам флягу с водой и бачок с кашей, были как немые. Мы потеряли счет времени. Где наши отцы? За что нас арестовали?

Однажды была моя очередь дышать у окна. Я стояла на узлах, чтобы дотянуться до окошечка под потолком, и вдруг против нашего состава на соседней линии останавливается поезд, и я вижу в таком же окошечке... папу! Он крикнул, чтобы ему бросили бритву и полотенце. Мама быстро свернула узелок, всунула в него кусок сала, и молодцы-мальчишки сумели перебросить его в окно к папе. Нас оттолкнули: все хотели увидеть своих близких, но папа успел крикнуть, что разберутся, что все будет хорошо. Больше мы его не видели...

Пока мы ехали, началась война. Об этом мы узнали из такого же телячьего вагона, в котором ехали какие-то иностранцы. Они нам нарисовали свастику и звезду, пронзенные стрелами, и мы поняли, что это — война с Германией и что иностранцы — пленные немцы. А нас все везли. Спустя много-много дней в Новосибирске пересадили на баржи и доставили в деревню Коровино Томской области. Уже завтра всех взрослых погнали на работу, хотя среди них были больные и престарелые.

Мама — удивительный человек! — работала, как вол, ее усердие заметили и разрешили занять стоящий на краю деревни заброшенный сарайчик. Она его обмазала, как это делают в Молдавии, глиной, и мы перебрались туда. Все-таки свой угол! Топили день и ночь, чтобы не пропасть от холода, но благо — рядом тайга и дров было достаточно. Сестре Тамаре исполнилось 16 лет, и ее стали увозить на лесозаготовки. А к нам в домишко постоянно забредали голодные, обмороженные, завшивленные дети, которые шли от деревни к деревне в поисках пропитания. Мама всем старалась помочь. Обмоет, прокипятит одежду (она ведь у меня профессиональная прачка), смажет коросты, накормит. Мы с сестренкой злились: сами голодаем! А она отвечала:

— Я не знаю, что вас ждет еще. Вдруг меня не станет, и тогда люди тоже вам помогут!

Многие дети-сироты звали ее мамой. И десятилетия спустя я встречала некоторых из них, взрослых, образованных. Все они помнят и чтят мою маму. Царство ей Небесное!

К весне голод стал донимать особенно сильно, кончилась картошка. С крыш бань и землянок сдирали лебеду и мокрицу, оборвали крапиву со всей округи. Мы, дети, ходили в лес за колбой (черемшой). Собирая в такие походы, мама надевала на меня отцовские кальсоны, чтобы не заедал гнус. Обрезать низки она не хотела — думала, отец вернется, и подвязывала штанины веревочками.

В одном из походов я услышала истошный крик: «Медведь!» — и, запутавшись в своих веревочках, упала. Медведь подошел ко мне, обнюхал, я чувствовала теплый воздух из его пасти и, наверное, потеряла сознание. Когда очнулась, услышала лишь треск сучьев под его лапами. Дети убежали в деревню и подняли там крик, что меня медведь задрал. А когда я вернулась, то мама меня отругала за потерянные кальсоны и мешок!

Когда, наконец, стали пахать картофельные поля, то мы, как воронье, лезли под плуг в поисках прошлогодней картошки. Выбирали эти перемерзшие клубни, лепешки из которых почитали за лакомство. Впрочем, пекли лепешки и из картофельной кожуры. Ее подсушивали, измельчали, а потом пекли. Были они горькие до ужаса, но мы их ели. И только когда несколько человек в поселке отравились и умерли, мы перестали готовить их.

Было мне 9 лет, когда я стала пахать на быках, вернее, погонять их, а мальчик лет 12 шел за плугом. К вечеру оба падали от усталости.

Но вот прошла еще одна холодная и голодная зима. Как-то весной, после сева, маму поставили вытрясти пустые мешки. По углам в мешках оставалось немного гороха, и мама собирала его в карман — все равно бы растерялся в траве. За это «преступление» ее арестовали и отправили на два года в томскую тюрьму. Мы с сестренкой остались вдвоем. Не дай Бог никому пережить то, что пережили мы тогда!

Правда, власти проявили к нам снисхождение как к несовершеннолетним и разрешили перебраться в райцентр, в Пудино. Там сестренка устроилась на работу в промкомбинат. Написали мы нашей тетке письмо, в котором сообщили о своей беде. Та продала лошадей и выслала нам две тысячи рублей, чтобы мы не голодали. Если бы мы могли знать, какую роль сыграют эти деньги! Нам еще не сообщили о переводе, а Тамару уже вызвали в райсовет и стали требовать, чтобы она подписалась на заем на четыре тысячи рублей.

— Откуда такие деньги? — удивилась сестра.

— А вам прислали две тысячи, вы напишите, и вам еще две пришлют!

Сестра отказалась — ведь мы были голые и босые, без угла... Тогда ее заперли на ночь в холодную комнату. Она наревелась, намерзлась, а когда утром открыли двери, сказала:

— Куда бы написать, что здесь так над людьми издеваются?

Лучше бы она не говорила этого! Ночью ее арестовали, но сначала сделали обыск, сорвали с шеи золотые крестики — последнее наше богатство и память о папе. Осталась я в 11 лет без угла, без средств к существованию, одна-одинешень-ка. Хозяева отказали мне в приюте, и я пошла в люди, побиралась, жила милостыней, спала где придется, как собачонка. В общем, досталось мне. Однако я не уходила от Пудина далеко, потому что могла иногда видеть сестру, ходила во двор КПЗ, где сестра находилась, ожидая этапа довольно долго. Частенько я совала ей какой-нибудь кусок... Так и жили. Это время — как в тумане сплошной безысходности и помнится, к счастью, смутно...

Как-то одна женщина подала мне кусок хлеба со словами: «Ешь! Сегодня День Победы!» Какой же это был вкусный хлеб! Совершенно чистый, без опилок, без лебеды. Я ела и думала: «Неужели когда-нибудь можно будет досыта есть такой прекрасный хлеб?»

Всему приходит конец, подошел срок и моему сиротству. Мама вышла из тюрьмы, и ее направили как раз в Пудино. И здесь, о счастье! ей повезло увидеться перед отправкой в тюрьму с Тamarой, которую после пыток и побоев осудили на десять лет. Ее должны были со дня на день этапировать в Бодайбо.

Так мама встретила с дочкой, чтобы навеки расстаться... Весь жар своего сердца, всю свою нерастратенную любовь мама отдала мне. Она кинулась заботиться обо мне и делала все, что было в ее силах, чтобы мне было хорошо. Купила под будущую зарплату какую-то избенку — для меня! Сама-то жила в работницах на другом конце Пудина. Определила в няньки в хороший дом к хорошим хозяевам, старалась подкормить. Через некоторое время я пошла учиться в школу, наверстывать упущенное. Семилетку я закончила уже взрослой девушкой, в 18 лет. Как жить дальше, было ясно — учиться. Еще в Молдавии мама поклялась, что ползать будет, а даст нам образование. И я поехала в Томск. Но меня как спецпереселенку никуда не принимали. Надо мной сжалился директор строительного техникума, которому я все рассказала о себе, и он на свой страх и риск взял меня на учебу. 1954 год стал для меня годом перелома: я получила справку о снятии с учета! Не верилось, что после 13 лет ссылки больше не надо ходить отмечаться в комендатуру, что у меня чистый паспорт! В этом же году я закончила техникум и была направлена на работу в Новосибирск.

Вот какие «университеты» я прошла, прежде чем попала в этот город! Вот какая долгая и горькая дорога привела меня сюда.

В тресте «Горжилстрой», куда меня распределили, мастерами работали одни девчонки. Да иначе и быть не могло: оклады-то у нас были символические — 500—550 рублей дореформенных денег, копейки! Мужчины на такую работу не шли, хотя труд строителя — труд нелегкий. Потом, когда повысили зарплату прорабам и мастерам, появились на стройках мужики и почти полностью «искоренили» женщин-мастеров.

Жили мы в общежитии на улице Алтайской, во вновь выстроенном двухэтажном здании. Было оно брусчатое, законопаченное мхом и нештукатуренное — давалось время на осадку. И сколько же в нем было клопов! Бывало, включишь ночью свет, а стены — черные! В одну из ночей наши кровососы так неистовствовали, что мы с девчонками не выдержали, взяли подушки и одеяла и вышли во двор, заросший

коноплей и травой. Спим! А утром просыпаемся от гомерического хохота: оказывается, все общежитие в эту ночь перебралось на ночлег под открытым небом, спасаясь от кровопийц. Тут и там торчали в траве взлохмаченные головы парней и девчат. Настоящий бивак!

Когда я впервые пришла на строительные объекты, то представилась: «Рая». Так и была Раей чуть ли не до тридцати лет, пока один случай не произошел. В то время мы заказывали машины из автохозяйства. Если чуть машину задержишь, то с мастера высчитывают деньги чуть ли не в пятикратном размере. Вот как-то раз мы ждали машину с кровельным железом, а она все не шла. И тут мои рабочие забыли: сколько часов перерабатываем! Безобразия! Был вечер, и я решила, что машина вернется утром, и отпустила рабочих по домам. Только они ушли — машина тут как тут. Я к начальнику — что делать?

— Разгружай!

Я взяла рукавицы и стала разгружать. А там — три тонны. Шофер курит, начальник в окно смотрит, а я надрываюсь. Вся мокрая, пот глаза разъедает, злюсь и плачу. Закончила и чуть не ползком — в контору умыться. Выходит начальник: «Не умеешь работать головой, работай руками! Ты думаешь, я не мог бы тебе помочь? Я решил вытерпеть, чтобы ты запомнила урок. Как ты могла отпустить людей, если ждали машину? И до каких это ты пор Раей будешь? Что это за панибратство такое? Ты людям наряды закрываешь в три раза выше своей зарплаты, а с тебя еще и высчитывают. Они за это над тобой подсмеиваются».

На всю жизнь запомнила этот разговор. Вот таким образом своей требовательностью, своей справедливостью он и воспитал из меня прораба. Я поняла, что людей надо и жалеть, но и спрашивать с них. Надо быть честным и справедливым, уважать их и понимать, тогда они будут с тобой считаться. Вообще учиться многому пришлось. Вот говорят, что сейчас люди много пьют. Раньше пили не меньше. Был у меня кровельщиком один старичок. Специалист экстракласса. А пьяница — редкий. Пил он безбожно. А я боялась — зима, поскользнется по пьяному делу, свалится с крыши, а мне — тюрьма! Сколько я с ним ни разговаривала, ничего не помогает. Он мне только отвечает: «Пил и пить буду. А за меня ты не бойся. Я тебе подписку дам, и тебе ничего не будет!» Зло меня взяло, и я ему заявляю: «Ну, сегодня-то вы не напьетесь. Я сегодня весь день рядом буду, глаз с вас не спущу!» А он только усмехнулся. Вот пришло время обеда, я слежу. Смотрю, старичок мой хлеб разворачивает, в кружку крошит, водой заливает, хлебает эту бурду ложкой да приговаривает: «Эх, хороша тюря!» Перерыв закончился, а он — в стельку! Оказывается, это он водку ложкой хлебал! Разве я могла догадаться об этом?

О вступлении в партию я никогда не задумывалась, но поступила директива, что все руководители и прорабы должны быть членами КПСС. И когда мне предложили вступить в партию, я поначалу отказывалась, но меня очень уговаривали. План у них что ли был? Характеристику мне дали начальник управления Карнаухов и парторг. Приняли в кандидаты. Через год пришла на бюро Центрального райкома партии для утверждения. Попросили рассказать автобиографию. Вдруг встает один старичок и спрашивает: «А за что вас сослали?» Я говорю: «Не знаю. Я же все вам рассказала».

— Откажитесь публично от своего отца, и мы занесем это в протокол!

Я психанула, выкрикнула, что я бы хотела, чтобы все сидящие здесь были такими же честными, как мой отец, оставила кандидатскую карточку и убежала. Мне, конечно, вынесли выговор, а на другой день вызвали к секретарю райкома Прасковье

Павловне Шаваловой. Долго мы с ней говорили, и я все-все рассказала и об отце, и о маме, и о Тамаре, и о том, что на все наши запросы о реабилитации никаких ответов не поступает. Тогда Шавалова сделала запрос сама как официальное лицо, и уже через месяц пришла реабилитация на папу, а чуть позже — на Тамару. Опять вызывают на бюро, снимают выговор. И тут подходит ко мне тот самый старичок: «Хотел бы я, чтобы после моей смерти мои дети так же обо мне говорили!»

В конце пятидесятых годов у меня произошла незабываемая встреча с одним из самых знаменитых людей города — академиком Лаврентьевым. Академгородок еще был в проекте, а группа ученых во главе с Михаилом Александровичем уже прибыла в Новосибирск. Выделили им помещение на Советской, 20, (тут теперь издательство «Наука»), которое требовало капитального ремонта и реконструкции. Меня поставили на этот объект. Прихожу. Сидит человек, уже в годах:

— Вы хорошо знаете, что здесь создается Академия наук. Нам нужно начинать работать и как можно скорее. У вас будет все — материалы, транспорт — зеленый свет! Ваша задача — как можно скорее сделать реконструкцию. Вот тут смету составили. Понимаю, что будут изменения, даже приписки — иначе, наверное, нельзя. Но хотелось бы, чтобы в пределах разумного. И я тут полностью доверяю своему прорабу.

Я говорю:

— Я еще не прораб!

— Ничего, будете прорабом. И еще — для вас дверь у меня всегда открыта. Кто бы у меня ни был в кабинете, не стойте под дверью, не ждите. Вы для меня сейчас самый важный человек! Каждый вечер будем обсуждать ход работы на планерке. Могла ли я после такого отношения позволить себе расслабиться, делать приписки? Ведь мне доверяют!

Работали мы поэтажно. Но ломали буквально все, оставили только коробку — четыре стены. Мусора накопилось — груды: батареи, штукатурка, доски. Надо вам сказать, что работы по вывозке мусора очень тяжелые, трудоемкие, а стоят копейки, и мои строители — классные специалисты — конечно, отказывались его выгружать. Пошла к Лаврентьеву:

— Что делать?

— Да, если так дело пойдет, то я скоро не войду в здание. Вот что, прораб, подготовьте носилки, рукавицы, машины, а рабочих я найду.

Вышла я из кабинета, а сама думаю: «Интересно, где же это он рабочих-то найдет?» Прошел день, у меня все готово, и вот, спускается с этажа его московская молодежь — научные сотрудники. Рукавицы надели и принялись за работу. Какой это был веселый день! Шутки, хохот! Загружали машину за машиной. В перерывах отдыхали прямо на гудах мусора. Все это время среди них бегал парень с фотоаппаратом, а к концу дня уже вывесил готовые фотографии, на которых были запечатлены самые интересные моменты. Тут вообще веселье достигло апогея. Придумывались подписи под снимки, стихи. А теперь эти ребята стали маститыми учеными, уже и сын Михаила Александровича, который руководил тогда этой бригадой, сам стал известным академиком.

Когда закончили разборку строительных завалов, Лаврентьев мне сказал: «Ну, мы сделали дело. А деньги за эту работу заплатите своим рабочим». Однако не все в наших отношениях было безоблачным. Иногда он меня вызывал и начинал с подходцем: «Ну что, прораб, винюсь! Моя вина! Мы тут по проекту перегородочку поставили, так вот, надо бы ее передвинуть».

Что тут скажешь? Бывало, ойкнешь: «Ой, мы ведь ее уже даже оштукатурили!» Да делать нечего, ломали! Со мной Лаврентьев был всегда корректен и выдержан. Но, бывало, я слышала из-за дверей резкий голос, жесткие интонации. Не хотела бы я быть на месте того, кому они предназначались!

Прошло месяца четыре, и я протянула академику последнюю процентовку на подпись. Он меня поблагодарил за хорошую работу, за то, что уложились в намеченные сроки, пожал руку. И мне в общем-то приятно сознавать, что в становлении Сибирского отделения Академии наук есть и маленькая частичка моего труда...

Еще один памятный объект — Дом актера. Молодежь не знает о том, что это дореволюционной постройки здание стояло когда-то на рыночной площади и в нем были огромные бетонные чаны для квашения капусты и засолки огурцов. Оно было насквозь пропитано сыростью. Вот этот-то дом отдали актерам. Анастасия Васильевна Гаршина — она возглавляла в ту пору Союз театральных деятелей, знаменитая актриса «Красного факела» — занималась переоборудованием здания. Маленькая, худенькая, с добрым лицом и открытой душой, эта женщина взвалила на себя огромный груз по восстановлению запущенного дома. Его надо было не только восстановить, но и преобразить, превратить в «гнездышко» для артистов.

Реконструировать, перепланировать нам, строителям, не привыкать. Но здесь было нечто особое, если не сказать страшное. Сырость здесь правила всем, пока ее не изживешь, нечего было рассчитывать на восстановление здания. Главный источник сырости — подвал. Начинаем его штукатурить. Бесполезно: приходим назавтра — вся штукатурка лежит на полу. Начинаем опять — та же картина! Что мы только ни делали, как ни изощрялись — стены отторгали все наши усилия! Вызываем представителей УКСа горисполкома. Те приходят, смотрят и руками разводят. Сколько раз мы этот окаянный подвал штукатурили, уже и не помню. Как-то раз в совершенном отчаянии прихожу домой и делюсь с сестрой своими проблемами. А она, отсидевшая девять лет в лагерях и вкалывавшая на стройках ГУЛАГа, вдруг говорит: «Знакомое дело! Доставай жидкое стекло и не жалея его!»

Пошли мы тогда с Анастасией Васильевной в Центральный райком, все к той же Шаваловой. Она с пониманием отнеслась к нашей беде и через какую-то базу достала нам это самое жидкое стекло. Добавили мы его в раствор и так заштукатурили — тысячу лет простоит!

Закончили работу как раз к Новому году. Как радовалась Гаршина! Дом получился красивый, комфортный, уютный — настоящее актерское гнездышко! Поставили елку, нарядили. И я по просьбе своего руководства попросила разрешения у Анастасии Васильевны отметить в этом здании Новый год нашему коллективу. Ей было неудобно отказать, и она дала согласие. А сама, как после выяснилось, страшно переживала: там ведь все новенькое, все блестит. А строители? Чего от них ожидать? Все попортят! Но у нас все было культурно и прилично, люди, попав в красивую обстановку, вели себя соответственно. И мне было приятно, что Гаршина отметила, что строители вели себя как воспитанные люди.

А оперный? Недавно услышала по телевизору, что уникальную кровлю с нашего оперного, или чешую, как мы ее называли, нашли вывезенной в Прибалтику для отправки в дальнее зарубежье. Меня так и подкосило: такой дорогой металл. Что, он нам самим не нужен? Такая обида, будто часть меня самой туда увезли! А почему? Да потому, что я — одна из немногих женщин видела ее близко, бегала по ней босиком, обозревала с этого чешуйчатого купола панораму города. Много лет подряд я ремонтировала оперный, знаю в нем все закутки, все подсобки.

Немногие, наверное, знают, что в нем было и жилье. Как-то я познакомилась с девушкой, которая там жила, и она повела меня в свою квартиру. Мать ее — бывшая балерина, отец — музыкант. Я думала — попаду в музей, увижу красоту, а увидела кошмар. Представьте себе помещение, разделенное на два этажа двумя рядами досок. Поднявшись на этот второй «этаж», скорее напоминающий строительные леса, я увидела нечто вроде ночлежки. За портьерами стояли кровати, столы, шкафы, тут же — плитки для приготовления пищи. «Квартира» от «квартиры» отделена занавесками. Окон нет. Жуть! Как долго просуществовали эти ночлежки, не знаю. Я тогда с ужасом думала о том, что из этой норы люди выходят на сцену танцевать, играть, петь, улыбаться...

Однажды кровля театра дала течь как раз над центром зрительного зала. Вода разъедала росписи потолка, и краска стала осыпаться. Нашли хороших кровельщиков. И я вместе с ними осматривала буквально каждую чешуйку и следила, чтобы все было сделано на совесть. Лучшая бригада маляров реставрировала росписи потолка и должна была заняться покраской скульптур, стоящих в зале. Здесь самым главным моментом был подбор колера. Очень важно было в точности повторить цвет. Ребята постарались и подобрали нужный. Окрасили одну скульптуру и вызвали архитектора. А он уперся: цвет не подходит. И сколько дней он мучил нас! Бригада злая — время идет, дело стоит, заработков нет. Сколько раз его вызывали и все время слышали: не тот цвет! Однажды бригадир не выдержал, сорвался до истерики: «Сколько дней сидим на этих... и ни ... не зарабатываем!» Я тоже на пределе, плюнула на все:

— Красьте!

Покрасили в тот самый, первоначальный цвет. Приходит архитектор: «Ну вот, теперь совсем другое дело! Это то что надо!» Хотелось сказать ему... Столько семей оставил без зарплаты!

Теперь я старый больной человек. Редко выхожу из дому, но если случается выбраться, то, проезжая по улицам города, везде вижу свои объекты, которым я давала вторую жизнь, ремонтируя, перестраивая, реконструируя их. «Красный факел», Госбанк, НИИТО, роддом № 1, Главный вокзал, Главпочтамт, аэропорт, гостиницы, главный универмаг, школы, жилые дома. Еду и вспоминаю.

Конечно, ремонтировали и жилье для высокого начальства. Помню, как один прораб сказал на планерке: «Эх, нам бы еще парочку таких квартир, с такими же люстрами, и полугодовой план готов!» Можете себе представить, сколько стоили государству эти люстры?!

Всю жизнь, с малых лет я работала, но ничего не нажила. Разве что целый букет болезней. Никогда мы с моим дорогим мужем Володей не могли даже съездить к морю. В театры тоже редко выбирались, потому что если у него костюм был новый, то у меня платье — старое. Или наоборот... Но все-таки... Все-таки я не жалею, что не осталась в Молдавии. Мне доводилось там пожить и поработать, и я скажу, что в Сибири люди лучше, совестливей и более чуткие. И это я утверждаю, несмотря на то, что мне довелось претерпеть...

Долгими бессонными ночами я иногда думаю о том, что не случилось тогда с моей семьей «землетрясения», я бы никогда не узнала, что такое Россия, что такое Сибирь. Жаль, что это знакомство далось такой трагической ценой. И хотя Сибирь никогда не была ласкова со мной, я говорю своим детям и внукам: «Не покидайте Россию, живите на родной земле, в родном краю, радуйтесь и страдайте вместе с ним. Поживете с мое и поймете, что Родина — это святое».

Зинаида Масаева

Наш эшелон, в котором едут рабочие подмосковного завода имени Ленина, движется к Новосибирску уже восемнадцать суток. Ночью едва едем, днем стоим. На пути встречаются глубокие воронки, в которых лежат неразорвавшиеся фугасные бомбы, порой вызывающие у нас страх.

Едем в неизвестность. Родителям объяснили, что жить будет негде, каждому придется копать землянку. Ехали в товарных вагонах по несколько семей с печкой-буржуйкой посередине. Ехали в Сибирь, где тайга, снега, морозы... И вдруг, подъезжая к мосту через Обь, увидели в ночи электрический свет. Нашей радости не было границ. Все в вагонах кричали: «Ура! Свет! Свет!» Некоторое время мы скитались на вокзале, потом нашей семье отвели полуразрушенный домик на Тоннельной улице, окна которого были вровень с землей.

В середине декабря меня определили в 7-й класс школы № 100, директором которой был человек по фамилии Кот. С благодарностью вспоминаю, что учителя ко мне относились с особым вниманием и даже нежностью, проводили дополнительные занятия, чтобы я могла наверстать упущенное. Это особое внимание ко мне вызывало ревность некоторых девочек. Особенно агрессивна была Аня. Она сразу дала мне прозвище: «Москвичка, в ж... спичка». А когда я шла домой, постоянно выбивала портфель из рук. Ее боялись... Я быстро втянулась в школьную жизнь и стала принимать участие в школьной самодеятельности. Ни один праздник не проходил, чтобы я не участвовала в нем — пела, читала стихи. Меня зауважали и сверстники, и учителя.

Все мы, школьники, особенно любили большую перемену, потому что на ней нас бесплатно поили чаем и выдавали маленькую, диаметром в пять сантиметров, булочку. Мы ее прозвали «соплюшкой» и моментально съедали.

Закончив 7 классов, я учиться дальше не пошла, несмотря на уговоры родителей. В доме было голодно, а мне хотелось получать хлеба побольше, так как 200 граммов, которые я получала по детской карточке иждивенца, были ничтожно малы. Брат угнел добровольцем в Сталинскую дивизию, без него стало совсем плохо. С фронта он так и не вернулся. Его имя вписано в «Книгу памяти» и начертано на стеле заводского монумента. Меня устроили на работу на «наш» завод, и я стала получать целых 400 граммов хлеба. Это для меня было маленьким счастьем. Идя на работу, я выкупала его в одном из магазинов, шла и отщипывала по кусочку, держала во рту, как шоколад. Но моих 400 граммов хватало только на полдороги, до Дома офицеров.

Наш завод шефствовал над госпиталем, который расположился в школе № 85 Заельцовского района. Меня включили в бригаду художественной самодеятельности. Наш первый концерт прошел с большим успехом, чего мы и сами не ожидали. А потому мы стали часто выступать и даже привлекать к участию в концертах раненых. Вспоминаю, какой прекрасный концерт мы устроили ко Дню Советской Армии! Двери всех палат были открыты. Те, кто не мог ходить, слушали наше выступление, лежа на койках, а мы пели, танцевали, читали. Особенно покорила нас своим необычным голосом узбек Ах-мет. Он был ранен в ногу и пел лежа. Его звучный мощный голос заполнял все помещения: «Ты ждешь, Лизавета, от друга привета!..» Этот голос невозможно забыть до сих пор.

Хочу вернуться немного назад. В нашей бригаде я была самой молоденькой, мне еще не было 17 лет. В госпиталь я ходила после работы каждый день, а иногда и в

выходной, так как знала, что нас там очень ждут. В раздевалке висел мой белый халат. Я переодевалась и шла наверх. Первое время возвращалась домой вся в слезах. Я не могла без боли, без дрожи и страха смотреть на страдания, на отсутствие рук и ног, на слепых, обгорелых, беспомощных. Ночами снились кошмарные сны, я стонала, и мама часто меня будила. Но каждый день, преодолевая тяжелые чувства, я шла в госпиталь. Потихоньку стала привыкать к страшным картинам и, разговаривая с больными, не испытывала уже такого ужаса. Никогда не забуду бойца по имени Саша — слепого, с обожженным лицом, ампутированными руками. Он мне говорил: «Зинуля, я самый счастливый человек. Меня кормят, умывают и одевают. Я опять вернулся в детство, стал маленьким ребенком», — а из слепых глаз катились слезы. Вместе с ним плакала и я. Но слава Богу, что он не видел моих слез, потому что жалость в таких случаях — плохой помощник. Я свободно ходила по всему госпиталю, заглядывала в каждую палату, дежурила у тяжелораненых, писала за них письма, поздравления родным, рассказывала новости, читала стихи, поскольку знала их множество, и кормила слепых.

Я никогда не забуду Володю Котина, нежно влюбленного в меня, этого мужественного офицера, который, спасая генерала, чуть не сгорел в танке. У него обгорели все пальцы на руках. Ему сделали уникальную по тем временам операцию — распилили ладонь и вставили клин. Было нестерпимо мучительно видеть его страдания, когда от боли он закрывал глаза, чтобы не стонать. Он читал мне стихи: «Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты...» Мне было стыдно перед другими ранеными уделять Володе больше внимания, я уверяла его, что скоро вернусь, и шла к другим — таким же забинтованным и стонущим.

Так прошла зима 43-го года. Я часто вспоминала потом, как меня оберегали мои ангелы-хранители, когда я возвращалась из госпиталя в 10 часов вечера и шла одна по черным неосвещенным улицам через полгорода, проходила вокзальный тоннель, дрожа от страха, ведь в те времена все жутко боялись «Черной кошки», свирепствовавшей на улицах города.

Нередко бывало, что перед самым уходом прибывал эшелон с новыми ранеными, и начальник госпиталя просил задержаться, чтобы помочь перетаскать и устроить всех. И вот мы, полуголодные девчонки, таскали по лестницам на носилках больных. Четверо — на одни носилки. Руки немели, глаза, казалось, выскакивали из орбит, подгибались ноги, но пока не уложим последнего раненого — не уходили. А это было иногда далеко за полночь. И опять я шла, вернее, плелась, обессиленная, через жуткий тоннель домой. Сколько переживаний я доставила маме своими поздними приходами домой!

Наступила весна. Госпиталь расформировали, школу стали готовить к новому учебному году. Наше шефство закончилось. Но я еще долго получала от Володи нежные записки, написанные им его «новыми» пальцами. Жаль, что не удалось их сохранить...

Много раз у меня появлялось желание написать в газету — а вдруг кто-то остался в живых, вдруг кто-то помнит госпиталь в 85-й школе и нас, полуголодных «артистов», которых изредка подкармливали с разрешения начальника госпиталя. Он очень заботливо и с уважением относился к нам: «Ваш приход, как эликсир жизни, помогает людям быстрее выздоравливать», — говорил он.

Юрий Шаровьев

История, о которой я хочу рассказать вам, на всю жизнь отчетливо врезалась в мою память, но почему-то о ней забыли даже старожилы. Забыли, я считаю, незаслуженно...

Летний день 1943 года. Мы, мальчишки, играем в прятки возле своего дома, стоявшего на углу Советской и тихой улочки Журинской. Вдруг мы услышали нарастающий гул самолета. Казалось, моторы ревели прямо над нашими головами. Еще секунда, и мы увидели резко снижающуюся машину. Она шла так низко, что грозила задеть крыши домов. Истребитель пролетел по направлению к площади Сталина, скрылся из нашего вида, и тут мы услышали взрыв! Что есть ног мы помчались на этот звук. Выбежав на Красный проспект, мы увидели место разыгравшейся трагедии: у деревянного одноэтажного дома, стоявшего возле здания мединститута, зияла воронка с взрыхленной землей. Толпа испуганных людей окружала ее. Но обломков самолета не было видно. Машина ушла в подвал дома под фундамент, углубилась в землю и там, на глубине, взорвалась!

Удивительно, но дом абсолютно не пострадал, даже стекла уцелели!

Вскоре примчались военные, разогнали людей, оцепили место аварии, начали раскопки, но мы крутились рядом, и я услышал, как один говорил другому, показывая какую-то железяку: «Это все, что осталось от самолета!»

Поскольку дело это засекретили, то информация о событии передавалась скудная и отрывочная. Слушая приглушенные разговоры взрослых, я понял, что при испытании какой-то модели Чкаловского завода случилась авария, и летчик тянул на городскую площадь, чтобы на ней приземлиться, но не дотянул... Он мог бы спастись, выпрыгнув с парашютом, но тогда бы неуправляемый самолет натворил бы бед в городе: пострадали бы и дома, и люди. Совсем как в песне:

И надо бы прыгать — не вышел полет, Но рухнет на город пустой самолет,
Пройдет, не оставив живого следа, И тысячи жизней погибнут тогда!

Об этом пилоте не написали песню, хотя он тоже погиб, спасая людей. Следуя логике того времени, о событии умолчали, словно его и не было. Но картина его трагической кончины до сих пор стоит у меня перед глазами, словно это было вчера...

Оказалось, жена погибшего летчика жила неподалеку от нас и мне ее даже показывали — она вела по улице сынишку лет четырех-пяти... Эти люди осиротели в мирном Новосибирске, в глубоком тылу. Думаю, что сын летчика-героя еще жив и мог бы рассказать землякам о своем отце, показать его портрет, назвать его имя, незаслуженно забытое. Ведь он совершил подвиг, и несправедливо, что новосибирцы до сих пор не знают о нем!

Василий Блиновский

Когда я вспоминаю детство, то вижу такую картину: отражая солнечные лучи лакированными козырьками фуражек, покачиваясь в скрипящих седлах, едут по Красному проспекту кавалеристы, а по обеим сторонам мощенной крупным булыжником мостовой стоят горожане. Они провожают на фронт кавалерийский полк, дислоцировавшийся в нашем городе и направляющийся сейчас к вокзалу для погрузки в эшелоны. Я вижу у гремящей мостовой и себя — светловолосого, немного растерянного подростка, в рубашке пузыряем от мечущегося по проспекту ветра. Я горд — мой любимый полк едет бить фашистов! Мне немного грустно, но я и мысли не допускаю, что кто-то из этих парней, многих из которых я знаю в лицо, не вернется! Просто я привык ежедневно видеть зеленые околышки их фуражек на своей окраинной улице Буденного (позже Воровского). Полк располагался через дорогу от нашего дома. По одной стороне улицы шли дома и бараки, а по другой протянулся обнесенный вокруг кавалерийских казарм забор.

Несмотря на то, что забор был очень высок, ребяташки мигом перебирались через него и как грибы вырастали у конюшен. Приложив вздрагивающие от возбуждения руки к нагретым солнцем доскам, напряженно всматривались в узкие щели в створах ворот и, затаив дыхание, переглядывались, услышав, как всхрапывают и переступают коваными копытами по деревянному настилу боевые кони.

Нас всегда прогонял дневальный. Увлечшись, забудем про все на свете, и вдруг, как удар по наковальне, окрик: «Ах, пострелы!» В мгновение ока наши разноцветные рубахи уже пестреют на заборе, и оттуда, сверху, кричим дневальному: «Не догнать вам, дядя!»

Пряча улыбку, придерживая рукой шашку, сделает боец шаг к забору, и умора: тут же сыплются мальчишки на ту сторону горохом, и вдоль по улице — лишь мелькание голых пяток. Мы не очень-то боялись бойцов, но понимали — порядок в полку должен быть.

А какой был для нас праздник, когда кавалеристы выезжали из своего расположения на «рубку лозы». Нередко эти учения проходили на соседней Дачной улице. Место это было довольно пустынное: изредка пропылит подвода или промаячит редкий прохожий. Сейчас оно неузнаваемо изменилось: там, где были деревянные домики, выросли большие здания, чуть поодаль, где раньше начинался сосновый бор, раскинулся Ботанический жилмассив. Далеко-далеко отодвинулась бывшая окраина города...

Лоза закреплялась в деревянных стойках, выстраиваемых в два ряда вдоль улицы. И вот один из бойцов, опустив под подбородок ремешок фуражки, чтобы не сдуло встречным ветром, привстает в стременах и, как молния, сверкая поднятой вверх шашкой, пускает коня. После каждого верного удара верхняя часть лозы какую-то долю секунды еще держится на месте, а потом отпадает. Как радовались мы каждому точному удару, переживали за каждого бойца, потому что любили и знали весь полк, как и всю такую близкую и такую родную нам Красную Армию!

Климму Ворошилову письмо я написал:

«Товарищ Ворошилов, народный комиссар...

Товарищ Ворошилов, я быстро подрасту

И встану вместо брата с винтовкой на посту...»

Кто из нас не знал тогда этих строчек? Это было наше самое любимое стихотворение. И мы были счастливы, что полк вошел в наши маленькие жизни. Бойцы чувствовали эту любовь и относились к нам как к младшим братишкам. Во время перекуров часто сажали нас на оседланных коней. Дух захватывало от гордости и счастья. Сколько было потом разговоров, рассказов на улице и дома! С тех пор навсегда запомнил я запах лошадиного пота и крепкой махорки, которую курили кавалеристы.

Почти рядом, в сосновом бору, который еще частично сохранился по течению Второй Ельцовки, эскадроны проходили пехотную подготовку — учились ползать по-пластунски, преодолевать полосы препятствий, кололи штыками чучела, ходили в атаки с криками «ура». А мы с любопытством наблюдали за учениями. А когда бойцы с песнями уходили в расположение полка, бегали к местам привалов, где обязательно находили что-нибудь интересное. Набивали карманы махоркой, добытой из брошенных окурков. Я и сейчас вижу эти места отдыха с примятой травой и составленными в четкие пирамиды винтовки возле оживленных бойцов. Близость полка откладывала особый отпечаток на округу: здесь и трусоватый не боялся ходить ночью по глухой улочке. Дети спокойно засыпали, не думая о «страшных дядьках» и разбойниках. Королевнами ходили девушки: не было случая, чтобы кто-то их обидел. Жители прилегающих к полку улиц были как за каменной стеной — случись пожар, другая какая беда, бойцы всегда выручат.

И вот полк уходит на фронт. Мы знаем, где он будет воевать: фашисты рвутся к Москве. Сверкает на солнце оружие. Над суровым, молчаливым строем развевается боевое знамя. Впереди, словно влитый в седло, плотный низкорослый полковник. На его петлицах по четыре малиновых шпалы. По проспекту носится ветер, бросается кавалеристам на грудь, целует их загорелые лица, шевелит стриженные гривы коней. Эскадрон за эскадронам проезжают мимо... Прокатился по проспекту цокот Г И затих за поворотом дальним...

Так я позже написал в своем стихотворении, посвященном этому событию. Пусто и уныло стало на улице, молча расходились люди, и я пошел домой, прислушиваясь к каждому паровозному гудку, доносившемуся с вокзала, замедлял шаг: не этот ли паровоз увозит тех парней с сильными и добрыми руками, не раз трепавшими вихры моих сверстников? И я уже представлял себе, как мы будем встречать бойцов, с победой возвращающихся в наш город. Вот они едут закаленные в боях, с орденами и медалями на гимнастерках. Но полк в город не вернулся...

Его территорию занял эвакуированный из-под Москвы завод. В доме, где был штаб полка, разместилось заводоуправление. Это здание дошло до наших дней, там и сегодня находится часть административных служб Приборостроительного завода имени Ленина.

Проходят годы, а я снова и снова вижу себя босоногим мальчишкой, провожающим на фронт кавалеристов. И каждый раз светлое, грустное чувство сжимает мне сердце.

Позже я где-то читал, что этим полком, входившим в состав пограничных войск, одно время командовал герой гражданской войны Петр Иванович Щетинкин. Ему установлен в сквере Героев революции бюст, его именем названа одна из улиц. Щетинкин совершал вместе с этим полком рейды к монгольской границе, где участвовал в ликвидации войск барона Унгерна. Как сложилась судьба этого полка дальше, я, к сожалению, ничего не знаю, как, наверное, и большинство новосибирцев. Вот бы нашим следопытам поинтересоваться его историей...

* * *

Уехал полк, и улицы зажили своей тихой размеренной жизнью. Но вскоре, морозным утром 1941 года, жителей улицы Дуси Ковальчук разбудил... паровозный гудок. Наскоро накинув что потеплее, выбегали на улицу. По трамвайному пути действительно шел маневровый паровоз с груженными, покрытыми брезентом платформами, выхлопывая над домами густые белесые пары дыма!

Паровоз протяжно свистнул и стал медленно останавливаться. Заскрипели замерзшие тормоза, звякнули буфера платформ. И тут, словно по команде, из утреннего сумрака стали появляться люди: они ехали на широких санях, которые тащили медлительные битюги, шли молчаливыми группами. Сразу было видно — это не сибиряки: в такой мороз на каждом — легкое демисезонное пальто, кепка, сапоги, а то и полуботинки.

— Москвичи-и, — уважительно протянул кто-то в толпе.

Улица говорила, охала, удивлялась, а москвичи спокойно принялись за дело.

Стянули с первой платформы брезент, и все увидели в светлеющем сумраке утра контуры станков. Заскрипела лебедка, и станок медленно пополз по металлическим следам. А эти незнакомые люди, не жалея пальто и перчаток, со всех сторон поддерживали промерзшую тяжесть. Работа разгоралась, люди повеселели. То и дело растирая обо-женные металлом руки, притопывая, они стали перебрасываться шутками. То и дело вспыхивал смех.

Глядя на повеселевших приезжих, оживилась и толпа. Послышались выкрики:

— Эй, вон тот, с ломом, три уха — побелело...

— Дал бы полушубок погреться, — неслось в ответ, — ведь сибиряки на мороз крепки!

В это время на улице появился дядя Григорий. Мы хорошо знали его и его сыновей, ушедших добровольцами на фронт. Он подошел к москвичам, поговорил со старшим и, возвращаясь к нам, сказал:

— Завод из-под Москвы эвакуируют. Это пока первый эшелон с оборудованием. На оборону работать будет, так что...

— Так что помочь надо, — выбился из толпы парень в заячьей шапке. — Дело говорит. Пойдем-ка, соседи...

И жители улицы один за другим двинулись к составу. Работа закипела. Станки и прочее оборудование отвозили к корпусам НИВИТа, находившимся на стыке улицы Дуси Ковальчук и Красного проспекта. Сейчас это место венчает здание, известное новосибирцам под названием «книга» — в нем располагается заводоуправление завода имени Ленина. Ведь именно его оборудование перетаскивали тогда жители окрестных домов.

Наблюдая за разгрузкой оборудования эвакуированного завода, я, конечно же, не думал, что очень скоро мне доведется на нем работать. Когда я учился в восьмом классе 55-й школы, то мы совмещали работу на заводе с учебой: с восьми утра до половины двенадцатого трудились в цехах, а в два часа уже сидели за партами. Нас, нескольких одноклассников, приставили к одному кадровому рабочему завода. Его фамилия Борисов. Тогда нам казалось, что он тут на заводе и жил, потому что мы всегда заставляли его у станка. У него, как и у работающих рядом с ним слесарей, было усталое лицо. Лихорадочно блестели глаза — видимо, ему нездоровилось. Но он был неутомим. Казалось, в этом человеке неиссякаемый источник энергии. Вот он у верстака опиливает детали и на мгновение прикрывает глаза. Кажется, сейчас опустит руки, не сможет работать. Но он тут же проведет тыльной стороной руки по лбу, улыбнется нам, словно говоря: «Порядок, хлопцы!» И мы опять видим

неутомимого Борисова, одного из лучших слесарей цеха.

И что интересно, сколько лет прошло, а станет мне худо, и кажется, нет больше сил, — всплывает передо мной худое, усталое, но улыбающееся лицо Борисова, и его вдруг повеселевшие глаза как бы говорят: «Все в порядке, хлопцы!» И мне становится легче от этого, и прибавляется сил! Удивительны свойства нашей памяти и сокровенны глубины души!

* * *

Нашей 55-й средней школе, одной, на мой взгляд, из лучших школ города, повезло. Ею руководил в годы войны удивительный человек — Петр Дмитриевич Толмачев. В те годы гражданские люди крайне редко представлялись к наградам, а мой директор был кавалером ордена Трудового Красного Знамени. И не случайно! Жизнь в школе кипела, несмотря на войну, холод и голод. Работали кружки, ставились театрализованные постановки, развивалось самоуправление, при котором каждый школьник был не просто учеником, но личностью, обладавшей правом на свою точку зрения, на свой голос, на право быть услышанным.

Особо хочется сказать и о Лотаре Больце, нашем преподавателе немецкого языка, немце по национальности. Он пришел к нам после «Горзеленхоза», где работал простым кассиром. Очевидно, его, эмигрировавшего из гитлеровской Германии в Советский Союз, какое-то время проверяли органы. Через некоторое время, когда доверие у властей возросло к супружеской чете Больц, они получили возможность преподавать в школе.

Каково же было мое удивление, когда уже в 50-х годах я узнал, что мой учитель Лотар Больц стал министром строительства Демократической Республики Германия, а после — министром иностранных дел!

В последние годы своей жизни Лотар Больц был бессменным руководителем Общества германо-советской дружбы, часто приезжал в Новосибирск, в который его тянуло. Выступая по радио или на телевидении, он говорил, что, по его мнению, надо увековечить память о директоре 55-й школы Петре Толмачеве. И я с ним солидарен.

Для чего я рассказал о своих педагогах? Для того чтобы вы поняли, что Новосибирск был далеко не провинциальным городом. В нем трудились на разных должностях удивительные, порой уникальные люди, которые оставили добрый след и посеяли добрые семена, которым суждено было взойти...

Николай Добрынин

Перед моими глазами — храм. Его купола близко-близко заглядывают в окна и вносят яркий свет в мою предзакатную жизнь, навевают думы о высоком и вечном. Радостно мне бывает слушать колокольный перезвон и видеть золотые всполохи на его горделивой главе. Храм великого воина и спасителя земли русской Александра Невского. Я гляжу на него и почему-то вспоминаю историю своей жизни, которая отчетливо всплывает в моей памяти... Когда в 1935 году я девятилетним мальчонкой приехал в Новосибирск, то первое время ощущал в душе своей какую-то робость и боязливое отчуждение: город был не мой. Я не рос на этих улицах, не дрался здесь с мальчишками, не стрелял из рогаток по воробьям. Мне казалось, что здесь и солнце не так греет, и цветы не так пахнут, и я скучал по своему степному Алтаю, по Конному совхозу, мне не хватало простора и приволья, прогулок по лугам и лесам. Но стоило только начаться занятиям в школе, как грусть моя исчезла — прекрасные учителя и новые друзья быстро развеяли мою ностальгию.

Школа наша стояла на улице Гоголя, на краешке Татарского кладбища (сейчас здесь Березовая роща). Рядом находилась и кладбищенская церковь, кажется, Успенская, действующая, которую примерно в 1964 году снесли в одночасье, расчищая место для Дворца культуры «Строитель». Напротив школы высилась еще одна достопримечательность нашего района — пожарная каланча. В то время в распоряжении пожарных не было автомобилей, все имущество для пожаротушения было смонтировано на повозках, в которые впрягались лошади. Но что это были за лошади, если бы вы знали! Не кони, а огонь, звери! Когда они, красивые, холеные, мощные, мчались на пожар, то казалось, будто под ними земля дрожит. Какое чудное зрелище: скорость, сила, искры из-под копыт! Тройки на каждой повозке были подобраны по мастям: рыжие, вороные, гнедые — что за красота! Лошади были гордостью пожарных, и каждая команда в городе щеголяла одна перед другой выучкой, упряжью, скоростью.

Неподалеку находился и ипподром. Территория его занимала всего один квартал между улицами Граничной (Ольги Жилиной) и Ипподромской, а центральный вход был со стороны улицы Гоголя. У него были очень красивые, в форме подковы, ворота, над которыми красовалась вырезанная из дерева фигура мчащейся лошади. Это украшение было настолько искусно сделано, что казалось, лошадь живая и мчится по воздуху. На ипподроме была двухэтажная трибуна, на втором этаже находились ложи для начальства и публики побогаче — билет туда стоил на целый рубль дороже. Там же находилась и ложа для оркестра, который играл между заездами на духовых инструментах.

За беговой дорожкой располагалась танцплощадка и был разбит великолепный цветник, полюбоваться которым приходили сюда специально, в те дни, когда не было забегов и когда вход был открыт для гуляющих.

После окончания шестого класса, в 1939 году, родители наконец-то разрешили мне заниматься в кавалерийском клубе ОСОВИАХИМа. Исполнилась моя заветная мечта. После завтрака я как на крыльях летел в кавалерийский клуб, который был расположен рядом — между Каменской и Логовской (Семьи Шамшиных). Занятия доставляли огромную радость. А еще нам нравилось бегать к клубу аэрофлота, находившемуся напротив Центрального (тогда Ипподромского) рынка, на улице Крылова. Там была парашютная вышка, и мы с завистью смотрели, как взрослые

парни и девушки прыгали с нее. Несколько раз пытались туда проникнуть и мы, но нас, пацанов, туда и близко не подпускали по малости лет.

В 1941 году я закончил 8 классов и поступил в авиационный техникум. Проучились мы пару недель, и нас отправили в колхоз на уборку урожая. Когда вернулись, оказалось, что наше здание занято эвакуированным предприятием. Мне друзья говорят: «Пойдем, устроимся на завод работать!» Сказано — сделано. Пошли на завод № 69, имени Ленина. Приходим в отдел кадров, и нас, не спрашивая, направили по разным цехам. Мне досталось работать в цехе № 18 монтером. Был декабрь 1941 года. Завод, эвакуированный из Подмоскovie, уже начал работать, но монтаж оборудования еще шел на полную катушку. Рядом с нашим цехом стоял цех № 15 — бывшая кавалерийская конюшня. С него была снята крыша, чтобы загрузить через перекрытия огромный кругловерлильный станок с программным управлением. Да, я не оговорился, был тогда на нашем заводе такой сверхсовременный станок!

Молодежи в то время работало очень много — взрослые мужчины ушли на фронт, работали за станками даже дети лет тринадцати. Многим из них не по росту были станки, и они работали, стоя на ящиках. Работа шла без выходных, по 12 часов. Мало этого, у станочников была еще и так называемая пересмена через неделю, когда они трудились по 16 часов в день! Сколько тогда было несчастных случаев, сколько травм и аварий! А сколько девчонок пострадало! Они же всегда были модницы, и сколько им ни говори, что нельзя выпускать косы из-под косынки, многие не слушались. Выпадут косы, затянет их в расточной станок, и скальп долой! Беда! А в 14-м, штамповочном цехе, У штамповщиц пальцы нередко резало — из-за усталости и монотонности работы переставали понимать, что заготовка уже кончилась. Нажмет педаль — и пальцев нет! Ска-зывались и усталость, и неопытность, и просто молодой ветер в голове. Меня тоже обучали работе по скоростной методике. С восьми утра до 12 дня шли занятия по теории, а после обеда уже применяли полученные знания на практике, в живом деле. Поэтому, несмотря на все издержки этого способа обучения, мы довольно быстро освоили профессию и уже через шесть месяцев стали специалистами.

Все тогда делалось в скоростном режиме. Лозунг «Все для фронта, все для победы» претворялся на деле. Ведь все мы, русские люди, привыкли работать без напряжения. Но если уж прижмет, то горы способны своротить. Вспоминаю, как мы ставили поточные линии. Когда эвакуированный завод только прибыл в Новосибирск, то оборудование ставили в спешке, лишь бы скорее подключить к энергоснабжению и скорее начать работу. Но когда немного обустроились, то встали перед проблемой перехода на поточное производство, чтобы соблюсти последовательность технологических операций и тем самым повысить производительность. Но шутка ли дело — переставить станки в каждом цехе на нужное место! У меня и сейчас не укладывается в голове, как мы могли полностью переоборудовать целый цех всего за один день! А делалось это так: с утра идем мы — электрики — и отключаем все станки от питания. Следом за нами идут такелажники, снимают станки с места и перетаскивают их на новое, подготовленное. Затем опять идем мы и подключаем станки. К концу дня цех полностью готов к работе, но уже к работе на новом уровне, с учетом технологических требований. Такими ударными темпами мы переоборудовали весь завод. Все это было заранее продумано, все было предусмотрено до мелочей главным инженером завода Скаржинским и главным механиком завода Покровским. Они были очень талантливые люди, и благодаря их умению наладить трудовой процесс завод

неоднократно выходил победителем во всесоюзном соревновании, получал переходящее Красное знамя.

Приехавшие москвичи — кадровые работники завода — воспринимали нас, сибиряков, с большим высокомерием. Многие задирали нос, обзывали каторжанами, сибулонками, лагерниками. Мы, конечно, спуску не давали и били их. Было обидно за себя: ведь ни особым умом, ни образованием они, в массе своей, от нас не отличались, хотя доля правды в их высказываниях была. У нас здесь был свой форс: парни носили ножики за голенищами. Делалось это и для фасону, и для обеспечения безопасности на ночных улицах. Дело дошло до того, что заводской охране была дана команда проверять, не проносим ли мы ножи с собой. Но мы, монтеры, продолжали ходить «вооруженными» на зависть прочим. А как же мы иначе будем провода заголять? Через некоторое время вражда сошла на нет, мы подружились с москвичами. Им, приезжим, было особенно трудно переживать тяготы войны вдали от дома. Нас-то выручали огороды, картошка, кое у кого сохранившаяся скотина. Но сибиряки народ сердобольный: почти каждая семья приютила у себя эвакуированных и делилась с ними последним.

Первый военный год был особенно тяжелым, потому что мы еще не научились жить в условиях военного времени, продуктов было недостаточно — ведь огородные запасы были рассчитаны только на одну семью. Да и кормежка в столовой была скудной. Мы даже сочинили такую песенку:

Вода в тарелке голубеет,
Капуста плавает по дну,
Ее все ловишь, ловишь, ловишь,
Едва поймашь лишь одну!

Наученные горьким опытом первой военной зимы, все стали садить больше картошки. Москвичи в этом тоже не отставали. Завод завел на своей территории подсобное хозяйство, построил свинарник, держали даже несколько коров. Откуда-то стали завозить птицу, и довольно часто на обед стали подавать невиданное кушанье — чахохбили. Передовикам производства, или по-тогдашнему стахановцам, давали талоны на дополнительный стахановский обед, он был немного повкуснее и пожирнее обычного. Это был лучший способ поощрения. Когда вместо одного обеда съедаешь сразу два, то жизнь кажется веселее и работа идет лучше. Помню, что на эти талоны довольно часто давали омлет из американского яичного порошка.

Говорили, что это был порошок из черепашьих яиц!

Сейчас сам удивляюсь, как у нас тогда хватало сил после такой тяжелой работы, когда после смены ни рук ни ног не чувствуешь, еще и заниматься художественной самодеятельностью и веселиться! Часто вечерами я болтался в клубе им.

Ворошилова (ДК «Прогресс»), где занимался танцами. Особенно запомнились мексиканские танцы — огневые, темпераментные. С ними мы вступали на торжественных собраниях в разных цехах. И вообще, народ очень любил танцевать. Я даже написал по этому поводу стихотворение, правда, уже в зрелые годы. Вот оно:

Танцуют, танцуют пары
Под звуки аккордеона.
Рисуют ногами пары
Фигуры вальса-бостона.

День проработав целый,
Двенадцать часов в котором,
Кажется сверх предела! —
Танцуют под ритм оркестровый.
Мечутся в линде пары
В клубе аэрофлота
Под джазовый визг фокстрота,
Забыв в этот миг про голод,
Про неустроенность быта,
Про то, что в квартире холод,
Все в этот миг забыто!
Брошенным вызовом смерти.
Была эта дикая пляска.
Люди, вы мне поверьте,
Была нужна нам разрядка.
Не мог я не восхититься,
Как молодость наша умела
В тылу вдохновенно трудиться,
На фронте сражаться смело!

Люди всегда любят праздники. Во время войны праздники значили гораздо больше, чем в мирное время. Ведь они позволяют отдохнуть от тяжелых мыслей, от бытовых проблем, дают возможность встряхнуться, зарядиться бодростью и энергией.

Очевидно, понимая это, заводское начальство довольно часто устраивало для нас... банкеты. Они полагались, правда, только коллективам, победившим в соцсоревновании. Наш цех довольно часто перевыполнял квартальные задания, и поэтому банкеты у нас устраивались почти регулярно. На них было приличное, почти праздничное по военным временам угощение и спирт. И мы, молодняк, тоже получали по рюмочке разведенного зелья.

Наш народ, как известно, выпить «не любит». И многие взрослые мужики проявляли чудеса изобретательности, чтобы найти выпивку. И я, хоть и не пил, но научился делать из бакелитового лака чистейший спирт и даже угощал им цеховое начальство.

Нам часто приходилось влезать на опоры — подтягивать воздушные линии, потому что из-за отсутствия медной проволоки мы натягивали железные провода, а они под током нагревались и страшно провисали.

Мороз в 41-м стоял лютый. Бывало, пока выполнишь работу, обморозишь себе и лицо, и руки, и ноги. Бежишь поскорее в цех спиртом обтираться, чтобы не разболеться. Ну а взрослые, те спирт в себя принимали. Бывало, проходишь мимо, птицы на лету мерзнут, а электрик сидит себе на столбе и песняка дает!

Наш дом был всегда полон гостей. Ко мне набивалось почти ежедневно человек 12—20. Соседи спрашивали маму: «Как ты это терпишь?» Она, моя мудрая мама, всегда отвечала: «Пусть уж лучше будет у меня на глазах, чем болтается неизвестно где!»

У нас была двухкомнатная квартирка, но в лучшей комнате жила эвакуированная ленинградская семья, а во второй, 12-метровке, жили мы — четверо детей и мама. И вот на этой территории мы и умудрялись собираться: пели, танцевали, смеялись, травили анекдоты, рассуждали о жизни и войне. Папа наш ушел на фронт и больше не вернулся — погиб. Мама осталась с нами одна. Конечно, ей досталось лиха. Но

нас выручало то, что у нас была своя корова. Мама работала на ипподроме, и ей выделяли для нашей кормилицы сено, что и позволило нам ее держать и жить хоть и скудно, но без голода. Молоко мы пили и сами, и продавали. Корова была удивительная. Давала утром ведро отличного молока и вечером столько же. За молоком к нам ходили со всей улицы Некрасова, на которой почему-то жило много евреев. Какой это добрый, душевный народ! Мама, чтобы заработать лишнюю копейку, стирала для них. А они не только деньги платили, но и старались как могли нам помочь. Нередко приносили что-нибудь вкусное. Спасибо им.

Самое запоминающееся для меня событие произошло в июне 1943 года.

Пронеслась молва, что идет набор в добровольческую Сталинскую дивизию и что комитет комсомола принимает заявления. Что тут началось! Все заводские мальчишки были невероятно возбуждены. Нам всем хотелось воевать. Все устремились на территорию, чтобы узнать друг от друга, где и когда будет проходить набор. Взрослые были настроены скептически: «Вас не пустят. У вас — бронь». Но мы к концу смены узнали, что заявления будет рассматривать специальная комиссия в райкоме партии. И вот мы тайком, по очереди, чтобы не заметили наше отсутствие, бегали в райком с заявлениями. И мы победили. Нас взяли! Как мы радовались, что пойдем бить фашистов!

И вот долгожданный час настал. Мы собрались на вокзале, зазвучала команда:

«Добровольцы, стройтесь! По вагонам!» Мы вошли в вагоны, раздался гудок паровоза, и мы поехали навстречу подвигам и славе. Постепенно стала налаживаться вагонная жизнь — назначили дежурных и дневальных, легли спать. Поезд шел споро, без остановок, всю ночь. Но вот на каком-то полустанке поезд остановился, и мы услышали: «Всем добровольцам завода № 69 выйти из вагонов с вещами!» Ничего не понимая, мы вышли. Нас построили и повели в другой конец полустанка, где стоял паровоз под парами с товарными вагонами, оборудованными под теплушки. Только мы зашли, как двери за нами наглухо закрыли на засовы. И тут мы увидели, что окна вагонов забраны колючей проволокой. Все были в недоумении:

«Что происходит? Мы что, арестованы? Куда нас везут?» Задать эти вопросы было некому. Посередине вагона стоял стол, на котором лежали продукты, но к ним никто не притронулся. Примерно сутки мы ехали в тягостном настроении, подавленные, молчаливые.

Но вот поезд остановился, открылись двери, и мы увидели перед собой...

Новосибирский вокзал! Нас вернули назад! Что за чепуха?

Как мы потом узнали, наутро после нашего отъезда образовалось огромное количество пустующих рабочих мест. Начальники цехов забили тревогу и сообщили о факте нашего исчезновения директору. Стали выяснять, считать, и оказалось, что 700 заводских парней отправились добровольцами на фронт! Для завода это была невосполнимая потеря, провал фронтowego задания. Директор завода Котляр предпринял героические усилия, чтобы вернуть нас с пути. Чего это ему стоило, мы не знаем, но можно догадаться...

Наш патриотический порыв начальство восприняло как дезертирство с трудового фронта! Мы были наказаны за это двухмесячным казарменным положением: у нас отобрали пропуска и мы не могли покинуть территорию завода.

Не дали нам повоевать!

Но военным я все-таки стал. Уже в пятидесятые годы служил в Германии и даже дослужился до капитана. А потом переквалифицировался на вполне мирную профессию, закончив институт народного хозяйства.

Перед моими окнами — храм, первое каменное строение города. Могучего города, моего любимого города. В нем я пережил взлеты и падения. С ним связана вся моя жизнь, вся моя судьба, которой я говорю «спасибо» за все, что она мне уготовила, за счастливую возможность видеть золото куполов из моих окон...

Валентина Полян

Мы — это мои мама, бабушка и двенадцатилетняя я, бежим из Западной Украины от войны. Сначала уехали в Донбасс, потом долгие месяцы ехали в Узбекистан, меняя и продавая в дороге вещи. Там мы пожили недолго — узнали, что наши родственники перебрались в Сибирь, и решили соединиться с ними. Опять поезд, опять продажа вещей, и вот, наконец, Новосибирск! Место назначения — строящийся завод «Тяжстанкогидропресс». Стоял ноябрь, было холодно, и город был покрыт снегом. Да, собственно, города-то и не было. По крайней мере, там, где нам предстояло жить, — несколько бараков, строящиеся цеха и пустыри, пустыри... Унылое место! Не думала я тогда, что останусь навсегда в этом неуютном и холодном краю и что полюблю его.

В комнате, куда нас поселили, стояли в три этажа топчаны — там уже ютились шесть семей, теперь к ним добавилась и седьмая. Размещались так: внизу спали старики, на втором «этаже» — взрослые, на третьем — мы, ребяташки. Никто не брюзжал, не жаловался на тесноту, никто не ругался — жили дружно: не могу припомнить ни одного скандала. Несмотря на дикие условия, люди держались очень достойно.

Особенно тяжело приходилось нашей семье — после двух эвакуации у нас почти не осталось вещей, не было продуктов, и мы голодали. Чтобы как-то поддержать себя, ходили на покрытые снегом поля, рылись в мерзлой земле от темна до темна в поисках невыкопанной картошки и, можете себе представить, сумели таким образом набрать почти мешок!

Наконец мама сумела устроиться на работу в один из цехов завода экономистом, и я ходила ей помогать таксировать наряды. В цехе, несмотря на то, что не было крыши, уже работали станки и давали продукцию. Мамино рабочее место было в выгороженном небольшом помещении, где горел «козел» и где было скудное тепло. С едой стало полегче — у нас появились карточки: мамина, рабочая, и наши — иждивенцев. Но еды все равно не хватало, и бабушка даже начала опухать от недоедания — стремясь подкормить меня, она отрывала кусок от своего пайка... Теперь это покажется странным, но даже голод мы не воспринимали как нечто ужасное, не было чувства униженности или озлобленности — с голодом мирились как с естественным состоянием. Но если с едой плохо, то с одеждой — еще хуже! Мы все вконец износились. Приобрести одежду можно было только по ордерам, которые выдавались очень редко и в основном передовикам производства, поэтому когда мама приходила в дом с ордером, это было счастьем. Один раз она получила по ордеру кусок ткани — гобелен. Обычно им обтягивают мебель. Но это — обычно, а в тот раз из него сшили блузку для меня, а из остатка получился коврик! В том же году у меня появилась еще одна обновка — юбка из сатина. В таких нарядах я щеголяла в девятом классе.

С обувью дела обстояли просто безнадежно. На ногах у меня были грубые ботинки, латанные-перелатанные, давно потерявшие форму, раскисшие и растоптанные. И как же я мечтала о туфельках! И вот однажды судьба улыбнулась мне: маме по ордеру выдали... сапоги. С ними мы пошли к сапожнику, чтобы он сшил из них для меня туфельки по последней моде — на низком каблучке, с перепонкой на пуговке. И надо же было случиться, чтобы сапожник ошибся меркой и сшил туфли на размер меньше! С надеждой, что они разносятся, мы их забрали, и я отправилась в

Бугринскую рошу на какой-то праздник, а это километра три-четыре... Туда я еще как-то шла, а вот обратно... Придя домой, рухнула на кровать со стертymi в кровь ногами. Но мысль, что мои драгоценные, долгожданные туфли могут продать, была для меня так невыносима, что когда пришла мама, я пустилась в пляс, чтобы доказать, как они хороши. Но маму обмануть не удалось, и с туфлями пришлось распрощаться...

На «Расточке», где мы жили, не было школы, и мы ходили довольно далеко: на территорию нынешней областной больницы, в школу № 63. Она располагалась в нескольких приспособленных деревянных домиках, но зато какие в ней были учителя! Энтузиасты, умницы, интеллигенты, вдохновенные личности, зажигающие словом, увлекающие своими науками. У них даже средние ученики могли быть уверены, что поступят в вуз, — такую они давали выучку! В школу мы ходили через речку Тулу. В те годы это была чистая полноводная речка с красивыми берегами. В ней купались и ловили рыбу, что сегодня невозможно даже представить — так изуродовали прекрасную реку всего за полвека! Весной Тула бурлила, кипела, выходила из берегов и непременно сносила мост, по которому ездили машины и ходили люди. Это ежегодное событие мы, школяры, воспринимали с ликованием: дорога в школу была отрезана! Каникулы среди учебного года! Особенную радость доставляло сознание, что другие учатся, а мыто нет! Как здорово! Неделю, а то и больше, пока мост водворяли на место, мы носились по улицам, радуясь солнцу и весне, а потом с удовольствием возвращались за парты, потому что свою школу все-таки любили.

К десятому классу вышел указ о раздельном обучении девочек и мальчиков, и нас перевели в школу № 70, что у кинотеатра «Металлист». Дорога стала занимать более часа, транспорта — никакого. И когда проводились какие-то мероприятия, приходилось ходить в школу два раза на дню. Без приключений не обходилось. Однажды после занятий во вторую смену нас с подружкой встретили четверо парней, перегородив единственную среди снега тропинку. Сначала потребовали денег, а потом, наставив пистолет, приказали снять шапки и пальто. Был мороз 35 градусов с ветром. Мы остались в одних платицах и побежали назад в школу. Убегая, наши грабители бросили назад мою муфточку, за что я им до сих пор благодарна: у меня уже были обморожены пальцы рук, и неизвестно, чем бы закончилось еще одно обморожение. Вспомнила этот случай не для того, чтобы пожалеть себя, а для того, чтобы рассказать, что было дальше. В школе нам посочувствовали, сбегали куда-то за одеждой и проводили к одной из близживущих одноклассниц, чтобы мы могли хорошенько выспаться и прийти в себя после происшествия. Этому взрослые придавали большое значение, потому что завтра предстояла контрольная работа, и надо было, чтобы мы ее не пропустили. Сейчас бы сказали: какая контрольная после такого стресса? А тогда учеба ставилась на первое место, и это было правильно. Попутно замечу, что милиция сработала оперативно: грабителей задержали в тот же вечер...

Закончив школу, я проработала год на заводе, скопила денег на одежду и поступила в педагогический институт на факультет русского языка и литературы. Сбылась моя давнишняя мечта. Но поступить оказалось куда легче, чем в него ездить.

Сегодня путь с берега на берег не представляет никакой сложности — садись себе в комфортабельный вагон метро и через несколько минут ты уже перемахнул через реку. А тогда, в пятидесятые годы, это было настоящее путешествие. И если мне приходилось далеко ходить в школу, то попадать в институт было целой проблемой. Вы поймете, насколько неудобным и неприспособленным был Новосибирск, если я

вам расскажу, как же я добиралась на учебу.

Мой маршрут был такой: от «Расточки», то есть от нынешней площади Сибиряков-Гвардейцев, до станции Новосибирск-Западный — пешком. Потом надо было садиться на электричку, расписание которой было очень неудобным: занятия в институте начинались в три часа, а она шла в 12 часов дня. За пятнадцать минут мы доезжали до станции Новосибирск-Главный, и надо было думать, чем занять себя до начала занятий. Если погода позволяла, садились в скверике, чтобы готовиться к семинарам. Доставали учебники и конспекты, если нет, — то оккупировали институтские подоконники.

Куда предпочтительней было добраться через понтонный мост на попутке. Делалось это так. Доходили до сада Кирова. За ним, за тоннелем, на углу стоял магазин, который почему-то называли еврейским. Вот у этого магазина часто останавливались порожние грузовики, возившие кирпич куда-то в сторону «Сибсельмаша». Шоферы охотно брали нас, студентов, с собой. Мы забирались в кузов и ехали стоя, с ветерком, в клубках красной кирпичной пыли. Машины тормозили неподалеку от института, что было очень удобно, — возле Чернышевского спуска. Мы выпрыгивали и начинали счищать кирпичную пудру с одежды, лица и обуви. Плохо, что такие поездки требовали частых стирок — с мылом-то было плохо.

Занятия заканчивались около восьми-девяти вечера, и опять на электричке нельзя было уехать. Мы возвращались целой группой, голосуя на понтонном мосту попутным машинам. Не все, конечно, останавливались, да и машин в то время было мало. Но те, кто подвозил, денег с нас не спрашивали. Уезжали по очереди: первыми те, кто сильнее замерзал, а мерзли мы страшно — и потому, что много времени доводилось проводить на улице, и потому, что одежонка была плохонькой. Долгие-долгие годы я сохраняла в себе ощущение жуткого, проникающего до каждой клеточки холода... Домой добирались к 11—12 часам...

И какое же было облегчение, когда от «Расточки» пустили трамвай! Правда, ходил он без всякого расписания и не чаще, чем раз в час, но если повезло, мы добирались до Западного королями!

На дневном я проучилась всего курс — жили мы бедно и мамино зарплата не хватало даже на еду. Спасибо ей, что выдержала целый год и дала мне возможность хоть немного побыть настоящей студенткой. Я перевелась на заочное и отправилась опять на завод, который и стал моей судьбой.

И все-таки годы нашей юности были прекрасны! Они были наполнены воодушевлением великой Победы в страшной войне, огромными надеждами и энтузиазмом. А как мы любили свой неустроенный Новосибирск! С каким удовольствием гуляли по Красному проспекту, как любовались его красотой! А оперный театр? Мы не пропускали ни одного спектакля. В любой мороз, по льду через Обь пешком — ради прекрасных мгновений встречи с искусством! И никогда не позволяли себе войти в этот храм в будничной одежде, из последнего выделяя средства на нарядное платье, на туфельки. Потому что кто хочет, тот ищет пути, а кто не хочет, тот ищет оправдания. Мы хотели жить полной жизнью и жили ею!

Федор Жильцов

В начале ноября 1945 года я, деревенский паренек, по комсомольской путевке прибыл в 13-е отделение милиции Заельцовского района на работу.

Подаю направление, в котором написано: «...на должность уполномоченного». Кадровик Волков, увешанный боевыми орденами, встретил меня хмуро: «Ты хоть знаешь, что такое участковый уполномоченный?»

А откуда мне знать? Стою, переминаюсь с ноги на ногу... Понял начальник, что перед ним деревенщина, стал рассказывать об этой работе... Потом выдали обмундирование — огромные валенки, тесную шинель, шапку с большой звездой и гербом страны.

Наутро взяли мы со старшиной мишень и пошли на стрельбище — в лог, что возле горбольницы, в березовый лес. Стрельнул я с десятков раз, после чего получил оружие!

На третий день моей службы объявляют казарменное положение: без разрешения начальника за пределы территории отделения не выходить, работать на участках, спать в отделении. Приближался праздник 7 Ноября. По традиции в дни праздников — повышенная боеготовность. Выглядело это так. Старший оперуполномоченный, он же начальник УР, вытаскивает пачки дел на подучетников и раскладывает их по участкам. Участковые просматривают эти дела и составляют списки, кого доставить в отдел для отсидки на период праздников. Ночами мы стучались в дома и доставляли в отделение всех неблагонадежных — бывших зеков и хулиганов.

Сейчас даже в голову не придет: как это — ни с того ни с сего водворить человека в КПЗ только потому, что он был ранее судим? Но было такое правило, и некоторые даже сами приходили с узелками и докладывали: «Пришел для отсидки!» Зато праздники не были ничем омрачены и любой мог спокойно ходить по улицам, не боясь, что нападут хулиганы или грабители. Казарменное положение продолжалось до Дня советской милиции, то есть до 10 ноября. При подготовке к 1 Мая все повторялось сначала...

Мой участок назывался «Красная горка». Он тянулся от площади Калинина вдоль Ельцовки и доходил до горбольницы. На нем — две достопримечательности: Солдатский мостик — от него берет начало улица Танковая, и казахский аул. Солдатский мостик издавна пользовался дурной репутацией — здесь раздевают, грабят, насилуют и живет здесь лихой народ. А в районе улицы Степана Разина жили казахи. Их жилища трудно было назвать домами — скорее это землянки, вырытые по склону берега Ельцовки. Стены сплетены из прутьев, забитых глиной. Несмотря на убогость внешнего вида, на подслеповатые маленькие оконца, жилища эти были даже по-своему комфортны, потому что зимой в них было тепло, а летом прохладно. На земляном полу стелились кошмы, которые хозяева сами и изготавливали. За неимением шерсти они срезали мех со старых, непригодных к носке полушубков и изготавливали из него кошмы, а кожу выделывали и пускали на обувь. В домишках было несколько комнаток. Мне нередко приходилось бывать у казахов в домах — проверять домовые книги. Стучишь и слышишь в ответ:

— Келдым?

— Аш! (Свои, значит.)

— Бектам! (Заходи!)

И сразу раскидывают маленький столик, бросают подушки, угощают чаем с

баурсаками — шариками из теста, сваренными в кипящем жире. Мой наставник, лейтенант Прохоров, учил: «От угощения не отказывайся — обидишь. Но и не обжирайся!»

Казахи — честнейшие люди. За ними никогда не числилось ни одного преступления. Правда, занимались они запрещенным в те годы кустарным делом. Но на это мы глядели сквозь пальцы, да и промысел-то их не давал им особых доходов, а лишь помогал продержаться в трудное время. Они обычно скупали на барахолке всякое тряпье и рванье и шили из двух-трех старых вещей одну поновее. Шили и мужчины, и женщины. Почти во всех домах стрекотали машинки. Изделия они продавали на барахолке, что шумела напротив Ипподромского (теперь Центрального) рынка. Промысел помогал этим малограмотным людям жить довольно сытно. Во многих домах пахло варящимся в объемных котлах мясом, в основном кониной. Нередко в «аул» пригоняли лошадку. Ее забивали молниеносно, разделявали и мясо делили по справедливости между всеми поселенцами. Казахи соблюдали все национальные обычаи, и если умирал старший брат, то младший женился на его вдове и брал на себя все тяготы и заботы о семье. Теперь от аула не осталось и следа...

В первые послевоенные годы криминальная обстановка в городе была сложнейшая, а численность милиции оставляла желать лучшего. В нашем отделении весь личный состав, включая конюха и техничку, не превышал 50 человек. Из оружия у нас были только наганы, весь транспорт — единственная карья кобылка, впрягавшаяся в кошелку и возившая в основном начальника... Мы работали на износ, выставляя ежедневно 16 постов, — было важно, чтобы люди нас видели, чтобы чувствовали себя уверенней.

Но бандитов было больше. В Новосибирске орудовали оснащенные трофейным оружием банды и группы, многие действовали под маркой «Черной кошки». Они наводили ужас и страх на население. Ходить по улицам вечерами было опасно. Бандиты зажимали между пальцами лезвия бритвы и резали, словно когтистой лапой, лица людей. Возможно, это было придумано где-то на Западе, откуда и явилась к нам «Черная кошка», для того чтобы рабочие боялись ходить на заводы в ночную смену. Грабители действовали нагло и безбоязненно — ломали окна и двери, врываются в дома, загоняли хозяев в подполье, забирали вещи и уносили. Особой дерзостью и куражом отличался главарь по кличке Дунька. Он ходил всегда в офицерской форме, с погонами капитана. То на нем форма летчика, то артиллериста, то политработника. Для фасону Дунька брал с собой «на дело» баян, и пока подельники ломали двери, Дунька во всю наяривал лихие песни: знай, мол, наших! Мне все нипочем! Словом, откровенно издевался над милицией. Наглость Дуньки не имела предела: загнав хозяев в подпол, бандиты не торопясь забирали все ценное, а потом спокойно усаживались за стол и начинали бражничать до утра, превращая гулянки в настоящие оргии.

Но это все еще «семечки». Однажды Дунька нарядился в форму лейтенанта пожарной охраны и среди бела дня подъехал на грузовике со «строительной» бригадой к главному магазину города — Торговому корпусу, что на Красном проспекте. Спокойно разгрузив стройматериалы, «рабочие» начали возводить вышку пожарного наблюдения на задах здания, со стороны Первомайского сквера. Чем выше возводилась вышка, тем глубже копался подземный ход... В одно прекрасное утро работники магазина «Ткани», отперев двери, обнаружили пропажу в своем подземном складе самых дорогих и дефицитных тюков габардина и бостона. Пролом вел к пожарной вышке... А Дунька, конечно же, исчез. Этот наглый грабег, подготавливающийся почти в открытую, на глазах всего честного народа в течение

нескольких дней, окончательно убедил Дуньку в своей неуязвимости и тупости милиции. Чрезмерная самоуверенность его и сгубила в конце концов. Попался он глупо и бездарно. Шел себе по улице один, как ни в чем не бывало. Его опознал один участковый милиционер, богатырь и силач. Он его и повязал.

Бороться с этим отребьем нам очень помогли люди. Сначала их называли осодмиловцами, потом — бригадами-ловцами. Идешь ночью с обходом, а с тобой пять-шесть человек с синими повязками — помощники милиции. Никаких льгот у этих ребят не было, никто им не платил, спасибо даже не говорили, но такой был у народа патриотизм, такая готовность помочь, такая жажда сделать жизнь чище и лучше! Вспоминаю, как у горбольницы хулиган напал вечером на студентку мединститута и, подражая «Черной кошке», порезал ей лицо. Тогда мобилизовались студенты-медики и такого шороха навели в округе, что вся мразь попритихла, все распоясавшееся вконец хулиганье куда-то попряталось, исчезло.

В 1947 году я закончил Омскую школу милиции и ушел «на повышение», стал работать в городском управлении. Там был у нас удивительнейший работник, настоящий, прирожденный сыщик — Федот Дворядкин. Человек он был не очень грамотный, но звание майора носил заслуженно — сколько матерых бандюг благодаря ему было упрятано за решетку!

Мы иногда подолгу не видели его на работе. Он исчезал на несколько дней. Но стоило ему появиться и запереться с начальником в кабинете, мы уже знали: «Опять не спать, братцы! Федот появился!» И точно! Смотрим, уже бегают секретарь, предупреждает, чтобы не расходились. А в час или два ночи собирают всех: обнаружена банда. Выезжаем! Эти банды удивительнейшим образом выслеживал Дворядкин.

Федот сам говаривал: «Нет в Новосибирске квадратного метра земли, где бы не ступала моя нога». Так оно и было. Один раз он пролежал в засаде двое суток в палисаднике у дома, где затаились преступники. Высочайший авторитет был у этого человека. Помню, один раз на совещании что-то долго обсуждали, ломали голову, как поступить? Федот слушал, слушал и говорит: «Что мы тут сидим, воду толчем в ступе? Да вы идите к водокачке. Вам там бабы все расскажут!» Сам он, конечно, к водокачке не ходил. Но помощника с коромыслом и ведерками посылал. Тот садился на ведро, покуривал и слушал, о чем говорят женщины: кто подрался, кто во сколько пришел, кто с кем гуляет. И результаты были неплохие.

Приехал как-то к нам начальник УВД из Челябинска. Привели его в картотеку, которой мы очень гордились. А он говорит: «У меня это тоже есть. Но я бы сейчас променял ее на полсотни квартальных надзирателей, которые знают, что вчера Митька ел и в какой кепке ходил! Не надо фетишизировать картотеку. Живое наблюдение иногда ценнее иного документа»...

Недавно я побывал на набережной. Там теперь прекраснейший парк. Я стоял, смотрел и думал, что вот здесь, на этом самом месте, только место это теперь под толстым слоем песка, когда-то стояли дома, крутая лестница вела к реке, а я сидел в засаде у домика, вплотную прилепившегося к ее ступенькам — в окно можно было стукнуть рукой. Обитала в том домишке городская шайка.

Ах, Каменка, Каменка! Тысячи домов, тысячи семей. Какие человеческие трагедии связаны с ней! Прилепившиеся к берегам домишки, настоящие лачуги. Шанхай, да и только! Теперь лачуги снесли, речку упрятали в трубу, замыли многометровым слоем песка. Ничего не осталось от страшного места. Только память.

Аркадий Антонов

Баба Шура, так ее называли все знакомые и соседи, пододвинула на край плиты чугунок с борщом, уложила в горку последние пирожки с картошкой, вытерла перепачканные мукой руки, ловко повязала чистенькой косынкой белые, как утренний снег, волосы и, взойдя с крыльца на пригорок, окинула взглядом людской поток, переполняющий через край привокзальный спуск. В этот гудящий водоворот постоянно вливались новые ручейки из переулков, тесно застроенных разномастными деревянными домами и бараками, и потоки с главного новосибирского вокзала, куда то и дело, эшелон за эшелон, прибывали поезда, забитые под завязку вчерашними фронтовиками, возвращающимися к родным очагам.

Сергей, мой дед, был где-то неподалеку со своим «фирменным» товаром. Хитрый рынок, а он-то и шумел рядом с нашим домом, несмотря на свое несерьезное имя халтуры не признавал, и каждый, кто хотел рассчитывать на успех своей торговли, должен был предложить лишь что-то достойное внимания покупателя.

Война только-только закончилась. Усталые и счастливые фронтовики-победители со скромными трофеями ехали домой. Радость и горе, смех и безудержные слезы — всего хватало в этом бурлящем людском море.

Живым нужно было жить. Есть и пить хотелось всем. Денег, как водится на Руси, не хватало. Модное нынче слово «бартер» в те благословенные времена было еще не известно. Но вечная суть взаимовыгодного обмена от этого не менялась.

У меня на даче среди плошек-поварешек припряталась необычная, выдавшая виды сковорода. Не какая-то там алюминиевая или даже чугунно-тефалевая. Стальная, литая, эмалированная! С деревянной изрядно потертой рукояткой с крепкой петелькой — чтоб вешать на удобном месте на стену. Пятьдесят пять лет назад моя бабушка с огромным трудом и опаской, что сделка не состоится, обменяла целую гору пирожков на эту замечательную и, безусловно, дорогущую вещь у солдатика, везущего сковородку аж из самой Германии! Ну и пирожки были великолепные. До сих пор помню их обворожительный вкус — настоящее чудо кулинарного искусства, хоть и пеклись они без масла — где ж его тогда было взять? — прямо на чугунной плите печи. Весь секрет состоял в том, чтобы пирожки успели одеться в красивую румяную корочку. Иногда в хлопотах бабушка не успевала уловить момент и корочка подгорала — товар терял кондицию. Зато на моей улице наступал праздник!

Горелый пирожок доставался вечно голодному пацаненку военного времени.

Страшно даже представить, сколько должна была бабушка испечь безупречных пирожков в обмен на вожделенную сковородку! Но то ли солдатик со своими друзьями сильно проголодался, то ли надоело таскаться с тяжелой железякой, но только с тех пор бабушка готовила свои любимые украинские кушанья на этой чудо-сковороде, оберегая ее как зеницу ока. Даже едва ли не главная наша еда — картофельные драники — готовилась по-прежнему прямо на плите!

Итак, управившись с порцией пирожков, бабушка пошла высматривать своего дорогого Сережу. Не помню, чтобы дед с бабушкой проявляли друг к другу особую нежность, особенно на людях, но уважали и понимали свою половину на зависть окружающим. Всыпая по голому заду толстенным армейским ремнем внуку за чрезмерные шалости, правда, без ожесточения, дед не то что руку не поднимал, но и единым грубым словом, тем более матерным, ни разу не обидел свою Шуру. Да и

четверых дочерей и сына Николая — фронтовика, израненного и контуженного — при мне не ругал. Обидные для меня воспитательные «сеансы» дед прекратил, едва я достиг десятилетнего возраста — видно, он решил, что наука пошла на пользу, и мы жили с ним душа в душу.

Гренадерского роста, он был правофланговым в царской армии, чем очень гордился. Так что бабушке отыскать своего благоверного не составляло труда — его двухметровая фигура на голову возвышалась над кишачим людским месивом.

— Отец, — перекрывая базарную разноголосицу украинским напевным говором, крикнула бабушка, — обед простывает!

— Иду, иду! — гулко, иерихонской трубой отзывался дед и, рассекая людскую волну, двинулся к дому.

В длинных жилистых руках он бережно нес картонную коробку с товаром — длинноствольными с офицерским мундштуком и нежнейшей папиросной бумагой папиросами под «Казбек», изготовленными на собственной штамповочной машинке собственными руками. Сам-то дед безбожно смолил жуткой крепости самосад, любовно заворачиваемый в «козью ножку», а на продажу выдавал «баловство». Понятное дело, что настоящие офицеры курили настоящий «Казбек», но солдатам, да и обычному гражданскому люду тоже хотелось подымить с шиком.

Дед был доволен — торговля шла бойко, милиция особо не придиралась, да и то сказать — ей тоже хотелось чего-то эдакого, и деда наш участковый признавал за «своего», зная, что сын его — фронтовик и по тылам не отсиживался. Но и в те времена налоговые инспектора отнюдь не дремали. Не раз наведывались они в наше неказистое жилище, зная, что у этих бедолаг есть изрядное богатство — швейная машинка, ножная, «Зингер», на которой бабушка шила что угодно — от детских распашонок до так называемых телогреек. Правда, последнее изделие было слишком громоздким и неудобным для женских рук, так что дед не хуже опытного портного строчил стеганку толстыми нитками.

Так вот, инспектора дотошно интересовались: а не на продажу ли шьют изделия, не платя ни копейки государству?

Каторгой этот неучтенный, но «грабительский», по мнению государства, труд, не карался, но грозил конфискацией орудия производства и штрафом. Спасало то, что семья считалась многодетной и каждому надо было что-то носить.

«Зингерушка», как любовно, по-семейному называли нашу кормилицу, одевала и обувала всю семью, в том числе и того маленького пацаненка, который полвека с гаком спустя и пишет эти незатейливые строки.

Вырасти розовощеким и сытеньким на одних драни-ках да изредка перепевавших подгорелых пирожках, да карточных пайках хлеба, за которым приходилось простаивать в очередях многие часы, понятное дело, было немислимо. И низкий поклон моей бабушке, второй моей матери, исколесившей окрестные села и деревни с распашонками да рубашонками, сшитыми из лоскутов, добытых опять же по «бартеру» со швейной фабрики. Бабушкин товар менялся на молоко, шматок сала, а то и мяса! Потом уже осторожно сами селяне приезжали отовариваться на наш Хитрый рынок. Барахолки или, помягче, вещевого рынка, в те послевоенные времена, кажется, не было да и быть, на мой взгляд, не могло по причине суровых «ндравов» — со спекулянтами велась жестокая и беспощадная борьба, ведущаяся, впрочем, без особых успехов. На «бизнесменов» вроде моего деда и бабушки милиция смотрела сквозь пальцы, полагая, что большого урона государству эта мелочь не наносит. Впрочем, не трогали доблестные стражи порядка почему-то и лихих людей, промышлявших вечным манипуляторским ремеслом. Наивно думать,

что шарики-колпачки и прочие ло-хотроны свалились на бедные головы россиян только в нынешние проклятые времена рыночных реформ. Ничто не ново под луной! Пока жив человек, ему всегда будет хотеться хлеба и зрелищ.

И мы, пацаны, подбрасывали взрослым затурканным согражданам кошельки со свежим, только что «приготовленным» дерьмом или рубль на ниточке, присыпанной дорожной пылью. И хохотали самозабвенно, до колик, наблюдая за обалдевшими лицами одурачиваемых нами мужиков и баб. Учиться-то нам было у кого: мы были вокзальными, и этим все сказано. Жили на улице Вокзальной, давшей начало нынешней Вокзальной магистрали, первое здание которой поглотило наш переполненный разношерстным людом дом. Когда-то этот крепенький, окантованный по фасаду затейливой резьбой дом принадлежал какому-то именитому новониколаевцу. Очевидно — многодетному: был в доме парадный подъезд, открывавший вход в просторный коридор, по обе стороны которого располагались комнаты-квартиры, когда-то сообщающиеся между собой. Был бокови-чок-пристройка, на две комнаты и кухню, да еще и сараюшка под дрова и разный хозяйственный инвентарь, судя по всему, он предназначался для прислуги. Этот-то флигель и занимала наша семья. Рядом с нашим домом стояли и двухэтажные крепкой кладки здания, и вросшие в землю бараки, оставшиеся, как говорили взрослые, от первостроите-лей железнодорожного вокзала, самого лучшего в мире. Многие из нас, привокзальных мальчишек, были убеждены в этом. Уж мы-то облазили не только само великолепное здание вокзала сверху донизу, играя в его подземных переходах и катакомбах в прятки и прочие забавы, но и обширное пристанционное хозяйство. Мы гордились, что среди наших родственников были те, кто строил это великолепие. В их числе был и мой дед. Это был наш мир. И в нем вращалось множество людей, среди которых немалое количество оседало переночевать в наших маленьких комнатах, заглянуть на огонек, закусить-отобедать. Некоторое время гостила, появляясь неожиданно, шумная группа, так непохожая на наших соседей. Один из нее, грузный, плотный, смахивающий на цыгана, отчего его, наверное, и называли за глаза Бароном, в общих застольях не участвовал, а держался особняком, положив руки на тяжелую резную трость. Рядом с ним всегда находилась огромная овчарка. Барон был немногословен, но стоило ему произнести фразу, как тут же смолкал шум и все подчеркнуто внимательно слушали его. Деда он всегда называл по имени-отчеству: Сергей Федорович, и именно ему поручал заказы, которые дед тщательно и терпеливо изготавливал.

Дед был мастером на все руки, но в основном специализировался «по железу». Мог ведро изготовить, примус запаять, отрегулировать только вошедшие в моду «американские» замки, частенько оставляющих хозяев перед захлопнувшейся на «собачку» дверью.

На Хитром рынке торговали и обменивались всем, чем богато было то время, — прежде всего трофейным добром и незатейливой снедью. И желающих «нагреть» клиента, отхватить побольше халявного счастья хватало с избытком. Особо популярной была игра в кости — четырехгранник, черный эбонитовый с белыми доминошными точками-цифрами, либо, наоборот, белый, слоновой кости, с черными отметинами. Толпу народа собирала и «орлянка» — известная во все времена игра в орел и решку. Неизменным интересом пользовался и «дамский веер» — из эбонитовых пластин карточный «вернисаж» карточных картинок. Про «чику», когда на кон становится металлическая денежная мелочь и «разбивается» специальным пятаком-битой, и говорить не стоит.

Мы, коренные жители Хитрого рынка, точно знали, чем закончится сеанс каждой игры. В нужный момент, когда на кону набиралась изрядная сумма денег, на «костях» обязательно выпадала шестерка, пятак падал именно на «орла», а бита переворачивала весь столбик «чикских» денег, и дама «пик» ухмылялась с пластмассового пьедестала. Знали мы в лицо и всю «труппу» мастеров, артистически завершающих свой быстротечный, чтобы не засекали «мусора», спектакль. Это они гостили в нашем доме на Вокзальной.

Много лет спустя, когда отшумел, рассосался Хитрый рынок, дав многочисленные побеги нынешних барахолок, когда исчез со своей свитой Барон, дед раскрыл секреты удач этой команды. Фокус оказался до глупости прост: в кубик «кости», прямо под «шестеркой», впаивалась свинцовая пластинка[^] получался ванька-встанька. «Вечный» орел готовился из... двух пятаков, стачиваемых наполовину: два «герба-орла» спаивались латунью по ребру монеты. Нужная дама приклеивалась в нужное время и на нужную пластину «веера» легким нажатием пальцев. С битой для «чики» было посложнее, но и здесь не обошлось без физики и механики.

Готовил «реквизит» фокусникам Барона мой дед! Плохому мастеру делать тонкую работу не доверят. Отказываться было опасно, но, слава богу, наши заказчики были мирными жуликами, учившими уму-разуму азартных простофиль. На Хитром рынке и в его окрестностях творились дела куда серьезнее, требовавшие больше риска и большего «мастерства». Особым шиком было подменить купленный товар на никуда не годное тряпье, вложить в руки натужно тянувшую за собой тяжелый груз веревку с другим, равным по весу, барахлом!

На Бурлинской улице доблестная милиция выследила группу разбойников, промышлявших грабежом перебравших на радости фронтовиков. Из неказистого домика был прорыт через дорогу подземный ход, полностью набитый всяческим добром. Нагрянет облава — нет ничего! Бандиты уходили тайным ходом и скрывались до окончания «шухера». Говорили, что немало людей сгинуло в этом доме бесследно, ведь домик служил ночлежкой, частной гостиницей для ожидавших своего поезда проезжающих. Одному Богу известно, сколько человеческих трагедий и сколько кровавых драм разыгралось за стенами мирного на первый взгляд домишки, стоявшего рядом с Хитрым рынком.

Но рынок, он и есть рынок. Он был, есть и будет хитрым и жестоким ко всем, кто не вписывается в его законы...

Кстати, на том самом спуске, где когда-то бурлил, обманывал, надувал, грешил и просто шумел Хитрый рынок, сегодня расположилась платная автостоянка, забитая в основном иномарками, а на привокзальной площади, уставленной ларьками вчерашних «челноков», торгуют уже не домашними пирожками, а американскими безвкусными хот-догами...

Вячеслав Литвинов

Люди старшего поколения помнят, какое место в их жизни занимало радио в сороковые-пятидесятые годы. Пожалуй, значительно большее, чем сегодняшнее телевидение. Радио было не только информатором, но и идеологом, и собеседником, и носителем культуры. Помню, как во время войны приникали мы к репродукторам, когда звучала передача «Огонь по врагу», которую вели два талантливейших человека — Борисов и Адашевский. Каждый раз, когда она заканчивалась, мы рассуждали: «Наверное, эти люди знают что-то особенное о делах на фронте, раз так наполнены оптимизмом». Песни, тексты, куплеты так отчаянно высмеивали Гитлера и фашистов, что невозможно было удержаться от смеха. Как эти передачи поднимали дух! А знаменитый музыкант Иван Иванович Маланин — гениальный баянист, человек-оркестр... Но мой главный восторг был в том, что когда в августе 1945 года я пришел в Дом Ленина, где находился тогда радиокомитет, меня прослушали... и взяли на работу диктором! Это было счастье! Радио в Новосибирске появилось в 1926 году. Срок становления уже прошел, наступила пора расцвета.

Да, именно так. Почему-то принято думать, что раньше все было хуже и примитивнее, что сегодняшнее общество умнее и продвинутое. Да ничего подобного! Судите сами, у радио тех лет были свой большой симфонический оркестр, малый симфонический оркестр, большая актерская группа с солистами и концертмейстерами, оркестр народных инструментов!

А что осталось? Брошенный на выживание оркестр народных инструментов — и все! А знаете, сколько времени в течение суток шли передачи из Новосибирска? 14—17 часов ежедневно! А сейчас, когда все вещание отобрала Москва, — два с половиной часа. Почувствуйте разницу!

На Новосибирском радио постоянно звучали инсценировки по пьесам выдающихся драматургов. Скажите, кто сегодня способен выдать на радио постановку драматического спектакля, да не в записи, а живьем, прямо в эфир? А раньше это делали, и делали блистательно. Нашему радио повезло — у нас работал главным режиссером человек выдающегося таланта Николай Михайлович Коростенев. Он делал великолепные, потрясающие радиоспектакли, которые шли в эфир из нашей большой студии в Доме Ленина. Кроме него, не менее талантливые работы выпускали режиссер детского вещания Владимир Карлович Дени и Вера Павловна Редлих, люди, чьи имена вписаны в страницы истории городской культуры. Помню, выпустили в эфир грандиозную постановку — «Первую конную» по пьесе Вишневского. И в это время приехал из Москвы знаменитый актер и режиссер из Малого театра Дикий. Он прослушал спектакль и спросил Коростенева:

— Сколько ты затратил денег на этот спектакль?

— Четыре тысячи.

— Да как же ты сумел? Я в Москве истратил 40 тысяч рублей, и у меня получилось гораздо хуже...

И это была чистая правда!

В ту пору у радио не было еще своей фонотеки, не было записей, поэтому приходилось шумовые эффекты и все звуковое оформление давать по ходу спектакля. Брали как-то деревянные шарики, которыми мы постукивали, чтобы изображать стук копыт, спички, крахмал — для шума ветра, шелеста листвы и

плеска приборя. Все это придумывал неистощимый на выдумки Николай Михайлович. А какие сказки инсценировались, и как блестяще инсценировались! О детях вообще очень заботились — для них были специальные передачи, для них читали вечерние сказки актеры и дикторы, которых очень любила детвора.

Прекрасным был и творческий состав журналистов. В литературной редакции в то время трудились выдающаяся поэтесса Елизавета Стюарт, известный писатель Илья Лавров, Владимир Мищихин, человек энциклопедических знаний и колоссальной эрудиции.

Гордостью радио была дикторская группа: Любовь Токарева, Вера Вольская, Мария Новожилова, Валентина Высоцкая — это все были высокообразованные люди с прекрасными голосами.

Позже пришли Георгий Титов, Ольга Егорова, Георгий Лебедев, Таскира Богданова, Владимир Дубровин. Все они заслуженно получили высшую категорию. Помню, как к нам на семинар приехали звезды всесоюзного радио — Левитан, Толстая, Ярцев.

Прослушав наши работы, они заявили: «Среди провинциальных городов Новосибирск имеет самую сильную, самую профессиональную дикторскую группу». А Левитан добавил: «У вас настолько сильный состав, что мы ставим его гораздо выше ленинградского!»

Для работы диктору мало иметь красиво звучащий и хорошо поставленный голос. Необходимо обладать эрудицией, владеть знаниями, разбираться в политической и общественной жизни, быть высокограмотным. В этом плане новосибирские дикторы были безупречны. Это работа, которая требует полной собранности и сосредоточенности, чтобы избежать естественных для любого человека оговорок и ошибок. Один диктор тяжело поплатился за то, что, читая постановление о присвоении Сталину звания генералиссимуса, не сразу смог произнести это слово и несколько раз споткнулся. Назавтра он у нас уже не работал!

Вспоминаю также, с каким напряжением я работал, когда читал присланную по бильдаппарату (прообразу телетайпа) статью Сталина «Фальсификаторы истории». Материал был плохо пропечатан, в текст приходилось вглядываться до боли в глазах, а ошибки недопустимы! Я помню, вошел в речевую студию, закрыл двери, снял с себя рубашку и даже брюки и сел читать, мокрый от волнения и перенапряжения. И пока дочитал до конца, с меня семь потов сошло!

Время было такое, что за любой промах могли не только с работы снять, но и посадить. После передачи вполне могли прийти неизвестные мужчины в черных кожаных плащах и увезти тебя в неизвестном направлении. У нас так уже было однажды: диктор исчезла прямо из студии, а вернулась... только через десять лет. Прямо в радиокомитете был контрольный пункт КГБ. Работники органов имели свой экземпляр любого текста, идущего в эфир. Каждый текст был предварительно согласован с цензурой и залитирован. Кагэбэшники тщательнейшим образом слушали все передачи и сверяли их с напечатанным текстом. Кроме того, у дверей студии стоял вооруженный человек, вот и представьте, в какой обстановке приходилось работать и какая ответственность была на нас!

Однажды, отведя свое дежурство, я собрался домой. Ко мне подходит главный редактор политического вещания Надежда Федоровна Качалова и просит перед уходом прочесть еще один материал. Нехотя соглашаюсь, иду в студию, начинаю читать без подготовки, с листа, охватывая взглядом по выработанной профессиональной привычке дальнейший текст на десять-пятнадцать строк. И вдруг холодею от ужаса! Там, где по смыслу надо читать «капитализм», стоит слово «социализм». Что делать? Исправляю на свой страх и риск, читаю дальше — опять

ошибка! Опять надо мне по ходу подбирать другое слово. Дальше — опять путаница, да не какая-нибудь — идеологическая! Опять исправляю. Закончил чтение, включили Москву, можно идти домой, а я боюсь с места стронуться. Что-то меня ждет за дверью? Может быть, уже явились мужчины в коже? Но прошло какое-то время, никто меня не тревожит... Встаю, открываю двери — никого! Звоню Качаловой. Она очень довольна, благодарит меня за хорошую работу. И тогда я зачитываю ей то, что было в моем тексте. Она ахает. Быстро-быстро, пока нас, словно злоумышленников, не засекли, перепечатали страницы с ошибками, заменили на исправленные и только тогда успокоились. Пронесло! Целы остались. А если бы я был менее опытен, если бы бездумно читал предложенный мне текст, неизвестно, где бы был теперь. Ребята из КГБ не очень вникали в суть дела, тогда считалось — во всем виноват диктор!

В 1948 году началась очередная волна чисток. У нас исчезли многие сотрудники. Одних уволили за несоответствие, другие просто тихо пропали... Мы не спрашивали, куда...

Такое было время. Парадокс, но при всем при том мы горели на работе, нам было интересно ходить на службу, у нас был прекрасный коллектив, в котором всегда оставалось место и для шуток, и для смеха, и для всяческих розыгрышей. А какие великолепные мы устраивали капустники. К нам приходили повеселиться актеры из «Красного факела», из ТЮЗа, из оперного. Радио было центром притяжения! Очень сильным коллективом был и наш симфонический оркестр. Да иначе и быть не могло: на протяжении многих лет им руководили способные и даже выдающиеся дирижеры. Сначала это были Вальгард, Вернер, Факторович. Оркестр часто исполнял произведения прекрасной симфонической музыки в прямом эфире, поднимая эстетическую культуру горожан, воспитывая их на лучших произведениях, дарил возможность наслаждаться прекрасными творениями человеческого духа! Скажите, где теперь звучит в эфире классика? Ее просто изгнали. Разве это нормально? Симфонический оркестр не ограничивался выступлениями на радио, часто давал концерты в зале Дома Ленина, на других концертных площадках города. После окончания Тбилисской консерватории сюда приехал очень одаренный молодой дирижер Александр Копылов. Молодой красавец с роскошной шевелюрой, да еще и обладающий ярким дарованием, конечно, вызвал кое у кого недоброе чувство зависти. И они однажды решили его осадить, подставить подножку. Происходило это на моих глазах. На концерте в зале Дома Ленина инспектор оркестра Петр Жуков кладет на пюпитр партитуру, я выхожу и объявляю симфонию Бетховена — уже не помню какую, но одну из сложнейших. Выходит Копылов, а партитуры нет. Исчезла! Копылов колебался лишь секунду. Оркестранты увидели его напряжение, собрались и решили поддержать молодого дирижера, который стал работать по памяти! И он так дирижировал в этот вечер, что все были потрясены его мастерством. Негодяи, укравшие партитуру, поняли, что фокус не удался, а наоборот — возымел обратный результат, и во втором отделении не решились повторить свою подлость.

После перерыва по программе должны были исполняться произведения Хачатуряна, требующие особенно виртуозного мастерства. Копылов встал за пюпитр и распорядился, чтобы партитуру убрали, и все второе отделение дирижировал опять по памяти! Вот такие были люди на нашем радио. Конечно же, человек такого яркого дарования не мог оставаться незамеченным, и его быстренько забрала к себе Москва, где он стал дирижером Большого театра. Москва вообще подпитывалась новосибирскими кадрами, нашим интеллектом, забирая к себе самых лучших и

одаренных.

Редактором музыкального вещания работал у нас милейший и скромнейший человек Николай Иосифович Иванов. Он был не только талантливым организатором музыкальных передач, но и одаренным музыкантом. Он мог при необходимости аккомпанировать любому солисту, а когда заболел дирижер оперного Аркадий Зак, он приходил и заменял его на оперном спектакле! Это был высокопрофессиональный и талантливый человек.

Сейчас, оглядываясь назад, невольно поражаюсь: какое было созвездие талантов! Даже технические работники умели творить чудеса. Константин Иванович Сапожников не имел технического образования, но в его руках любая вещь начинала играть. Как-то ему достали испорченный немецкий полевой магнитофон весьма примитивной конструкции. Так он не только его исправил, но и довел до такого совершенства, что записал на него оперу в нашем театре. Причем так блестяще записал, что оперу выдали в эфир!

Поэтому наше радио очень любили. Когда пошли трансляции из Москвы, нам стали звонить слушатели: «Что вы эту Москву даете? Давайте наши передачи! Они интереснее!» А Москва ежегодно увеличивала свои трансляции, подминая тем самым наши, неумолимо сокращая местное вещание.

Время изменило многое. В прошлое ушли дикторы. Теперь им отводится самая нетворческая, рутинная работа — прогноз погоды, чтение рекламных объявлений — профессия отмирает. Все бы это ничего, если бы на смену старому пришло лучшее. Действительность же такова, что многие журналисты выходят в эфир, не умея говорить, не имея элементарной дикции и, что самое страшное, не зная русского языка. Процветают косноязычие, откровенная безграмотность. Кстати, этим страдают даже известные телеведущие. Тон при этом задает Москва. Невыносимо слушать, как искажается русская речь. А ведь люди привыкли ориентироваться на сказанное в эфире слово. Безграмотность тиражируется! Уходит культура, и нам, ревнителям русской речи, это очень больно.

Академик Лихачев, великий человек, сказал: «Не будет культуры — не будет государства». Похоже, об этом никто не задумывается...

Александр Филатов

До 18 лет я никогда не был в большом городе, всю жизнь прожил в селе. И вот в июне 1940 года я на грузовике своего старшего брата еду в Новосибирск на учебу. Как сейчас стоит перед глазами такая картина: подъезжаем к переезду на станции Клещиха, а по железной дороге с грохотом мчится грузовой состав. Я гляжу во все глаза, ведь для меня это событие: раньше мне поездов не доводилось видеть. Помнится, что особого впечатления он на меня не произвел, а вот поразил меня... трамвай. Скорее, даже разочаровал. Я-то думал: «О! Трамвай! Что-то большое и комфортабельное!» А тут... гремит, болтыкает, скрежещет.

Я был ошарашен городским шумом, огромным количеством людей, великолепием купола недостроенного еще оперного театра, новеньким красавцем-вокзалом, нашим институтом с его просторными корпусами и прекрасным спортзалом. Словом, Новосибирск показался мне невообразимо величественным и прекрасным. Но вместе с тем город меня пугал и даже вызывал раздражение: я подсакивал ночами от свистков набирающих пары паровозов, от грохота автомашин. Меня стесняли городская одежда и особенно обувь, так как я привык ходить босиком.

Решил для себя: не буду я здесь жить! Меня тянуло на природу, мне мечталось о профессии геолога или биолога, и перспектива стать на всю жизнь городским человеком не очень привлекала. Но я успешно выдержал большой, в 12 человек, конкурс и был зачислен в Новосибирский институт военных инженеров транспорта, куда приезжали поступать со всей страны — ведь он приравнялся к военной академии, здесь была высокая стипендия, целых 458 рублей. Для сравнения скажу, что мой брат, шофер с большим стажем, зарабатывал всего лишь 400.

Нас одевали, обували, кормили, но и спрашивали здорово. А какая чистота была в общежитиях! Когда мне довелось побывать в общежитии теперешнего НИИЖТа, я пожалел, что добрые традиции утрачены. Распорядок дня у нас был жесткий: подъем по сигналу в 6 утра, физзарядка; наведение порядка, утренний смотр. На занятия ходили строем и с песнями. В город — только по увольнительным запискам. Помню лишь два случая самоволки, когда двое из наших слушателей сходили вечером в ресторан, там выпили, вкусно поужинали, а когда вернулись, то командир роты выстроил всех и вывел провинившихся в центр. С каким презрением мы на них смотрели! Самодисциплина была очень высокой.

В те годы мы были трезвенниками, спиртного почти не употребляли. Да и условия к этому не располагали: в общежитии нельзя было даже пищу хранить, не то что спиртное. Мы жили другими интересами: много занимались спортом, ходили в кино и театры, напряженно учились и, конечно, дружили. Рядом с нами был медицинский институт, в котором было много прекрасных девчат. Нивитовцы нередко влюблялись в медичек, и образовывались семейные пары из двух специалистов, которых потом с удовольствием брали на работу в любом конце страны.

Проучившись год, я привык к городу, и он больше не казался мне чужим и пугающим. Летом нас направили в военные лагеря на практику по военному делу. До начала каникул оставалось всего восемь дней, и мы мечтали, как будем их проводить. Но... началась война! Нас спешно построили, и мы в вооружении и полном боевом порядке вышли из лагеря. Все были уверены — отправляют на фронт! А что? Мы — молодые, крепкие, здоровые, спортивные, почти всему обученные... К нашему разочарованию, нас вернули в город, и мы занялись переводом железнодорожных

путей на щебеночные основания, чтобы по ним могли проходить большегрузные поезда. А первого сентября сели за парты. Однако проучиться долго не пришлось. 11 ноября 1941 года — прекрасно помню этот день — я провожал на вокзале брата на фронт, вернулся в институт, а там — столпотворение! Хлопают двери, суетятся сотни людей, вносят и выносят ящики, оборудование. Оказывается, институт выезжает, потому что теперь на его площадях будет работать Красногорский завод имени Ленина! До позднего вечера мы таскали оборудование и станки, а потом построились и пошли в Кривошеково, где заняли одну из школ. Каждый класс превратился в спальню для 35 студентов. С учебой пришлось расстаться — война! А мы все стали рабочими 179 комбината, или «Сибсельма-ша», а если еще точнее, то одного из его заводов, под номером 4-А. Это был совершенно новый завод, оснащенный купленным перед самой войной оборудованием — станками фирмы «Шкода». Он предназначался для выпуска снарядов, которые так были нужны фронту. Нам предстояла задача освоить еще неопробованное оборудование и обучиться рабочим профессиям. Учили нас классные московские специалисты, и мы очень быстро научились необходимым операциям и даже приобрели кое-какие навыки. Уже через две недели я вытачивал 150 снарядов в смену. Работали по двенадцать часов, без выходных. И хотя нам давали по 800 граммов хлеба и кормили раз в день в заводской столовой, питание нам казалось очень скудным, весь день преследовало ноющее чувство голода. Но самое неприятное — постоянный, извечный холод: из школы нас вскоре выселили, поместив на плохо утепленные чердаки барачков. С вечера, когда топились буржуйки, было даже жарко, но едва печурки протапливались, как холод начинал вползать под крышу. К утру вода в умывальниках превращалась в лед! На заводе тоже было не многим лучше — температура в цехе редко поднималась выше плюс 5—7 градусов. Окоченев вконец, мы бегали греться в штамповочный цех — вот где было тепло! Но туда не набегашься: за невыполнение нормы спрашивали строго, да никому и не приходила даже такая мысль — отсидеться в тепле.

Переживали мы эти испытания спокойно, никто не роптал. Все понимали, какая опасность нависла над страной. И в этот первый военный год мы особенно сдружились, стали словно воедино спаяны и дружбу пронесли сквозь годы! Эту зиму мы не только работали, но и обучали тому, что умеем, новичков-подростков и женщин. Подготовив себе замену, вернулись к занятиям. Какое счастье снова сесть за учебу, взяться за учебники!

Однако возвращение на студенческую скамью имело и неприятную сторону: теперь мы получали скудное студенческое довольствие в 400 граммов хлеба — вдвое меньше, чем на заводе. Голодные обмороки на занятиях стали обычным явлением... Но что удивительно, при всем при этом мы как-то ухитрились радоваться жизни, смеяться, дурачиться, петь песни, травить анекдоты, ходить в театры и кино. Бежим из общежития в своих ботиночках от улицы Дуси Ковальчук до Советской, 20, где стал располагаться институт, намерзнемся до посинения, а потом сами над собой подсмеиваемся...

Зато с какой жадной мы учились! Буквально вгрызались в науку. Для убедительности скажу, что на нашем курсе из 41 человека 14 получили дипломы с отличием! А ведь наша жизнь не ограничивалась учебой — каждое воскресенье с утра до вечера мы на заводской станции занимались погрузкой снарядов для отправки на фронт. В институте я вступил в партию, женился в 1946 году. Вспоминаю, как мы с молодой супругой ходили по городским окраинам в поисках комнаты или хотя бы угла. Это было трудной задачей, потому что Новосибирск за

почти четыре года войны принял 200 тысяч человек эвакуированных и жилья катастрофически не хватало. Но все-таки нам повезло: удалось снять угол у знакомого в бараке, в комнате, где вместе с нами ютилось пятеро. В ней и прошел наш с Зинаидой Денисовной медовый месяц. Жилье было убогое, без электричества и очень холодное. Чтобы не замерзнуть, приходилось топить печку круглые сутки... Диплом я защитил с отличием, и мне рекомендовали заняться научной работой, чего я не мог себе позволить, так как появился ребенок и надо было кормить семью. Трест «Сибст-ройпуть» стал первой «остановкой» на моем трудовом пути. А моим первым делом стало возведение ста домиков для железнодорожников Первомайки, чем я очень горжусь.

Годы спустя судьба распорядилась так, что моя жизнь тесно переплелась с Новосибирском — я стал сначала заместителем председателя горисполкома, затем — первым секретарем горкома партии, позднее возглавил областную партийную организацию. Эти годы пришлись на период бурного роста и развития города.

Заработал домостроительный комбинат, и в 1961 году был построен первый блочный дом. Сегодня, когда принято ругать панельные дома, а первые малогабаритные квартиры привычно называют «хрущобами», трудно представить, какое счастье было тогда получить «хрущевку». Панельное домостроение создало революционный прорыв в жилищном строительстве — оно стало массовым, и люди после десятилетий жизни в подвалах, в коммуналках, в аварийных бараках стали наконец переезжать в благоустроенные квартиры. Это был подлинный триумф государственной политики! Десятки тысяч новоселий справлялось ежегодно, подвинулись мертво стоящие квартирные очереди. Все оживо, все стремительно менялось. На глазах вырастали новые кварталы, сносились ветхие лачуги, застраивались пустыри, город преображался!

А мы мечтали, что недалек тот час, когда строительная площадка превратится в сборочную: все привозится готовенькое, только собирай! Быстро, просто, дешево! Люди кипели на работе, горели энтузиазмом. Но наш розовый энтузиазм то и дело упирался в проблемы — не хватало комплектующих, материалов, донимал извечный дефицит, было напряженно и с квалифицированными рабочими руками, нередко подводила и проектная документация. Мечты остались мечтами...

И все-таки уже в 1963 году мы отказались от выборочной, случайной жилой застройки, а начали вести ее комплексно, массивами. Так появились Гусинобродский, Кропоткинский, Затулинский, Станиславский жилмассивы. Мы сдавали до 700 тысяч квадратных метров жилья в год да еще не менее десятка школ, да детсады, да магазины. Сейчас, к сожалению, не строим и половины былого объема...

Сегодня принято ругать городскую экологию. Справедливо. Но кто помнит, что было время, когда в маленькую речку Ельцовку производился ежедневно 41 выброс? Можете себе представить, во что была превращена эта река, что несла в своих водах? И не было никаких очистных сооружений! И этот узел мы разрубили.

Забыт сегодня и тот факт, что потребление питьевой воды на человека в Новосибирске составляло всего 100 литров. Это мизер! Мы жили на великой реке, а людям не хватало воды! И эта проблема была решена. Правда, теплофикация явно отставала от потребностей, а в ряде микрорайонов не хватало школ и детишки учились в три смены. Но, как бы там ни было, 60—70 годы — годы расцвета.

Тогда работа велась сразу по нескольким направлениям. Горисполком выступал заказчиком множества объектов, а строительные организации и заводы претворяли эти заказы в жизнь. Помню, как всего за два года нам удалось закрыть 250

разрозненных котельных, страшно задымлявших город. Как радовались мы, что избавились от сотен дышащих сажей труб! Ликвидация этих маломощных котельных была очень важна еще и потому, что выбросы их вообще никак не очищались, а сразу шли в атмосферу, окутывая город вредными веществами. Сразу стало чище, опрятней, цивилизованней.

А сотрудничество с заводом «Экран», финансировавшим строительство ковшевого водозабора на Оби, а водоочистные сооружения мощностью миллион кубометров воды в сутки? А еще реконструкция ТЭЦ-4 и ТЭЦ-3...

Как я радуюсь тому, что все эти сверхзатратные объекты были построены к началу реформ. Не сдай мы их тогда — задохнулись бы и от нехватки воды, и от дыма и окончательно загубили бы Обь.

Исключительный вклад в развитие города вносила тогда мощная строительная организация «Сибкадемстрой», которую возглавлял удивительный человек, великолепный руководитель Николай Маркелович Иванов, традиции которого продолжил его талантливый преемник Геннадий Дмитриевич Лыков. Сколько они сделали для Новосибирска!

Здесь не могу не сказать об огромной благотворной роли, которую сыграл в развитии и расцвете города научный центр. Конечно, городским руководителям хлопот прибавилось. Судите сами, в те годы Новосибирск ежегодно прирастал только за счет приезжих на 50—60 тысяч человек! Всех их надо было разместить, устроить, всем дать жилье. Один довольно видный партийный руководитель города недавно издал книгу, в которой назвал ошибкой строительство Академгородка. Мол, приезжие отбирали жилье у местного населения и тем самым обездоливали его. В какой-то мере этот руководитель прав, но только в какой-то... На самом деле создание научного центра в нашем городе дало ему новый мощный толчок к развитию, а проезд большого количества высокоинтеллектуальных людей способствовал расцвету науки и многих отраслей народного хозяйства, повысил престиж и авторитет Новосибирска. Я уж не говорю о том, что столь далекий от признанных центров молодой сибирский город стал всемирно известен, что все флаги стремились в гости к нам. Было время, когда не было такого квартала в году, когда бы мы не принимали самых высоких гостей — лидеров мировых держав. Сейчас даже трудно перечислить и вспомнить всех: из Франции — президент де Голль, из Югославии — Броз Тито, из Америки — Никсон, из Финляндии — Урхо Кекконен и многие, многие другие. Притяжение к нам было огромное. Наш опыт изучали, перенимали, другие области нам откровенно завидовали. Новосибирск из некогда купеческого городка превратился, как в известной песне, в город ученых. Но это был и мощный индустриальный центр! Война нам дала сильный толчок к развитию промышленности, оставив на нашей земле высокоэффективные предприятия, которые давали ежегодный прирост выпускаемой продукции не менее 10—12 процентов. То есть каждую пятилетку мы встречали самыми настоящими достижениями, умножая национальное богатство страны. Тот же завод «Сибтекстиль-маш» за очень короткое время вышел на производство 5 тысяч ткацких автоматов, которые экспортировались во все страны социалистического лагеря. Конечно, они несколько уступали швейцарскому ткацкому оборудованию, но были высокомоощными и надежными.

Уже в 1963 году Новосибирск вошел в первую пятерку городов страны по числу жителей и по размаху жилищного строительства. Он рос на глазах, преображался и хорошел. Вместе с жильем строили объекты социального назначения: аэропорт, автовокзал, крытый плавательный бассейн, ГПНТБ, ЦУМ, Дом радио, Дом

политического просвещения, сотни столовых, магазинов, предприятий бытового обслуживания...

А вы знаете, что такое новосибирские овраги? Вот приписывают Гарину-Михайловскому честь основоположника города, хотя, на мой взгляд, он был только путеец и город возводить не предусматривал. Место для строительства моста, может, и в самом деле было выбрано оптимальное, а вот место для города очень неудачное. Дело в том, что территория Новосибирска сильно испещрена оврагами. Изрезано все побережье и поймы двух Ельцовок, Плющихи и Каменки. Эти овраги настолько бурно «работают», что только за послевоенное время удвоились! Я помню, как только за одну дождливую ночь смахнуло с берега Ельцовки 92 домика! Это огромная проблема. Помню, копаясь как-то в подшивке «Советской Сибири» за 1923 год, прочитал: «...скоро начнется засыпка оврагов в Новосибирске». Значит, уже в те годы овраги очень мешали городу! После войны, в 1948 году, было даже издано Постановление Совмина о засыпке наших оврагов. Начали готовить проектную документацию и наготовили столько, что она занимала... две комнаты в Министерстве коммунального хозяйства. Своими глазами видел кипы этих документов в Москве.

Но проект был крайне неэффективен, если не сказать бездарен. По нему предполагалось сначала построить возле каждого оврага дороги с обеих сторон, укладывать вокруг оврагов канализационные трубы, чтобы вода не сливалась в них, а уж затем приступить к засыпке. При этом неизвестно было, где брать грунт и сколько для этого понадобится машин и горючего. В общем, дорого и неудачно. Поэтому неудивительно, что проект остался лишь на бумаге. Годы шли, овраги увеличивались, проблема разрасталась, а дело не двигалось...

Однажды, после большого дождя, который как обычно натворил неприятности, я сел в машину и поехал по городу. Для начала свернул в Каменку. Казалось бы, самый центр — в двух шагах от Красного проспекта, но цивилизация здесь уже кончается: грязь, лужи, по берегу лепятся убогие домишки, люди к ним пробираются с трудом — нигде нет нормальных подходов. Меня такая обида взяла. Вернулся на рабочее место и позвонил начальнику управления по благоустройству:

— У тебя фотограф хороший есть?

— Найду.

— Тогда возьми фотографа и как можно эффектнее снимите все, что тут у нас с оврагами и склонами творится.

Фотограф постарался, сделал 40 видов города, где Каменка и Ельцовка предстали во всей своей «красе». Эти фото с одобрения первого секретаря обкома партии Горячева были отосланы в Совет министров. Там были поражены. Как? Новосибирск? Гордость страны? Научный центр? Город, открытый для иностранцев? И тут — на тебе! Такие трущобы!

Комиссия из столицы прибыла немедленно. Работала она две недели, после чего нас пригласили в Москву на совещание, где должны были решать наш вопрос. Поначалу ситуация складывалась явно не в нашу пользу, но нам повезло, что в ту пору первым замом председателя Совмина РСФСР был М. А. Яснов. Этот человек сделал много добрых дел для России, и его пребывание на этом посту было большим благом для нашей республики. Он сказал: «Надо новосибирцам помочь и выделить деньги». Эти слова и стали решающими. Подписали постановление, согласно которому нам стали ежегодно выделять по 5 миллионов рублей для борьбы с оврагами. Яснов же, кстати, заметил: «А где вы возьмете столько транспорта на засыпку? Не засыпать надо, а замывать!» Так он нам подсказал

наиболее дешевый и простой метод ликвидации оврагов.

Мы заложили речку Каменку в железобетонные короба, которые изготовил все тот же «Сибкадемстрой», начали выселять людей из домишек, стали сносить лачуги и замывать пойму реки. Но, как говорится, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. В оврагах Каменки и Плющихи жило тогда свыше 40 тысяч человек! Им было необходимо дать новые благоустроенные квартиры, соответствующие всем санитарным нормам.

При строительстве метрополитена тоже производились замывка русла реки Ельцовки и частичное выселение людей. Таким образом проблема оврагов утратила свою остроту. И хоть все это стоило нервов, крови, эмоциональных нагрузок, результаты очевидны.

В те годы существовало правило, что на каждый важный объект социально-культурного назначения требовалось разрешение Москвы. Даст Москва «добро» — будет новый аэропорт, вокзал, театр. Нет — будете обходиться тем, что имеете. Это очень затрудняло работу руководства на местах. Приходилось просить, добиваться, умолять, бороться, искать обходные пути, заступников. А у нас, к сожалению, не было, «своих» людей в Политбюро ЦК КПСС. Правда, к нам очень тепло относился Алексей Николаевич Косыгин, возглавивший после снятия Хрущева Совет Министров СССР. Он когда-то в молодости работал в Новосибирске в потребительской кооперации. В память об этом на здании Облпотребсоюза висит мемориальная доска.

Кстати, это с подачи Косыгина в городе появился новый кинотеатр имени Маяковского. Он, приехав к нам, сказал:

— Давайте построим здесь хороший кинотеатр! Что за город без хорошего кинотеатра? Построим такой, как «Россия» в Москве!

Тут Горячев и председатель горисполкома Севастьянов высказались: «Россия» — это прекрасно, но кто у нас зрительный зал на две с половиной тысячи мест будет заполнять? Нужен хороший кинотеатр, но малость поскромнее!» Так на месте полуразвалившегося здания появился красавец-кинотеатр на 1200 мест.

Первое время после снятия Хрущева Брежнев работал в тесном контакте с Косыгиным, они начали активно и дружно действовать. Молодой Брежнев был очень хорошим руководителем: доступен, прост и, можете мне поверить, великолепен как оратор! В 1972 году он выступал у нас, в Новосибирске, на активе целых полтора часа и ни разу не заглянул в бумажку! Он великолепно владел ситуацией, помнил десятки цифр, четко и емко излагал свои мысли. Однако впоследствии между Брежневым и Косыгиным сложились явно ненормальные отношения. Но все-таки именно Алексей Николаевич подписал постановление правительства о строительстве метрополитена в Новосибирске. Пробивать его мы начали еще в шестидесятых годах, когда население достигло миллиона. Сколько было бумаг, сколько хождений, сколько технико-экономических обоснований, сколько раз приходилось ездить на поклон к руководителям самых разных уровней! Думаю, что это заслуживает отдельной повести. И в том, что несмотря на все препоны нам удалось разрешить эту сложнейшую задачу, самая большая заслуга принадлежит Федору Степановичу Горячеву, который без малого 14 лет настойчиво и последовательно пробивал бюрократические заслоны в Москве.

Одновременно с нами или чуть позже вопросами метростроения в своих регионах занялись другие города, также обивавшие пороги в столице. Но мы успели первыми, поэтому нам выделяли и средства, и материалы. Как говорится, кто не успел, тот опоздал! В 1979 году была забита первая свая, а уже в 1985 государственная

комиссия приняла в эксплуатацию первую очередь метрополитена. Осмысливая свой пройденный путь, я вижу в нем удачи и свершения, промахи и ошибки. Так, до сих пор считаю ошибочным, что мы подхватили поветрие, прокатившееся по всей стране, и построили новое здание для обкома партии. Этого не стоило делать — старое было вполне достойным помещением. Были и другие ошибочные решения. И все-таки я горд и счастлив, что судьба была столь благосклонна ко мне, что дала возможность сделать что-то полезное для города и живущих в нем людей.

Когда-то, еще, кажется, в шестидесятых годах, я написал такие стихи:

Здесь радость нашу, труд и честь

Делили с городом любимым.

Частица нашей жизни есть

В его восходе горделивом...

Иван Добророднов

О пожарных много поговорок и пословиц в свое время ходило. И «спит, как пожарник», и «ну, ты — пожарник» — это, я считаю, любя. Как беда случится, нас зовут, и мы спешим на выручку. И если команда нормальная, слова не доскажут, куска не дожуют — мчатся! Шоферы в пожарке раньше всегда особые были. Это такие водилы экстра-класса, что, пожалуй, иному гонщику сто очков вперед дадут. Бездорожье ли, пахота, рытвины, колдобины — мчатся на всех глазах, и сам черт им не брат.

Как-то мы по целику 35 километров за двадцать минут одолели — это на тех, еще допотопных машинах! В нашем деле много значит приехать пораньше, идеал — это когда через пять—шесть минут уже на месте. Такое по плечу только суперводителю. Один раз, помню, поехали на вызов. Машина — только что из ремонта. Едем по мосту. Вдруг, бац! Пружина лопаается. Мой шофер резинку из трусов выдернул, примотал куда надо и дальше погнал!

Пожар погасили, едем обратно потихоньку, я эту пружину в темноте разыскал и наутро — в ремонтное управление. И так им дал, что мало не показалось. Они, видите ли, такие хитрые, старье нам подсунули. Выговоров там потом надолго хватило. Заработали...

Вообще, за мою долгую жизнь в пожарной охране всякого было — я ведь больше полувека в пожарных, аж с 1943 года! Сначала учился в Свердловском, потом в Ленинградском училище. Форма у нас там была — загляденье! Жена Черчилля — того самого — подарила нам одежду. Все ладное, все красивое, все добротное. Мы в ней как огурчики были. На форме буквы — ВПО. Так наши парни, чтобы их пожарниками не обзывали, говорили всем, что эти буквы так расшифровываются: высший политический отдел. Девчонки думали: «Ого!», — и охотно дружили с нами. Если кто-то считает, что учиться на пожарного легко, тот глубоко заблуждается. Наш учебный день длился 12 часов. И теория, и практика. Доставалось. Скажем, пожарная лестница весит 80 килограммов, надо ее вдвоем с машины снять, пробежать, выдернуть до третьего этажа, и все — за считанные секунды! И подобных эпизодов — масса! Очень трудными были упражнения по пожарно-прикладному спортивному умению. Выматывались до изнеможения. А еще спорт, без которого в те годы молодежь себя не мыслила: лыжи, фехтование, борьба, велоспорт. Мне посчастливилось отличиться, и я выиграл 30-километровую лыжную гонку. В награду мне достался «царский» приз — велосипед. По тем временам он тянул не меньше, чем нынче «Волга».

Училище закончил, и мне, как ведущему спортсмену, сказали: «Выбирай себе распределение куда хочешь. В любой город страны!» Я выбрал Новосибирск, потому что здесь, в области, жили мои родители.

Поработал пару лет, и меня направили в высшую школу МВД, в Москву. Когда через два года вернулся, то оказалось, что во всем управлении я самый-самый образованный. Подавляющее большинство имело образование 3—5 классов, причем даже многие начальники были на таком же уровне.

Возможно, именно поэтому меня не очень жаловали и придерживали, чтобы не высовывался. Занимался подготовкой и переподготовкой личного состава, а потом стал начальником пожарной команды Заельцовского района — самой слабой и отстающей. Из техники — всего два автомобиля. На одном — бочка в тысячу литров

воды, на втором — в две тысячи. Это не водоизмещение, а смех: вода в первой бочке заканчивалась через две минуты, во второй — через пять! Бочки были установлены на открытой платформе, с обеих сторон — скамеечки для личного состава, ремни с петлями, чтобы держаться за них и не выпасть из машины. Расчет — 6 человек. Машины были настоящими душегубками. Судите сами: едут мужики с пожара в своих брезентовых робах насквозь мокрые: они ж водичку не из краников лили — из брандсбойтов! И ладно, если лето. А если зима? Едут по морозу, подставив себя ветру. Пока до пожарки доедут, одежда обледенеет — не разогнуться, не пошевелиться, все льдом закованы, как панцирем!

Еще одна подведомственная мне часть находилась в совхозе МВД, расположенном фактически в городской черте — сразу за территорией горбольницы. Там пожарные имели на вооружении лошадей. Каюсь, настроен я был весьма скептически: что такое лошади против быстроходных машин? Решил устроить проверку боеготовности. Даю тревогу — ударили в колокол. Засек время — две минуты прошло, и лошади уже за ворота выскочили! Вот какая выучка была! И хоть в этой части был самый низкий образовательный уровень, дело ребята знали!

На довольствии вместе с лошадьми стоял и козел Васька — шkodливейшее и забавнейшее существо. Он, как ниточка за иголкой, бегал по двору за лошадаками, глядел на них преданнейшим взглядом. Никакие преграды ему были нипочем. Смотришь, он уже на сеновале, а оттуда — на крыше. Но стоило войти в ворота чужаку, как Васька срывался с любой высоты и агрессивно напирал на него рогами — нечего, мол, делать здесь! И в самом деле отгонял непрошенных гостей, словно дворовый пес. Но самая главная Васькина функция — в конюшне, за которую его держали и кормили, — не стоила Ваське никаких усилий, а была изначально ему дарована матушкой-природой: оказывается, козлий запах отпугивает крыс и мышей, которые, не будь здесь козла, потравили бы весь корм и пугали бы благородных животных. Держать козлов, говорят, требовалось по инструкции. Так что со всей ответственностью вам заявляю, что пожарные старого Новосибирска дружили с козлами!

Работая в Заельцовке, я стучал во все двери и писал письма, чтобы здесь построили новую пожарную часть (старая была в никудышном состоянии), и своего добился. Но как только строительство подошло к завершению, меня «повысили»: перевели при той же зарплате на гораздо больший объем работы в Октябрьский район, на 120 человек личного состава. Что делать? Подчинился! Жил я тогда на левом берегу, и поскольку через Обь еще не было коммунального моста, ездил на работу пригородным поездом. Его почему-то называли Матаня. Доезжал на этой самой Матане до «Мостовой» (нынче это остановочная платформа «Центр»), где ничего не осталось от той жизни, которая когда-то здесь бурлила. Все было облеплено деревянными домиками. Стояло множество киосков, где можно было купить все, начиная с водки. Здесь же был стихийный базар, на котором в летнюю пору торговали ягодами, грибами, орехами, колбой, а зимой — рыбой.

Пожарные — народ небогатый, зарплаты у нас были маленькие. Правда, спасала форменная одежда, которой, однако, не хватало на год. Придешь, бывало, домой — весь в копоти, в мазуте. Бедная жена все это бесконечно отстирывала, чтобы я, начальник, приходил на службу в приличном виде.

Большую опасность для нас, пожарных, представляла Каменка. Люди старшего поколения помнят, что это такое. По обеим склонам речки тесно лепились тысячи домишек, один над другим, в несколько ярусов. Подъехать к большинству из них было нельзя, а пройти можно только кривыми узенькими переулочками. Случись

здесь, не дай бог, пожар — не потушить! И все сметет огненным шквалом. Зная об этом, мы постоянно наведывались к каждому домовладельцу, вели профилактическую работу: будьте предельно осторожны, следите за дымоходами и печами. Будет возгорание — не спасем! И люди всегда были начеку. И представьте себе, что за восемь лет моей работы в этом районе здесь ни разу не произошло пожара! Зато наверху, там, где уже были нормальные улицы — с дорогами, с подъездами, пожары случались частенько.

Помню, приезжаю как-то по вызову. Дочку замуж отдавали, свадьбу играли, и на тебе — пожар! Огонь мы быстро задавили, стали разбираться в причинах. В доме ничего подозрительного не нашел. Зашел в огород, гляжу — навоз перекопан. Говорю хозяину: «Бери вилы. Копай!» Он копнул, а там — самогонный аппарат, еще дымится. Он его от нас запрятал, потому что самогонование было запрещено. Я этот аппарат взял и вышел к толпе, собравшейся возле дома.

— Вот, — говорю, — отчего случился пожар, вот почему свадьба испорчена!

У нас тогда была такая практика — сразу объявлять людям о причинах пожара. Для этой цели у меня имелся мегафон, чтобы всем слышно было. Это была очень действенная и наглядная форма работы. Думаю, что именно поэтому тогда было меньше пожаров, чем сейчас, несмотря на то, что печное отопление повышало риск возгораний. Того мужика, конечно, жалко — наказали его. Но сам виноват...

Вспоминаю один из самых первых моих больших пожаров. Горело здание заводоуправления «Сибсельмаша». Перекрытия были деревянные, они быстро прогорели, и я ухнул вместе с ними на первый этаж. На мне — шуба, потому что на улице морозище был, громоздкие валенки. Барахтаюсь между обрушившимися балками, на меня сверху льются потоки холодной воды, а я абсолютно беспомощен. Это был пожар повышенной сложности, и нам удалось отстоять только стены. Едем обратно, как всегда, в открытой машине. Пока добрались до места, я превратился в ледяной столб. Меня с машины сняли и посадили в котел с горячей водой, а потом, когда оттаял, растерли спиртом. И можете себе представить — я даже не заболел! Назавтра как ни в чем не бывало вышел на работу.

Сколько их было, этих пожаров, на моем веку! Горел пятиэтажный старый дом на Серебренниковской. На пятом этаже — женщина с ребенком. Мальчика я снял, и он сам спустился по лестнице, а с женщиной пришлось помучиться. Она от страха ни жива ни мертва. Даже, извините, обмаралась вся. Мне надо ее спускать, а в ней весу не меньше 130 килограммов. Спускаю ее — глаза из орбит от тяжести. Осталось два этажа, кричу ребятам: «Помогайте! Не могу больше!» Еле-еле ее спустили. А меня потом пожарные обмывали из рукавов...

За эту женщину я получил очередную благодарность и денежную премию в сумме 10 рублей! А она меня потом разыскала, в дом позвала, чаем угощала и благодарила. Были и трагикомические случаи. Приходит однажды электрик домой и заявляет жене:

— Дай на бутылку!

— Не дам!

— Ах, так? Тогда я дом подожгу!

И что вы думаете? Выбежал на улицу, купил у стоявшего возле магазина водителя немного бензина, вернулся домой, вылил и запалил избу! А деревянному дому гореть-то — всего 15 минут! В результате — ни бутылки, ни дома, ни свободы. Загребел электрик на семь лет в места не столь отдаленные.

Пьянка вообще дает весьма большой процент пожаров. Пьяная прачка в детском саду забыла выключить утюг. Пришлось ребятишек срочно эвакуировать. Мы их

тогда, как котят, — за шкурку по двое, по трое выносили, чтобы успеть спасти... Да сколько таких случаев! Про пожарных тоже ходит поговорка: пьет как пожарник! Но у меня, скажу честно, люди не пили. Дисциплину держал. Потому и выходил на первое место со своей командой. За это нам дали новую машину с удивительным в те времена свойством — с самонакачивающимися колесами. Ведь это же ЧП, когда спешишь спасать, а колесо спустило. На нем 42 гайки! Попробуй, открути!

Сегодня на вооружении пожарных такая техника, которая нам и не снилась. Но и мы были не лыком шиты, и у нас тогда начинались техническая революция. Были всякие местные разработки способов пожаротушения. Один раз сделали такую установку — списанный турбореактивный двигатель с самолета ТУ-104 поставили на шасси, к выхлопной трубе подвели сопло диаметром в 40 сантиметров. Там такое давление создается! Испытывали это чудо на Коченевском полигоне. Специально заразили танки изотопами. Я как дал газ из этой установки, так за 80 секунд все смыл! А потом стали тушить дом, специально для этого эксперимента подожженный. Я сказал шоферу: «Давай полный форсаж!» Он как дал — дом и улетел метров на 50! Надо было дорабатывать, экспериментировать, но что-то я потом этой установки не встречал...

Самый ответственный момент — дежурство по городу. Тут важно не только быть в полной боевой готовности, но и верное решение принять. Однажды получаю сразу два вызова — горят нефтебаза и завод Чкалова. Куда ехать? Выбираю нефтебазу, гашу пожар, а потом мчусь на завод. Слава Богу, обошлось...

Пожар — это всегда проверка: на знания, на сообразительность, на выучку. За годы работы в моей команде не погиб ни один человек, хотя экстремальных ситуаций хватало. И всегда действовало правило: руководитель входит в огонь первым, выходит — последним. После иного случая несколько дней кашляешь, и выходят из тебя дым, гарь и копоть. В транспорте домой возвращаешься, люди порой отодвигаются — весь прокопчен. А иногда спрашивают: «А что это от вас дымом пахнет?» Что тут ответить?

Иной раз еду по городу и вижу: вот стоит дом, в котором мы спасли столько-то людей. Вот другой, который отстояли. И этот мой знакомец, и тот. Для меня эти дома — не объекты пожаротушения, а нечто большее. Кусочки жизни, пожалуй. Я на них даже с нежностью смотрю.

Есть такой анекдот, которые мы, пожарные, рассказываем, подначивая новичков. Знаете, почему пожарные спят по 48 часов? Потому что они опять были на крестинах! А почему они опять были на крестинах? Да потому что в крестные позвать было некого — все остальные-то работают!

Иван Ромашко

Моя карьера артиста началась неожиданно для меня самого. В сорок седьмом году приехал я из Алтайского края в Новосибирск учиться. Куда — все равно. Шел по Красному проспекту, вижу — авиационный техникум. Такое красивое здание, а возле него скульптуры: с одной стороны — летчик, с другой стороны — Сталин. Шикарно! Решил: буду учиться только здесь! Подал документы и как отличник поступил без экзаменов.

Учусь, грызу гранит науки, бегаю в Дом офицеров — петь в художественной самодеятельности, что у меня неплохо стало получаться. И вдруг приезжает важная дама из Ленинграда искать мужские голоса, потому что после войны с мужскими голосами была напряженка. Послушала она меня и сказала: «Вам надо учиться!» И вот тут-то я загорелся. Решил: брошу техникум. Мне все говорят: «Ты что, с ума сошел? Три курса отучился, тебе всего какой-то год остался, дурак! Закончи техникум!»

Но я уже пошел вразнос, решил этот год не терять, а начать на артиста учиться. Забрал документы и махнул в Ленинград в музыкальное училище при консерватории, куда был приглашен этой дамой. Поступил. Дела идут прекрасно — даже повышенную стипендию получаю! Учусь, пою, пишу стихи, дружу с интересными ребятами из консерватории. И вдруг, через семестр, — бац! — попадаю под призыв, потому что у меня пропала здесь отсрочка от армии. И меня забирают на флот, на целых пять лет! Ни-чего себе, сэкономил год! Все! Жизнь рухнула! Трагедия. Карьера артиста летит под откос. Настроение самое паршивое. Прослужил я восемь месяцев, и вдруг меня вызывают в политотдел и спрашивают: «Вы учились в музыкальном училище?»

— Да, — отвечаю, — учился!

— Направляем вас в ансамбль песни и пляски Балтийского флота!

Солнышко снова засияло для меня: я и моряк, я и артист! Здорово! Вместе со службой я закончил музыкальное училище и получил приглашение в труппу Пятигорского театра музыкальной комедии. Поехал туда с удовольствием, но память о Новосибирске у меня осталась — интересный город, не то что провинциальный Пятигорск, где осенью замирает курортная жизнь, где надо мотаться на электричках на спектакли в Кисловодск, Ессентуки, где сплошные разговоры о водах и болезнях. Болото, захолустье! Но работа есть работа. Пою, переписываюсь с друзьями, в том числе с композитором Георгием Ивановым. Мы с ним подружился в Ленинграде. Я ему помогал дипломную работу делать, писал стихи для его песен.

И вот однажды получаю от него письмо, что в Новосибирске открывается театр музыкальной комедии. «Приезжай! Мы с тобой напишем что-нибудь. Создадим свой музыкальный спектакль». И я сорвался, точно так же, как когда-то из техникума, помчался в Новосибирск.

К открытию театра я опоздал чуть-чуть: оно состоялось 2 февраля 1959 года, а я приехал 13 марта — до моего приезда успело пройти всего несколько спектаклей. Они тогда шли на сцене оперного, где музкомедия была в «гостях», и на первых порах спектакли шли, кажется, всего раз в неделю.

Давали «Вольный ветер» Дунаевского. Я когда посмотрел, то просто обалдел. Это было грандиозно! А как это все выглядело! Ведь все декорации писались для сцены оперного, и писал их художник оперного Севастьянов, за дирижерским пультом был

не кто-то, а сам Бухбиндер — главный дирижер оперного, ставил спектакль Михайлов — главный режиссер оперного. А каких девчонок набрали в хор! Где они их только разыскали? Все молоденькие, все писанные красавицы. Это было так великолепно и впечатляюще, что я просто был раздавлен ширью и размахом. Мне стало казаться, что я — плохонький актер. Смотрю и думаю с тоской: куда я приехал? Зачем я приехал? Господи, не смогу я в этом театре работать! Затрут меня!

Это уж потом я понял, что не все артисты здесь звезды, что есть немало даже слабых, что я не самый плохой среди них. Целый год, пока строилось наше здание, мы работали в оперном. И слава богу, что музкомедия была создана при таком великолепном театре! Прекрасные музыкальные традиции, высокопрофессиональная музыкальная культура. И голоса, и оркестранты, и балетная труппа формировались из питомцев оперного, они принесли к нам свою выучку, свое мастерство, свое искусство. Поэтому мы сразу заявили о себе в полный голос! Мы все были исполнены энтузиазма, горели, но нам так хотелось поскорее перебраться «к себе». Мы ходили в гости к строителям, давали им концерты и торопили: «Ребята, скорее стройте!»

Конец пятидесятых—начало шестидесятых — время особое. Это время хрущевской оттепели. Время пробуждения после десятилетий запретов и гонений на творчество, на свежую мысль, да и на жизнь. Это было время духовного энтузиазма. Везде рождалось что-то новое, необыкновенное, притягательное. Почти в каждом городе вдруг начали появляться — немислимо! — спектакли, написанные местными драматургами. Это было откровением. Это возбуждало, радовало, пьянило, давало импульс к творчеству. А в Новосибирске было вообще событие особой значимости: здесь создавался Академгородок, и сюда понаехали из обеих столиц умницы, эрудиты, элита, цвет! Их культура, их духовные запросы, их интересы стали задавать тон в городе. Все это было захватывающе интересно.

А знаете, какой плакат повесили ученые над тоннелем-въездными воротами в городок? Нет, не «Слава КПСС!», не «Народ и партия едины», они написали стихи: «Задачи важнее не сыщется в мире, чем город науки построить в Сибири!» Вот как! И на этой волне мы с Георгием Ивановым задумали делать спектакль о тех, кто создает городок, — о строителях. В поисках материалов я много встречался и со строителями, и с учеными. Тем временем подошел и день открытия нашего театра. Как мы радовались ему! Все свое, все новенькое, с иголки! 9 января 1960 года мы дали первый спектакль в собственном здании, на собственной сцене. Им стала «Свадьба в Малиновке» Б. Александрова. Он имел ошеломительный успех. Первые представления мы посвятили строителям нашего здания, нашего долгожданного театра.

А к открытию XXII съезда КПСС, в октябре 1961, вышла наша с Георгием Ивановым оперетта «У моря Обского». Она появилась как нельзя вовремя, на гребне интереса к строящемуся в Сибири городу науки. Стихи рождались сами: «...там сотнями умелых рук возводится не просто город, а академия наук!» Рассказы строителей, записанные мною, сами превращались в стихотворные строчки, простые, но потому правдивые и доходчивые: «...построят баню нам весной и выдадут всем валенки...» Один из первых спектаклей был дан специально для строителей городка. И здесь же, сразу после его окончания, состоялась зрительская конференция — была в те времена такая форма общения актеров и постановщиков со зрителями. Это была буря! Люди восприняли спектакль так, как будто он был сделан лично о них. Некоторые даже обижались: завклубом у нас человек хороший, а вы его сделали

отрицательным персонажем. За что вы его так выставили? А другие говорили: «Мы узнаем себя!» Хотя у меня не было и в мыслях выписывать образы каких-то конкретных людей. Но раз узнавали, значит, было жизненно и правдиво! Вскоре после премьеры, а именно 4 ноября, в Новосибирск приехал президент Финляндии Урхо Кекконен. Он приезжал специально для того, чтобы посмотреть на это сибирское чудо — Академгородок. Для встречи с высоким гостем приехали сюда и Хрущев, и председатель Совета министров РСФСР Полянский. Хрущев на нашем спектакле не был, но прислал вместо себя Полянского. Тот посмотрел наше «Море» и вдруг выдал: «Надо везти в Москву!» Это дорогого стоило! Мы, в таком младенческом возрасте, едва достигнув трех лет, вдруг едем в столицу с творческим отчетом и моей пьесой! Потом «Море» начало шагать по стране и было поставлено в десяти театрах страны.

В общем наш театр заявил о себе. Да он и не мог не заявить — ведь, как я уже говорил, в нем на первых порах пели оперные артисты. И как пели! Но и у нас уже были свои звезды. Аркадий Воронцов — блестящий комик. Он первый в театре получил звание заслуженного. Ирена Белянская, приехавшая, как и я, из Пятигорска, стала второй по счету актрисой, получившей звание. Артист Рыжков пришел к нам из «Красного факела» и стал выдающимся комиком. Потом приехала большая группа выпускников ГИТИСа с отделения музкомедии — Савич, Прохоров, Ладыженская, Аджубейская, Холодков — все очень талантливые люди. Эта группа и составила ядро театра. У нас же, на нашей сцене, начинали такие звезды московской оперетты, как Васильев, Орловецкий, Паньков. Их быстренько забрали в столицу — мы стали ковать кадры для знаменитых театров!

А когда к нам пришел главным режиссером Анатолий Мовчан, то театр очень прибавил в плане актерского мастерства. Мовчан был поклонником хорошей драматургии и старался ставить такие спектакли, где была хорошая литературная основа. Кальдерон, Лопе де Вега, Бернард Шоу, Твардовский, Шукшин. Это были скорее музыкальные спектакли, чем оперетта. Здесь требовалось не только уметь петь и хорошо двигаться, но и играть. Мовчан, будучи прекрасным педагогом, учил нас «лепить» образ, передавать психологическое состояние героев, быть правдивыми. Только при работе с ним я стал глубже понимать актерскую кухню, постигать секреты актерского мастерства. Поэтому, несмотря на то, что Мовчан как главный режиссер не развил наш жанр, не дал ему дальнейшего толчка, он оказал, тем не менее, самое благотворное влияние на нас, на наш театр.

Сегодня я в театре — единственный, последний оставшийся от той, самой первой труппы. Мне немного грустно сознавать это, грустновато быть патриархом в этом веселом жанре... Сорок лет я отдал оперетте. Этим сказано все! Что еще тут добавить? Разве что несколько строк из своих собственных стихов?

Сорок лет — не много и не мало.
Годы в сердце памяти храним.
Нас с таким театром жизнь связала,
Где ты вечно будешь молодым.
Сорок лет я отдал оперетте
И открыто признаю сейчас,
Что «без женщин жить нельзя на свете»,
Что «частица черта» бродит в нас.
Я люблю тебя, мой жанр чудесный,
За великий, яркий оптимизм,

Ты — моя лирическая песня,
Ты — моя вся прожитая жизнь.

Андрей Трофимчук

Пятидесятые годы... Страна залечивала раны после тяжелой и разорительной войны. А ученые думали о том, как ускорить восстановление народного хозяйства, что нужно сделать для того, чтобы страна развивалась и процветала.

Михаил Алексеевич Лаврентьев, Сергей Алексеевич Христианович, Сергей Львович Соболев, все физики и одновременно математики, очень много сделавшие для обороны страны во время войны, участвовавшие в создании атомного щита державы, выдвинули идею создания в Сибири крупного научного центра, в котором были бы объединены ученые, представляющие самую современную науку, которая, развиваясь сама, подтягивала бы за собой и отрасли народного хозяйства. Такими передовыми науками провозглашались математика, физика, химия, геология и т. д. Несмотря на то, что уже в то время наука была неплохо представлена на периферии — в Томске, Иркутске, Якутске, на Сахалине, других регионах, где были созданы филиалы Академии наук, возглавляемые видными учеными, она все-таки носила скорее региональный характер и была недостаточна для развития ведущих дисциплин. Существовала объективная необходимость прорыва, поднятия этой науки до уровня союзной и мировой.

Совет Министров СССР одобрил предложения Лаврентьева и Христиановича. 18 мая 1957 года было принято Постановление «Об организации Сибирского отделения АН СССР». Но, конечно же, главную роль в принятии этого решения сыграл Никита Сергеевич Хрущев, который стал политическим организатором Сибирского отделения. Лаврентьев был знаком с Хрущевым еще со времени совместной работы на Украине и, имея возможность неоднократно с ним встречаться, сумел внушить генсеку мысль о создании научного центра в Сибири и зажечь его своей идеей.

Еще перед выходом постановления Лаврентьев вместе с Христиановичем отправились по Сибири, чтобы посмотреть, куда «посадить» этот центр, прибывающий извне. Сначала они побывали в Томске, где их встретили весьма не приветливо. Томичи полагали, что они находятся уже на весьма высоком научном уровне и что помощь столицы им не требуется, и если уж у государства имеются деньги, то пусть оно развивает их собственные начинания. Следующим городом стал Иркутск, где отношение к идее тоже было весьма хмурое. Там вообще недоумевали — для чего это нужно? В Новосибирск приехали, уже готовясь к нерадостной встрече. Но здесь, вопреки ожиданиям, их встретил радушный прием руководства филиала Академии наук. Новосибирские ученые полностью поддержали идею, заверили, что окажут всемерную поддержку и даже стали торопить: чем быстрее будет создан такой научный центр, тем больше будет пользы! Это и решило вопрос о местонахождении Академгородка.

Нельзя не сказать и об общем настрое большой Академии, весьма ревниво отнесшейся к инициативе ученых, не понимавшей, для чего нужно увозить из Москвы лучшие кадры, недоумевавшей, почему нельзя руководить наукой из столицы? Не понимали Лаврентьева даже на уровне президента Академии наук. Ему говорили: «Ну привезете этих ученых, они сломаются и вернутся назад. Ничего у вас не получится!» Да и многие ученые рассуждали так: «Зачем я туда поеду? Я живу на проспекте Ленина. Рядом — академические учреждения. Если нужно с кем-либо встретиться, это можно легко сделать и на квартире, и в институте. А что будет в Сибири? Какой-то шатер?» На это Лаврентьев отвечал: «У нас будет именно такая

обстановка, которая предусматривает взаимодействие наук. Причем это взаимодействие обуславливается самим проектом, все будет расположено рядом, удобно». Другие возражали: «У вас университета даже нет!»

— Будет университет!

— Позвольте, как работать, если нет приличной библиотеки?

— Будет библиотека! Одну из московских библиотек переместим в Сибирь!

И действительно, одна из самых крупных библиотек Москвы с огромным фондом научно-технической литературы перекочевала сюда, и ей приготовили прекрасное здание.

Другие выдвигали такой довод: «Я-то согласен, но вот моя жена — ни в какую!»

Ответ был примерно таким: «Ну что ж, в Сибири много прекрасных женщин, и они смогут вам заменить несговорчивую супругу!»

Подбирая кадры, работая над организацией отделения, Лаврентьев не хотел, чтобы новое дело превратилось в некую кампанию, действующую по принципу: пошумели — и разошлись. Поэтому, встречаясь с претендентами, с теми, кто был приглашен, ставил неперемное условие: выезжать в Сибирь не временно, а на всю жизнь! И он все время предупреждал коллег: тщательно посмотрите, не двигают ли людьми карьеристские цели? Нет ли таких, кто стремится показать себя в новом престижном деле, а затем удалится в Москву? Поэтому он лично беседовал практически со всеми, в том числе и со мной. К тому времени я уже был четыре года членом-корреспондентом Академии наук. Однако, знакомясь с моими анкетными данными, Михаил Алексеевич спросил:

— Вот вы уже семь лет руководите в Москве крупнейшим институтом, в котором трудятся три тысячи человек, занимаетесь важным делом по разработке открытых месторождений нефти. Что вас тянет в Сибирь? Ведь мы пока даже не определились с местом, где будет расположен центр, и ничего вам не обещаем...

Я отвечал, что для меня Сибирь не новинка, что детство я провел в Сибири, что, имея возможность ознакомиться с проблемой, убедился: развитие нефтяной промышленности будет определяться именно Сибирью, что по натуре я — разведчик, что с моей точки зрения этот регион просто плавает на нефти. Эти слова очень вдохновили Михаила Алексеевича, хотя впоследствии он не раз упрекал меня на больших собраниях: «Вот академик Трофимук мне говорил, что Сибирь плавает на нефти. Пусть хоть пробирку покажет с этой нефтью!»

К счастью, через три года открытие свершилось — в 1960 году забились такие нефтяные фонтаны! Этим примером я хочу показать, как тщательно подбирались люди, как Лаврентьев следил, чтобы в его команду не попались случайные попутчики.

Позже, когда уже заработали институты, когда появился городок, осуществлять подбор кадров стало существенно легче. Появился авторитет отделения, и мы уже сами могли выбирать очередную «жертву» для переезда сюда.

Основатель Сибирского отделения был человеком большого мужества. Достаточно сказать, что он решился в то время, когда биология и кибернетика подвергались гонениям, привлечь наиболее выдающихся и преследуемых ученых. С самого начала он предпочел не оглядываться на начальство, не убоился ссоры с ним, а шел вперед, сообразуясь с целесообразностью. Хотя многие считали, что было бы осмотрительнее, хотя бы на первых порах, не загубить общее дело, быть осторожнее и осмотрительнее.

По этому поводу у него с Хрущевым неоднократно возникали напряженные моменты в отношениях. Хрущев был человеком крайних противоречий. В нем было столько

же отрицательного, сколько и положительного. И здесь, делая большое дело, поставив его с огромным размахом, способствуя расцвету наук, с другой стороны он с такой же энергией и губил науку. Он прославился тем, что топтал ученых, которые выходили на передовые рубежи современности — генетиков, биологов.

Превозносил академика Лысенко и заявлял, что если того не изберут в члены Президиума, он вообще разгонит Академию. А у нас как раз и не было желания избирать его. Неоднократно он кричал: «Я вас разгоню! Я лишу вас дополнительных оплат, всех привилегий! Академия нужна была Петру I, а нам она для чего?»

Хрущев, создавший научный оазис, многое делал, чтобы и разрушить его.

Хорошо помню многочисленные приезды Хрущева в Новосибирск. С одной стороны, он восхищался всем увиденным в Академгородке, с другой — запрещал проекты, набрасывался на Лаврентьева: «Как вы посмели пригласить сюда вейсманистов-морганистов и даже организовать для них институт?» К каждому визиту Хрущева мы делали экспозиции, выставки, в которых были отражены достижения всех наших институтов. Экспозицию же биологов всегда держали под замком, чтобы лишний раз не напоминать о них, чтобы не вызывать гнев и раздражение высокого начальства. Попросят — откроем, не вспомнят — тем лучше. В свой последний приезд Никита Сергеевич привез с собой дочь Раду. Она, по специальности биолог, проявила интерес к экспозиции, внимательно посмотрела выставку. А когда все приехали в геологический музей, Хрущев стал в очередной раз упрекать Лаврентьева: «Что же это вы держите у себя представителей буржуазной науки?» Рада была в этот момент рядом, услышала его слова и неожиданно резко сказала: «Отец! Не на ту лошадь ты ставишь! Провалишься ты на этом! Я была там и все видела. Это самый современный уровень. Незаслуженно ты нападаешь на них». Все опешили... И сам Хрущев какое-то время был в большом замешательстве. А потом стал отшучиваться: «Видите, какие времена нынче настали! Как родная дочь со мной расправляется!» На этом инцидент был исчерпан, и больше никаких нападок в адрес биологов не было.

Приехали мы в Сибирь в то время, когда научные учреждения только начали строиться. Первое время трудились в Центральном районе, в здании на Советской, 20. Лаврентьев, когда было сдано первое институтское здание, не стал по праву сильного и главного забирать его под свое детище — Институт гидродинамики, а поделился с другими. В этом был весь Лаврентьев. Высокое благородство всегда было свойственно этому человеку.

На первых порах строительство шло не так быстро и хорошо, как того хотелось бы, и это несмотря на большой поток финансовых и материальных средств. Приходилось то и дело сталкиваться с несправедливостью областного и городского партийного руководства, откровенным местничеством. Нам широким потоком шло оборудование, строительные и отделочные материалы, но во власти обкома партии было все это направить в другую сторону — всем хотелось погреться у чужого костра. Это очень встревожило Михаила Алексеевича. Он пошел в обком и потребовал поставить под контроль все, что приходит в адрес научного центра. Секретарь обкома, предшественник Горячева, кажется, Кобелев, высокомерно и нагло заявил Лаврентьеву: «А ты кто такой? Ты расскажи, за что тебя сослали в Сибирь? Мы тебе это поможем вспомнить!» Но Лаврентьева было не запугать. Стоило его тронуть — просыпался вулкан! Он так наподдал партийному чиновнику за эти слова, что тот тут же пожалел о сказанном. Чиновничий мир всегда обуян страхом. Стоит только дать чиновнику понять, что и на него найдется управа, как любая шишка сразу превращается в ничтожество... После инцидента с обкомом

Лаврентьев добился того, чтобы строительство осуществлялось через средьмашевцев — мощную, независимую и богатую организацию, на которую местные чиновники не осмеливались накладывать свои лапы.

Основатель научного центра был человеком независимым. Его не раз приглашали быть членом бюро обкома КПСС. Но он и здесь был оригиналом и заявлял, что Новосибирск — это еще не вся Сибирь. «Если я буду состоять здесь, то что же скажут секретари обкомов других регионов Сибири и Дальнего Востока? Я хотел бы оставаться объективным, чтобы вы на меня не давили, и я на вас не давил». Это была его четкая позиция, которая, конечно же, вызывала недовольство: «Как, вы нам не доверяете?» Но он оставался непреклонным, объясняя, что должен действовать в интересах всех регионов. И делал это. Помню, как на Сахалине, куда мы послали одного из лучших ученых-нефтяников страны, его собрались исключить из партии. И только за то, что он отказался предоставить часть квартир во вновь выстроенном доме для ученых в пользу обкома. Я был в Москве в этот момент и совершенно случайно встретился в ЦК на Старой площади с Лаврентьевым: вижу, идет по коридору его высокая фигура, выбрасывая вперед длинные ноги. Я говорю: «Михаил Алексеевич, наших бьют!»

— Что такое?

— Да вот, — объясняю, — так и так.

— Идем! — Он врывается в первый же кабинет, просит позвонить по связи ВЧ, связывается с Сахалином и заявляет первому секретарю обкома: «Я узнал, что вы там хулиганите! Но это вам не пройдет! Я звоню из ЦК и сейчас же иду докладывать о ваших подвигах». На том конце провода заверили: «Не волнуйтесь, пожалуйста, сегодня же все исправим, все сделаем так, как надо!» Этим примером я хочу показать, что было такое время, когда ученым волей-неволей приходилось действовать не свойственными им методами. Но что делать? Чиновный мир только такой язык и понимает.

Энергия замыслов с не меньшей энергией перетекала в энергию дел — строительство стало идти успешно, царил дух подъема и энтузиазма. Был создан такой прекрасный научный климат, когда каждый был готов взяться за любую задачу, — лишь бы страна в ней нуждалась! Процветала атмосфера дружбы, творческого взаимодействия между науками, создавались пути, способные закрепить достигнутое и развить далее. Михаил Алексеевич был человеком демократическим, доступным, но очень крутого и сильного характера. Он был нетерпим к людям чванливым и заносчивым. Его обожали и... боялись.

Перед отделением Лаврентьев ставил три основополагающие задачи: первая — развитие науки, вторая — немедленное продвижение достижений науки в народное хозяйство, в промышленность, третья — подготовка смены. Он учил нас не только провозглашать эти принципы, но и претворять их в жизнь организационными мероприятиями. И эти задачи начали зримо воплощаться — был создан круг внедрения. Министерства размещали своих разработчиков в городке, чтобы они имели возможность напрямую подпитываться самыми свежими достижениями науки и, благодаря сотрудничеству с нею, быстрее применять их на практике.

Возьмите для примера известную на всю страну физико-математическую школу. Это была идея Лаврентьева — искать таланты. Он говорил: «Ломоносов пешком пришел из Архангельска в Москву, чтобы показать свои способности. Мы же должны искать таких, как Ломоносов, находить их и готовить из них специалистов и ученых». Так появилось прекрасное учебное заведение, которое и сейчас готовит высококвалифицированные кадры.

А университет?! Несмотря на то, что он принадлежит Министерству высшего образования, мы о нем заботились куда больше, чем министерство. Ректор университета неизменно избирался членом Президиума Сибирского отделения, и благодаря этому была счастливая возможность напрямую решать проблемы, усилиями всего содружества ученых преодолевать возникающие трудности. Поэтому университет очень быстро набирал силы и, как мне представляется сейчас, является если не первым, то по крайней мере вторым в стране по своей значимости, по уровню подготовки кадров.

Просто удивительно, как быстро «сибирская глушь» преображалась, превращаясь в центр передовой науки. Сюда считали необходимым приезжать многие лидеры ведущих мировых держав. Они приезжали и восхищались. Новосибирск гремел! И сама Сибирь в целом начала стремительно развиваться благодаря открытию крупных месторождений, их разработке и освоению, благодаря найденному богатству, таившемуся в ее недрах. Я порой думаю: что бы мы делали сейчас, если бы не было сибирской нефти, сибирского газа? Мы бы давно стояли на коленях перед Западом!

...Когда сняли Хрущева, начали подбирать ключи и к Лаврентьеву как к его любимцу. Искали повод, чтобы быстрее от него избавиться. Стали очень пристально присматриваться к его здоровью и просто «выдавили» его. Лаврентьев согласился на отставку лишь после того, как получил заверения, что его пост займет его последователь и соратник Гурий Иванович Марчук. Но, конечно же, сам Михаил Алексеевич был очень огорчен преждевременной отставкой — он мог бы еще лет пять как минимум энергично и блестяще руководить начатым им делом.

Лаврентьева не стало в 1980 году. Но школа его жива. И даже тот факт, что сейчас, в этих тяжелейших для ученых условиях Сибирское отделение не только выживает, но и живет, и двигает науку, говорит о том, что жива лаврентьевская закваска.

Недаром сам президент большой Академии заявил, что ученые страны должны учиться у сибиряков. В настоящее время доля сибиряков в общем составе Академии составляет всего 20 процентов, но эта небольшая доля стоит остальных восьмидесяти!

Наталья Притвиц

1959г. 28июня. Шесть-семь щитовых домиков на опушке леса, чуть в стороне бревенчатый домик Лаврентьева, а внизу, у самой Зырянки, временные лаборатории — все это и есть Золотая долина. С нее в прошлом году начался Академгородок.

Между домами — березы, молодые сосенки, трава полна цветов и солнечных бликов. Научные сотрудники ходят босиком и в майках, точно в Доме отдыха. Но отдыха нет и не предвидится. Только теперь я поняла, какие мы лопухи, что до сих пор сидели в Москве. Здесь уже давно полным ходом идет работа. Забот и хлопот уйма.

Живу пока в щитовом домике у Пелагеи Яковлевны Ко-чиной. Квартира академика обставлена причудливой смесью из чешского мебельного гарнитура «Аллон», ящиков из-под яиц, апельсинов и химреактивов, в которых приехал багаж.

15 августа. Первый институт города — гидродинамики — вступил в строй. Под его крышей обитают сейчас еще пять институтов: теоретической механики, теплофизики, катализа, органической химии и неорганической химии. Самые беспокойные — химики. В их владениях на втором этаже постоянно господствуют резкие запахи. А недавно они вынудили институт перейти на осадное положение — напустили во все коридоры хлор.

Хотя из всех задуманных институтов построен только один, но с первого сентября начнет работу НГУ, предназначенный ковать научные кадры для Сибирского отделения.

Здание университета еще в чертежах, поэтому кадры куются в помещении школы. Говорят, что в НГУ процент академиков среди преподавательского состава самый высокий в стране. Что касается молодых научных сотрудников, то они начали на общественных началах вести подготовительные курсы. Думаю, именно благодаря им на первый курс поступили многие строители университета. 12 октября. Ветер дул целый день, все крепчая и крепчая. Низко-низко гнулись деревья, лепил мокрый снег, ветер свистел и выл на все лады. В половине двенадцатого внезапно погас свет. На улице все усиливался скрип и треск — это ломались и падали деревья. Наутро перед нами предстала полная картина ночного урагана. Между моим и соседним домом сломало пять сосен диаметром по 25—30 сантиметров, стволы валялись на земле, а один разворотил крышу. Весь лес теперь полон бурелома, то и дело попадаются вывороченные с корнем деревья. Берег Обского моря перерыт волнами, закидан торфом и топляками. Словом, Сибирь решила показать, что она вовсе не такая еще покоренная. Мол, знай наших!

1960 г. 5 января.

Мороз. Какой мороз стоит!

Все проморожено насквозь,

И слышно даже, как скрипит

Промерзшая земная ось...

Мороз действительно изрядный. Правда, хрупкая мечта Юры Фадеенко — минус 50 — так и не сбылась: не хватило трех градусов. Лично меня удовлетворяет и то что есть. Недавно обзавелась градусником и получила возможность экспериментально изучить термику своей комнаты. Обнаружен градиент температуры по вертикали — около нуля на полу и плюс 15 на уровне головы, а также в продольном направлении

— от плюс 25 возле печки до минус 5 на окне.

Печка у нас одна на две комнаты, топим ее по очереди: Володя Кудинов, проректор университета, и я. Делается это так. Сначала надо бежать к общественной куче угля, что посередине долины, и отбивать его ломом, если мороз, или откапывать из-под снега, если метель. Потом растопить дровами, забросить порцию угля, и тогда уж пойдет такой треск и жар, что любо-дорого.

Заготовке дров обычно посвящается часть воскресенья. Расколоть суковатую чурку с одного удара — это особый шик. Вообще рубка дров — одна из любимых молодецких забав Золотой долины, так что из-за топора бывает чуть ли не драка.

13 февраля. По утрам, когда мы протоптанными тропинками спешим в институт, нам попадаются навстречу другие долиницы — те, что работают внизу у самой Зырянки в бараках, громко именуемых лабораториями. Там под обледенелым брезентовым шатром крутится знаменитое колесо Богдана Войцеховского — кольцевой лоток, а в бараках проектируются, изготавливаются и испытываются детали другого чуда — гидропушки, способной струей воды пробить бетонную плиту и крошить горные породы.

Долинцев можно сразу узнать по их унтам, дубленным полушубкам и таким же продубленным на морозе лицам — они ведь целыми днями работают почти что под открытым небом.

У самого Богдана горло вечно завязано шарфом, он постоянно простужен и часто совсем без голоса. Для него нет ни выходных дней, ни отпуска. Он одержим бесчисленными идеями, которые не дают ему покоя. И кажется иногда сошедшим со страниц книги об ученом-фанатике. А отдел его, между прочим, один из самых продуктивных в институте.

6 апреля. В институт продолжают поступать новые сотрудники. Все хорошие ребята, но в семье не без урода. Вчера ставила на комсомольский учет одного типа.

Страшный хлюпик, три дня как приехал, а уже собрался обратно. Ноет, не переставая, о своей горькой судьбе, о том, что здесь дыра, грязь и изотопы в воздухе, что ужасный климат и чудовищные условия, бездорожье и бескультурие. И откуда такие берутся?

28 октября. Накануне ноябрьских праздников состоялось массовое вселение в новые дома. Прощай, Золотая долина! Из аборигенов там остались только сам Михаил Алексеевич Лаврентьев с женой Верой Евгеньевной, да еще «три мушкетера» — Тришин, Титов и Фадеенко. Мушкетеры занимают две комнаты. В маленькой тесно стоят три кровати, в большой — стол для пинг-понга.

Я теперь владею комнатой в 13,56 квадратного метра на четвертом этаже крупнопанельного дома. Перед окнами лес. Просторно, удобно, света и воздуха хоть отбавляй.

Водопровод что ни день выдает новые сюрпризы — то из крана, как из гидропушки, со страшной силой стреляет ярко-рыжая жижа, то ночью унитаза начинает издавать жалобные вопли и стенания.

Горячая вода, если она есть, неизменно имеет цвет и запах дегтя. Оптимисты утверждают, что она обладает целебными свойствами. Все это, как говорится, трудности роста. Для утешения сочинена песенка: Если отопление в доме отключили, Нет воды холодной и горячей нет, Вспомните, как раньше эскимосы жили, Как они вообще не мылись много-много лет... 1961 г. 3 января. В дополнение к новогоднему номеру стенгазеты выпустили на трех листах картона фотохронику за год. Оказалось, почти все у нас было первое: первые выборы, первая демонстрация, первый магазин «Книги».

Под заголовком «Даешь строителей коммунизма!» помещалась подборка фотографий первых уроженцев Академгородка. Наибольшим успехом пользовались Толя Бузуков-младший, заснятый в кульминационный момент рева, и братья Минины — Олег и Игорь, стоящие рядышком в своей кроватке. Владлен Минин приспособил к ней моторчик, и теперь дети физика укачиваются с помощью электроэнергии. 6 марта. На расчет паводков, которыми мы сейчас занимаемся, появился спрос — в частности, в ленинградском отделении «Гидроэнергопроекта», которое проектирует Зейскую ГЭС. Им надо уметь точно рассчитывать режим реки при наводнении при наличии ГЭС и без нее. А это не так просто. А в Академгородке событие. В конференц-зале Института геологии открылся клуб Сибирского отделения. Показали фильм! Теперь мы можем смотреть все «дома».

30 октября. На днях Дерибас показывал свой фильм, посвященный подводному взрыву. Высокоскоростная съемка сделала почти мгновенный процесс как бы растянутым во времени. При этом стали видимыми интереснейшие вещи. Такой фильм захватывает больше, чем иной художественный. А самое замечательное то, что эксперименты Дерибаса удивительно красиво подтвердили выводы, полученные Стасом Полежаевым теоретически. Получить новый результат — само по себе ценно. Но когда это сделано чисто и изящно, в этом уже есть некая научная эстетика.

Декабрь. Готовим к новогоднему номеру традиционный материал по итогам года. Год-то, оказывается, был выдающийся — 12 защит! Незаметно, потихоньку недавние аборигены Золотой долины стали кандидатами наук. И уже вполне привычно звучит: лаборатория Титова, лаборатория Минина, лаборатория Кузнецова, лаборатория Бузукова...

1962 г. 10 июня. В институте все вкалывают. Ученого секретаря одолевают заботы по предстоящей выставке научных достижений.

Строители вышли, как видно, на финишную прямую и теперь жмут изо всех сил. Вот-вот будет сдан Институт математики. Дома поднимаются со сказочной быстротой, в лесу коттеджи растут прямо как грибы после дождя. Микрорайон «В» радуется глаз яркими красками. По дороге в долину появилось два новых магазина (никак не могу привыкнуть к виду витрин с манекенами в окружении леса). Благоустроены автобусные остановки, на Академической в одну ночь появились телефонные будки, и из них действительно можно звонить.

Улицы и дома утопают в цветах. По официальным данным, Академгородок — самый богатый цветниками город Сибири!

3 августа. Приходили ребята из летней физико-математической школы. Мы им показывали в лотке гидравлический прыжок. До чего они дотошные, просто ужас: — А бывает прыжок в обратную сторону?

— А что, если часть дна сделать подвижной и ускорить в этом месте поток?

Я еле успевала соображать, что отвечать. Если вот такие придут в университет, а оттуда — в исследовательские институты, за науку можно не беспокоиться — она попадет в надежные руки!

1963 г. 10 августа. У нас наступила эпоха международных контактов. В Академгородке проходит советско-американский симпозиум по дифференциальным уравнениям с частными производными. Прибыли 25 американских ученых, среди них такие известные, как Курант, Лаке, Рихмайер и 100 человек наших, тоже все сплошь авторы книг и монографий.

В нашей многотиражке опубликовано интервью с профессором Курантом. Он называет городок великолепным научным учреждением и восхищается огромной

работой пионеров науки.

28 сентября. Вот он состоялся, наконец, первый Всесоюзный семинар по применению электронных вычислительных машин в гидравлике, задуманный нами еще около года назад. По существу, впервые собрались вместе специалисты по математике, гидродинамике, гидравлике, гидрогеологии, гидротехнике, чтобы обсудить проблемы, которые ни одна из этих наук не может решить в отрыве от других.

В последнее время стал модным афоризм: «Открытия делаются на стыках наук». Но горько ошибается тот, кто думает, что стоит только выйти на этот стык, как впереди засветят открытия.

Конференц-зал Института гидродинамики был полон. Рядом с молодыми вычислителями сидели седые проектировщики. Присутствие таких специалистов-математиков, как Г. И. Марчук, директор нашего вычислительного центра, и С. К. Годунов, обеспечило высокий уровень критики с учетом последних достижений вычислительной техники. Инженерные науки тоже не остались в долгу, так что разгорались славные баталии.

Приятно сознавать, что Сибирское отделение не ударило лицом в грязь, наша работа по паводкам на семинаре получила достаточно высокую оценку. Наши ребята все ходят именинниками.

1964 г. 20 июня. Академия наук пополнилась новыми членами. По Сибирскому отделению избрано еще 4 академика и 14 членов-корреспондентов. Среди них гидродинамики Б. В. Войцеховский и Л. В. Овсянников. Между прочим, оба они защищали докторские диссертации уже здесь, в Сибири.

3 августа. Удивительное создание — электронная вычислительная машина! Сработанная из совершенно неодушевленных диодов, триодов и прочей электроники, она приобретает какие-то человеческие черты. Она, видите ли, плохо переносит жару: она может «уставать» и «ошибаться», если слишком долго работает без остановки. Наконец, она может быть «не в духе» и тогда жует и выплевывает перфокарты неудобных ей задач.

Сейчас жара. И наша задача — она относится к сложным — идет только при самом лучшем «настроении». Словом, мы «загораем». Отчаявшиеся ушли в отпуск. Юлька мечтательно сообщает:

— Вот заработает машина, буду считать ночами...

— Зачем ночами?

— А ночью у нее режим более устойчивый. Тихо, прохладно.

11 августа. Заработала! Но не та «старушка», а совершенно новая, смонтированная в только что сданном здании ВЦ! В боковых крыльях здания еще вставляют стекла, а в средней части уже мигает огоньками и щелкает задачи новехонькая машина.

Рядом — еще одна, такая же, ожидающая отладки. Теперь жить можно!

Хотя мы и привыкли к темпам роста городка, но в один прекрасный день, посмотрев вокруг себя, снова поражаешься тому, что возникло на наших глазах.

Еще шесть лет назад все было условно, как декорации во времена Шекспира.

Проспекты укладывались по фундаментам домов, возле штабелей кирпича и бетонных плит стояли таблички «Институт ядерной физики», «Институт математики». Рассказывают, как однажды маленькая девочка, увидев огромный котлован, спросила: «Мама, а что тут посадят?» И мама ответила: «Институт».

Теперь все это осталось в фото пленках и воспоминаниях. Не узнать и Золотую долину. Наши щитовые домики давно разобраны, на месте их у опушки березовой рощи пестреют разноцветные кубики коттеджей. Их официальный почтовый адрес:

улица Золотодолинская. Когда-то, идя на работу мимо строящихся домов и башенных кранов, мы вспоминали строки Маяковского: «Я знаю, город будет». Теперь он есть!

Владимир Чикинев

Люблю иногда побродить по Новосибирску, по его прекрасным центральным улицам. Ничего не скажешь — стольный город! Настоящая сибирская столица! Говорю это вполне объективно, потому что бывал во всех соседних областях, в административных центрах и могу говорить с уверенностью, что Новосибирск выгодно отличается от всех старинных и тем более молодых сибирских городов. На нем нет провинциального налета: он активный, бурный, деловой, такой, каким и полагается быть стольному городу.

Невольно сравниваю Новосибирск сорок девятого года, когда я впервые встретился с ним, и Новосибирск нынешний. Каким он был тогда захолустьем! Порядок, цивилизованность были только на Красном проспекте, а чуть свернешь в сторону — тебя обступают жалкие лачужки, бараки, грязь. Особенно отсталым был левый берег. Связь с ним осуществлялась только через железнодорожный мост, через пригородный поезд, который называли передачей. Говорят, это название пошло от того, что на левом берегу находилась тюрьма, и когда начались массовые аресты, многие ездили, чтобы передать передачу своим родным. Так с тех пор и пошло — передача!

Это сегодня приятно смотреть на высокий левый берег, на его красавцы-дома, начинающие Ленинский район. А в то время взгляд, брошенный через Обь, встречал лишь пустыри да невзрачные домишки. Вокруг «Башни» — картофельные поля горожан. Я там тоже картошку сажил. Первый корпус НЭТИ, возводившийся в 1954 году, появился в окружении кустарников, картофельных полей да расположенного неподалеку кладбища. Вот такая была картина на месте крупнейшего в городе вуза. И только далеко, в самой глубине левобережья, разрозненно стояли настоящие городские дома. Их называли соцгородом. Транспорт — кольцевой трамвай, которого никак не дождешься. Лучше уж пешком. В то время я жил как раз в соцгороде, в семиэтажном общежитии на улице Станиславского, а работал на «Сибсельмаше». По сегодняшним меркам — далеко. Но мы ходили пешком, нахаживая ежедневно немалые километры.

Начал я свою трудовую карьеру помощником мастера, за моими плечами было специальное образование — техникум. Однако зарплата моя была очень маленькая, как, впрочем, и у всех в то время. Мой заработок составлял 790 рублей, его едва хватало на еду. В заводской столовой, в зале комсостава, обычный обед стоил дорого. Зато водка была дешевая — всего 2 рубля 52 копейки. На одежду приходилось собирать по крохам. Поэтому был у меня лишь единственный костюм и выдавшая виды, на все случаи жизни шинель. Возможно, если бы не постоянные займы государства, жилось бы полегче. Но нас обязывали ежегодно подписываться на оклад, а то и на два. Так что жилось трудно. Но, как ни странно, прилавки магазинов ломались от деликатесов — икра, красная рыба были всегда. Но их никто не покупал — и потому, что денег у народа было мало, и потому, что привычки к этой еде не было. После смерти Сталина изобилие это стало потихоньку исчезать, а потом, при Хрущеве, появились очереди даже за хлебом.

Моя карьера складывалась успешно — вскоре я стал мастером, затем конструктором, секретарем комитета комсомола комбината. На этой должности меня заметили и выдвинули секретарем обкома ВЛКСМ. Когда я вышел из комсомольского возраста, продолжать карьеру по партийной линии категорически

отказался и вернулся на завод, где работал в должности главного экономиста. А с 1973 года судьба распорядилась так, что моя жизнь самым тесным образом стала связана с городом: председатель горплана, управляющий строй-банком, затем — председатель горсовета. Вплоть до 1988 года я был неизменным членом городского Совета депутатов. Пусть на меня не сердятся мои товарищи, которые трудились на партийных должностях, если я скажу, что работать в органах исполнительной власти было гораздо труднее, чем в партийных структурах. Потому что нам надо было не руководить, а работать, а это, согласитесь, не одно и то же.

Мы были зависимы от партийных властей и согласовывали с ними почти каждый свой шаг. Выполняя конкретную, практическую работу, мы были обязаны постоянно подчеркивать, что без партийных органов мы бы ничего никогда не смогли претворить в жизнь. Если мне случалось давать интервью журналистам, то я обязан был начинать со слов: «Местные Советы под руководством партии сделали то-то и то-то». Встреч с прессой я избегал, но случись мне появиться в эфире, назавтра слышал недоуменное: «А что это ты, интервью какое-то даешь?» То есть постоянно давали понять, чтобы знал свое место, не высовывался, что, кстати, я и делал. Мое дело было работать. Это сейчас мэр свободно информирует население о своих планах и проблемах и не оглядывается, слава богу, на партийное руководство. Но я не хотел бы мазать черной краской то время. Выход к людям, к рядовым труженикам у меня был прямой. Это политучеба. Была раньше такая практика, когда в единый по-литдень — раз в месяц — руководители всех рангов города и области выбирались в трудовые коллективы и выступали перед людьми, отвечали на их вопросы, выслушивали их запросы и требования, обменивались мнениями. Это было полезное дело, которое помогало городским властям осуществлять непосредственную связь с населением, из первых рук узнавать о наиболее острых проблемах.

Хорошим помощником городского Совета в деле информирования горожан был и депутатский корпус. Он был огромный — 500 человек! Фактически каждый микрорайон города имел своего представителя в Совете. Сегодня в горсо- ^ вете маленькая группка депутатов. Они страшно оторваны от своих избирателей и занимаются в основном политикой, мало интересуясь проблемами граждан, их избравших. Принято думать, что депутаты при советской власти не столько избирались, сколько назначались, и поэтому они лишь аплодировали и соглашались со всем, ничего не решали самостоятельно, ничего не делали. Были, конечно, и такие. Но подавляющее большинство депутатов очень честно относились к своим обязанностям и делали много добрых дел, исполняя указы избирателей.

В период предвыборных кампаний кандидаты в депутаты записывали эти указы, которые потом тщательно изучались, обобщались, рассматривались. Что можно было выполнить, что было реально, мы брали на заметку, ставили в план и неизменно отвечали гражданам, когда их наказ будет осуществлен. И депутаты не давали нам дремать, следили, как он выполняется, теребили, требовали, не давали покоя. Благодаря депутатскому корпусу мы имели возможность хорошо знать почти все аспекты жизни людей, имели живую связь с новосибирцами.

Придя на работу в горсовет, я принял команду моего знаменитого предшественника — Севастьянова, отдавшего служению Новосибирску двадцать лет своей жизни. Я горжусь тем, что оказался его преемником. Он был удивительным человеком, честно служившим людям. Во имя этого служения он отдавал всего себя, не щадил, горел на работе.

Вы знаете, какой ценой дались городу, скажем, водоочистные сооружения? Об этом

как-то никто не задумывается, вроде все делалось само собой. Севастьянов был одним из первых, кто настаивал на необходимости очищения стоков в реку Обь, которая, извините за такое слово, была просто помойкой — столько грязи туда стекало. Будучи председателем горплана, я неоднократно вместе с Севастьяновым ходил по московским кабинетам, добиваясь разрешения строительства. Мы побывали у двенадцати (!) министров, и нас просто выгоняли из кабинетов и откровенно хамили: «Мы вам ничего не обязаны!» Он зажимал свое достоинство в кулак и снова стучался в те же двери, терпел оскорбления московских чинуш. У него я научился сдерживать желание послать все к чертовой матери и уйти на спокойную работу, научился сжимать зубы и не отступать при неудачах.

Иван Павлович добился своего — очистные сооружения начали строить. 620 тысяч кубометров сточных вод идет сегодня через них. Это такая масса воды, что человеческому сознанию трудно даже вообразить этот объем. А теперь представьте, если бы в пресловутые годы застоя мы бы не построили, скажем, левобережный водозабор с его прекрасной системой очистки питьевой воды? 250 тысяч кубометров чистой воды город получил именно в те годы. Что бы мы делали сейчас, не построй тогда эти сооружения?

Так что если кто-то думает, что быть председателем горисполкома, то бишь мэром, легко и приятно, кто думает, что это представительская, почетная должность, тот глубоко заблуждается. За все, что происходит в городе, буквально за все отвечает мэр — от исправного функционирования всего огромного городского хозяйства, от четкой работы всех служб жизнеобеспечения города до работы на перспективу, на будущее. Поэтому, решая вопросы текущие, надо прокладывать новые дороги, строить дома, больницы и так далее. Если этого не будет, город обречен на прозябание.

Постоянная забота мэрии — жилье. Его не хватало всегда, и отчаянно не хватало. А ведь строили мы, начиная с шестидесятых годов, и много, и интенсивно: ежегодно сдавали 500—600 тысяч квадратных метров жилья, а это свыше десяти тысяч квартир! За пять лет моего пребывания на посту председателя горисполкома мы построили 52500 квартир!

Строили в основном на Затулинке, на Юго-Западном и на Восточном жилмассивах. Это была принципиальная политика Севастьянова, которую продолжил и я, — не строить в центре города типовые дома, не уродовать его примитивными в архитектурном и эстетическом плане зданиями. Благодаря этому сейчас здесь почти нет безликих панельных домов, центральная часть застраивается зданиями с оригинальной архитектурой, становится своеобразнее, интереснее. И мы создали для этого предпосылки.

Начиная строительство на новом месте, на пустыре, надо было предусмотреть и полное жизнеобеспечение жилых массивов — детские сады, школы, больницы, магазины. Конечно, все эти объекты соцкультбыта сильно отставали от темпов строительства жилых домов, но тем не менее строительство все-таки велось комплексно, с полным учетом потребностей людей.

При ведении строительства неизменно возникали две острейшие проблемы, которые мы никак не могли решить в силу разных причин. Первая — дефицит строительных материалов и комплектующих. Вторая — нехватка строительных организаций, подрядчиков. Вы, наверное, помните, что мы нередко были вынуждены принимать в конце года дома с недоделками и шли на это, закрыв глаза, потому что далеко не всегда строители были виноваты в срыве плановых работ — им приходилось простаивать то из-за отсутствия кирпича, то нехватки раствора... С

каждым годом становилось все труднее добиваться планового поступления необходимых материалов. Простаивая днями, а то и неделями, подрядчики были вынуждены потом гнать авральными темпами — какое уж тут качество! Чтобы обеспечивать строительные работы всем необходимым, мы были вынуждены посылать своих эмиссаров по многим городам и весям страны. Так, за лифтами надо было ездить в Самарканд, уговаривать и всячески улещать нужных чиновников, чтобы отгрузили лифты в наш адрес. За каждым пустяком надо было обращаться в Москву. Мы работали в условиях цейтнота, только не денежного, как сейчас, а ресурсного. Так же, как сейчас мэр бьется, добывая деньги, мы бились, добывая трубы, отделочные материалы.

Как я уже сказал, несмотря на большой объем строительства, очередь на получение жилья не уменьшалась. На прием в разные кабинеты шли в основном люди, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Я старался принимать регулярно, раз в месяц. Ненормально, если к мэру попасть труднее, чем к министру. Я плевал на всякие там заседания, если они были в этот день, и вел прием — это было святое. Бывало, запишутся человек 20, а примешь все 40, потому что порой по одному вопросу приходит целая группа. После приема неизменно намечаешь себе пять-шесть визитов. Всегда хотелось самому приехать на место, разобраться что и как. Для таких поездок специально держал в машине резиновые сапоги — по нахаловкам, по городским трущобам лазить. В районе Каменки, Ельцовки люди жили в хибарах, в аварийных домах. Иной раз после таких поездок за сердце хватается — плохо, плохо еще люди жили. Насмотрелся и горя, и беды людской. Но, к слову сказать, мы тогда людей на произвол судьбы не бросали, а старались обязательно помочь. Те, у кого не было чрезвычайных обстоятельств, квартиры ждали годами, но рано или поздно очередь подходила, хоть и двигалась медленно. Но все-таки двигалась! Люди знали, что все равно получат квартиру, что государство их обеспечит. А сейчас жилье строится только для богатых людей — это неправильно, это безнравственно.

Но я не склонен идеализировать былое время — промахов, ошибок, непредусмотрительности было немало. Возьмем, к примеру, такой большой вопрос, как растянутость города. Вы только представьте: протяженность новосибирских улиц составляет 1300 километров — хватит до Омска доехать и обратно вернуться! А заасфальтировано из них только 400 километров. Общая площадь города составляет 477 квадратных километров, а селительная территория занимает всего 9 процентов! Остальное — промышленные зоны, овраги, лесные массивы, водное пространство, парки. Парки и лесные массивы — это здорово, это хорошо. Но разбросанность очень усложняет обслуживание города, делает его крайне дорогим. Посчитайте, сколько дополнительных затрат для прокладки лишних километров теплотрасс, сколько надо лишнего бензина и сколько лишних автобусов для доставки людей на далекие расстояния, сколько надо дополнительной теплоэнергии и прочее, и прочее.

Кроме жилищного вопроса немало в городе и других злободневных проблем, требующих своего решения. Реконструкция оперного театра назревала много лет. Но чтобы к ней приступить, надо было разом освободить левое крыло, в котором проживало ни много ни мало — 83 семьи! Всем этим людям надо было сначала предоставить квартиры... Требовал внимания и позорный городской долгострой — ТЮЗ, тринадцать лет ожидавший внимания к себе. Тогда же отреставрировали старый торговый корпус для краеведческого музея.

Кроме всех этих проблем была в Новосибирске еще сверхпроблема, сверхзадача —

метро! Это самый дорогостоящий и самый ответственный объект. Для того чтобы приступить к его реализации, надо было строить обводные дороги, выносить коммуникации. Но это не самое тяжелое. Самое тяжелое — ездить на поклоны в Москву за каждой малостью. Нужен мрамор — в Москву! Нужны специалисты-отделочники — в Москву! Нужны эскалаторы — опять в столицу! Это сейчас можно все купить без всяких разрешений и виз, без унижения все что заблагорассудится, а тогда без московского чиновника ничего нельзя было решить.

Москва жила всегда как бы отдельно от страны, забирая себе без угрызений совести все самое лучшее. Спрашивается, надо ли подметать город? Ответ, кажется, ясен. Но машин для уборки улиц нам не давали. Мы ездили, упрашивали, чтобы нам дали хотя бы бывшие в употреблении уборочные машины...

Самостоятельности у нас было очень мало, и это весьма тормозило развитие города и его промышленность.

Как-то принимали мы у себя короля какого-то крошечного африканского государства, где все население — 103 тысячи душ. Вместе с королем прибыло многочисленное руководство этой карманной страны — министр промышленности и министр авиации, в распоряжении которого находилось всего два самолета. Прекрасно помню, с каким внутренним снисхождением мы принимали этого вельможу, который по нашим понятиям не тянул даже на нашего председателя райсовета. Но когда мы стали беседовать, выяснилось, что нам можно кое-чему поучиться у жителей этой банановой республики. Они предложили нам купить производимые ими мини-тракторы, траншейные тракторы для прокладки теплотрасс, сельхозтехнику и многое другое, показывая при этом на великолепно изданных каталогах, как выглядит эта техника. Крошечная страна, занимающаяся сборкой, построила свое благополучие, торгуя современной техникой со всем миром! А разве мы, с нашим-то необъятным промышленным потенциалом, не могли бы выпускать необходимую нам продукцию, будь у нас больше свободы в решении своих проблем? После этого визита мы многое передумали, поняли, какой простор дает рыночная экономика, что значит экономическая самостоятельность. Вот так мы отбросили свое державное высокомерие, но изменить что-то были не в состоянии — не от нас сие зависело...

И все-таки сильный руководитель, сильный лидер, несмотря на все препоны царившей системы, мог решать большие задачи. Иван Павлович Севастьянов был именно таким руководителем. Городу повезло, что во главе исполнительной власти стоял такой человек. Многие решалось его авторитетом, его напористостью, его решительностью. Взять, к примеру, историю Вокзальной магистрали. Это была его идея — прорубить диагональную улицу, ведущую на вокзал. Все были против — я имею в виду областных руководителей. Но все-таки он пробил и свою идею, и магистраль. Теперь к вокзалу есть кратчайший путь. Мало того — улица придала центру города новый облик, который очень выиграл в эстетическом, в архитектурном плане. Севастьянов был созидателем, низкий ему поклон за это. Однако, как любой человек, он не был лишен и человеческих слабостей. Так, он очень не хотел строительства городского крематория. Как-то он меня спросил: «Ты хочешь, чтобы тебя сожгли?» Я, естественно, ответил, что не хочу. «Вот и я не хочу, поэтому торможу работы по его возведению. У нас в Сибири земли много, обойдемся пока без этого сооружения. Так что и ты проводи ту же линию». Так мы пока и не имеем крематория, хотя проектные работы были проведены...

А вот вопрос мусоропереработки казался нам гораздо актуальней — горы мусора, окружающие город, требуют своего решения. Ленинградский завод, выпускающий оборудование для мусоропереработки, делал это довольно плохо, а купить за

границей оборудование мы не могли из-за отсутствия валюты, да это все равно не решило бы нашу проблему, потому что характер наших бытовых отходов сильно отличается от западного. Нам надо было искать свой путь. Но тут началась перестройка, и эту задачу отодвинули на второй, если не на последний план. У города сейчас свои проблемы, которые решает уже другое поколение. И это уже другая история...

Александр Чернобровцев

Осмысливая сейчас свой пройденный путь, я прихожу к выводу, что принадлежу к поколению Победы, к тому поколению, которое чувствовало свою причастность к этому великому событию. Мы, мальчишки того времени, жаждали сделать что-то значимое для своего народа, для своей страны. А страна лежала в развалинах... И вот в правительстве, в ЦК партии было принято решение готовить художников, которые помогли бы восстанавливать города. В Москве открылось Строгановское училище, в Ленинграде — Мухинское. Окончив его, я приехал в Новосибирск, еще не вполне понимая, что я — художник.

И моя судьба столкнулась с этим городом, который словно бы ждал нас. Хотя никто еще толком здесь не знал, что такое монументальное искусство, даже слово «монументализм» плохо выговаривали, но вся атмосфера Новосибирска дышала потребностью в искусстве.

Когда я по своей инициативе, на свой страх и риск сделал проект сквера Героев революции и отнес его руководству, то наш председатель облисполкома сразу сказал: «Вот молодой художник предложил сделать панно. Давайте его поддержим!» И мне, такому молодому, поручили выполнение этой работы. Так сквер Героев получил новый облик. Так же была поддержана идея сделать росписи в ресторане «Центральный», эстетически оформить его, хотя проще было бы сделать обыкновенный ремонт, а не закрывать доходное учреждение на целый месяц... В людях была жажда красоты!

А теперь о главной моей работе — о Монументе славы. Его появление имеет свою предысторию. Она началась с того, что я оформил Музей боевой славы в Доме офицеров. Работа понравилась, и меня пригласили оформить и краеведческий музей, который находился тогда на углу Красного проспекта и улицы Свердлова, рядом с обкомом партии — в этом здании теперь находится выставочный зал Союза художников.

Начал я эту работу с вывески. Она должна быть необычной, объемной и стоять на газоне. Художники оценили неожиданное решение, но его вдруг зарубили на архитектурном совете. Стали почему-то говорить, что возле обкома партии стоит статуя Ленина, вся в кустах, из-за которых его совсем не видно — торчит одна рука. Главный архитектор города Скобликов сказал: «Надо сначала решить, что делать с Лениным, а потом думать, что еще устанавливать на проспекте». Я, конечно, разволновался: при чем тут моя вывеска? Я же столько времени работал, думал! Словом, обиделся и поделился своей обидой с секретарем горкома Прасковьей Павловной Шаваловой. Она меня выслушала и вдруг заявила: «Ты тут всякой ерундой занимаешься... Вот ты сделал панно героев гражданской войны. Делай панно об Отечественной!»

Я слегка опешил: «Прасковья Павловна, но ведь нет такой большой стены. Я же монументалист. Мне стена для работы нужна». Тогда она со свойственной ей категоричностью отрезала:

— Найди место, а стену мы тебе сделаем!

И я пошел искать место. И нашел! Большой пустырь в Кировском районе, на котором по генеральному плану развития города ничего не собирались строить — вся территория отводилась под зеленую зону.

— Делай эскизы! — сказала Шавалова.

— Давайте сначала заключим договор.

— Ну, раз ты ставишь всякие условия, то ничего не сделаешь...

Разговор кончился ничем, и, огорченный, я ушел из горкома. Переживал очень — жалко было идеи. Это была МОЯ тема! МОЯ! Хотя мне по возрасту и не довелось воевать, война прошла сквозь мою судьбу, и я как художник видел свою гражданскую миссию в этой работе. Долго думал, что же делать, и решил пойти в Кировский райком партии, к первому секретарю Владимиру Федоровичу Волкову: — Как раз перед вашими окнами я хотел бы сделать панно, посвященное подвигу наших земляков в Великой Отечественной войне, — и объяснил, какой разговор у меня состоялся в горкоме.

Волков сразу подхватил эту идею и сказал:

— А мы вот как поступим: мы никого не будем ни о чем просить. Все сделаем сами! Поднимем все заводы, всех людей района и сделаем!

Так этот человек мужественно взвалил на себя всю полноту ответственности за гигантское сооружение, задействовал все предприятия, мобилизовал людей. А работа была колоссальная по своим объемам и трудозатратам — одной земли надо было переверочать на 20 гектарах! Но люди, кировчане, восприняли строительство памятника как свое кровное дело, выкладывались, помогая кто чем может, проводя воскресники и субботники. Это поражало, радовало, вдохновляло. Волков потом признался мне, что среди многочисленных заводов индустриальной Кировки только один-единственный директор предприятия заупрямился и отказывался поначалу от «лишней» работы, но он его так отбрил за эту позицию, что директор понял: если он откажется, то заводчане его просто проклянут!

Работа над проектом усложнялась для меня тем, что памятник должен быть воздвигнут в глубочайшем тылу, где не было никаких сражений и спустя 25 лет после Победы, когда уже забылась кровь и начала проходить боль от потерь. Но как выразить это? Ведь величие подвига остается. И я, перебрав массу вариантов, решил сделать памятник-медаль. На одной стороне этой своеобразной медали показать народный подвиг, на другой — чего этот подвиг стоил, в какие человеческие жертвы он обошелся.

Но вот проектирование закончено, мы уже приступили к сооружению монумента. И тогда Алексей Степанович

Егоров, председатель райисполкома, человек, много сил потративший для воплощения проекта в жизнь, сказал мне: «А ты знаешь, ведь необходимо соблюсти формальность. Нужно получить разрешение городских властей на строительство!»

Пришлось мне идти в горисполком. Заместитель председателя был мне лично знаком, вот потому я и обратился именно к нему — к Александру Павловичу Филатову. Он не стал заниматься бюрократическими проволочками и сказал: «Садись и сам пиши проект постановления». Я быстренько написал емкое и очень короткое решение: «Одобрить инициативу Кировского РК КПСС по сооружению памятника новосибирцам, павшим в боях в Великой Отечественной войне, и разрешить его строительство». Чтобы проект решения обрел юридическую силу, его надо было утвердить на заседании исполкома. Филатов взял бумагу и пошел на заседание, которое должно было вот-вот начаться. Я сидел в приемной, ждал. Через некоторое время он выходит крайне смущенный: «Севастьянов против!» (Севастьянов — председатель горисполкома).

— Что же теперь делать? Ведь мы уже начали строительство!

— Делайте что-нибудь районного значения.

— Ну, если мы сделаем из фанеры, то это будет районного значения. А если из

бетона, да еще всем павшим новосибирцам, то это — не районного значения!
— Не знаю, не знаю!

И вот ведь что удивительно: этот Севастьянов так закусил удила, так противился памятнику, что до самого последнего момента ставил мне палки в колеса! Объявил вдруг конкурс среди художников на... памятник погибшим в минувшей войне! Мы строим вовсю, ведем колоссальные работы, в которых задействованы тысячи людей, истрачены немалые деньги, и вдруг конкурс на еще один памятник! И он состоялся! В нем участвовало шесть проектов. Но конкурс не дал результатов. И не потому, что все проекты были плохие (хотя почти во всех была использована фигура матери, которую я уже придумал, и фамилии погибших, которые я считаю своей находкой), а потому, что памятник должен был возводиться на набережной. Все сказали: зачем в месте, где люди отдыхают и гуляют, напоминать им о жертвах войны?

Тогда Севастьянов, огорченный тем, что не смог зарубить мой проект при помощи проведения конкурса, издал постановление о запрещении строительства памятника. Состояние мое было трудно передать словами. Казалось чудовищным, нелепым, невозможным, что такой запрет вообще мог появиться. Чем руководителю, коммунисту кажется вредным памятник? Почему? И что самое убийственное — постановление это появилось, когда работы уже близились к завершению!

Поговорить с Севастьяновым, переубедить его было невозможно: он уехал в отпуск. Иду в облисполком, к первому заму, Алексею Романовичу Штыренко. Он не верит, что такая бумага могла появиться на свет, звонит в горисполком для проверки.

Удостоверяется, ахает и бросается спасать положение. Царствие ему Небесное! Он воскресил меня тогда, вдохнул надежду. Тут же была создана группа по спасению памятника. В нее вошли Александр Павлович Филатов, который к этому времени стал занимать пост рангом выше Севастьянова — секретаря горкома КПСС, сам Штыренко, Лосев. И эти люди разработали план. Мне сказали: «За этот месяц, что Севастьянов в отпуске, ты должен успеть все!»

И началась сумасшедшая гонка. Я должен был завершить лепку рельефов, следить за созданием макета, который надо везти в Москву на утверждение, закончить чертежи и вообще переделать тысячу дел. Я и обычно-то не позволял себе расслабляться. Даже обедал не больше 15 минут, в райисполкомовской столовой меня обслуживали вне очереди, а вечерами заскакивал в соседний магазин, хватал бутылку сливок и этим был сыт. А тут пришлось так уплотнить график, что доведись сейчас повторить все это — не смог бы!

Самое трудоемкое дело — лепка рельефов. Я потом уже подсчитал, что мне пришлось обработать 24 тонны гипса. Сначала сам себе не поверил. Но все оказалось верно: 250 плит, 10 ведер гипса на каждую, всего две с половиной тысячи ведер! И как меня на все это хватило? А поздно вечером, возвращаясь домой по пустынным улицам, пел! Мой помощник так перенапрягся за этот год, что заработал себе опущение желудка и потом долго лечился, а я каким-то чудом выдержал! Лепил из глины, потом отливал в гипсе, потом эту гипсовую форму увозили на бетонный завод, укладывали все это в огромную кассету, шпаклевали щели и заливали особым составом бетона. Примечательно, что для отливки каждой формы для монумента приходилось останавливать работу всего завода, чистить камеру, делать новый состав, подавать его в цех, отливать панель, и только после этой операции можно было продолжать плановую деятельность. Технология эта занимала много времени, и завод не выполнял план. Но никто не роптал, никто не возмущался. Наоборот, люди гордились, что участвуют в таком большом и значимом

деле.

Месяц прошел. И мы сделали за этот срок все, что требовалось. Предстояло лететь в Москву за утверждением. Накануне перед отлетом я решил сходить на завод и хоть однажды посмотреть, как происходит отливка панелей. Захожу и вижу, как крановщица цепляет панель краном и та плывет над цехом. Вдруг у крановщицы что-то случилось, и она отпустила панель! Форма разбилась вдре�г, рассыпалась на мелкие кусочки! Ее надо было собирать по частицам, восстанавливать, а ведь мне утром улетать! всю ночь я провел в цехе, собирал эти осколки, соображая: это глаз? это рука? А ведь точность требовалась большая: изображение должно полностью совместиться с другими, уже отлитыми панелями. Задача усложнялась еще и тем, что это было обратное, зеркальное изображение. Но ночь прошла, и я успел!

В Москве, в Министерстве культуры, должно было начаться обсуждение моей работы. Более неудачный момент было трудно придумать: члены художественного совета только что вернулись с обсуждения монумента Вучетича для Сталинграда. Он, приближенный к руководству страны, даже не стал их слушать, а попросту выгнал из своей мастерской, считал, что может себе это позволить. Понятно, что после такого приема стали отыгрываться на мне. Начали фантазировать: зачем такая большая площадь? Давайте сделаем здесь водоем, а эти пилоны раздвинем по сторонам, а в центр поставим обелиск, и он будет красиво отражаться в воде... Так они расправлялись с моей идеей, которую я вымучивал месяцами. Вы помните, что первоначально мне нужна была стена? Но я решил отказаться от нее, так как понял, что такое исключительное событие, как Отечественная война, которая объединила весь народ, нельзя отразить на одном панно. Потом я довольно долго вынашивал идею триумфальной арки с несколькими проходами, и лишь позже пришла мысль сделать пилоны, на одной стороне которых поместить фамилии погибших земляков. Эти фамилии — основная идея памятника, его суть. И я был первооткрывателем этой идеи. Вспоминаю, как вызвал меня к себе Александр Павлович Филатов:

— Где ты видел, чтобы такое делали?

— Почему я должен это где-то видеть? Пусть другие у нас посмотрят!

А потом, в школах, в учреждениях висят ведь доски «Ушли на фронт и не вернулись».

— Да, но там 20, пусть 30 человек. А ты хочешь несколько тысяч! Это же политическое событие! Ты не понимаешь, что это такое? А вдруг мы кого-нибудь забудем?

— Оставим пустые плиты и будем заполнять их новыми именами!

— А вдруг мы кого-нибудь напишем, а он не погиб, а сбежал куда-нибудь в Бразилию или Аргентину?

— Уберем его фамилию!

В общем, за свою идею я дрался, как мог, но так и не сумел переубедить Александра Павловича. Пришел домой в отчаянии. Нет у меня больше других вариантов. Нет! Все! Надо отказываться! Опустошенный, подавленный, промучился несколько часов, а когда уже собрался лечь спать, вдруг раздался поздний звонок. Звонил Филатов: «Надо делать!» Опять меня словно воскресили! Прошло довольно много лет, и однажды мне Александр Павлович признался, что его поразила моя убежденность, Если я так дерусь за эти фамилии на монументе, то, наверное, я — прав!

Вслед за мной фамилии погибших стали помещать на памятниках по всей стране. Многие приезжали за опытом. Надо сказать, что тогда еще не было точной цифры,

сколько же новосибирцев полегло на фронтах Отечественной войны. Самые смелые думали — тысяч пятнадцать. Когда же военкоматы дали свои цифры, когда их свели воедино, то все были потрясены: тридцать тысяч! Если учесть, что население города в сороковых было чуть больше трехсот тысяч, то выходило, что погиб каждый десятый! Вот какая огромная жертва была принесена новосибирцами на алтарь войны! Тем более важно и оправданно было сооружение памятника.

Впрочем, вернусь к событиям в Москве. Члены совета, пообсуждав мой проект и не зная, что монумент-то уже почти готов, вынесли вердикт: памятник нужен, но не здесь и не такой!

Пока я «бодался» с худсоветом, Филатов и Севастьянов (уже подчиненный Филатова) были на приеме у министра культуры Кузнецова. Обратились к нему за помощью еще и потому, что этот Кузнецов был от нашей области избран депутатом Верховного Совета страны. Думали, что он «наш человек», поможет. А он начал демонстрировать свой «патриотизм»: «Сибиряки такую роль в войне сыграли! Они золотого памятника достойны! А вы тут чего сварганили? Такие вещи так не делают!» В общем поддержки не встретили. Выйдя от министра, стали мои начальники меня упрекать: «Ну и заварил же ты кашу! И как теперь ее нам расхлебывать?»

Сказать, что было тяжело на душе, значит ничего не сказать. Прилетел из Москвы поздним вечером и прямо из аэропорта — к монументу. Хожу там как потерянный. Ночь, темно, болтается на ветру одна лампочка, бросая тусклый свет то на один пилон, то на другой. И я себя чувствую точно так же, как эта одинокая лампочка, не способная растворить эту темноту. Ну почему так получилось? И что будет дальше? А дальше как в сказке: наутро меня разбудил звонок из обкома. Приезжаю к Федорову — второму секретарю. Он спрашивает: «Ну что там в Москве?» — Сказали, что приедут после 50-летия Октября и будут принимать решение на месте.

А он мне отвечает: «А мы не станем никого ждать. Будем открывать! Сами!»

Поразительно! Сколько раз этот монумент был под угрозой уничтожения и сколько раз чудесным образом воскресал!

Сейчас уже не помню, 6 или 5 ноября 1967 года состоялось торжественное открытие Монумента Славы. На митинге, по приказу первого секретаря обкома Горячева, должно было присутствовать не более 300 человек, хотя площадь вмещает пять—шесть тысяч людей. Чего-то там, наверху, все-таки боялись... Поставили вокруг милицейский кордон, привезли на автобусах делегации от каждого района города, произносили яркие речи, и монумент открыли. Севастьянов также выступал и даже зажег вечный огонь. Митинг закончился, дело сделано! Монумент стоит, горит вечный огонь. Но радости в моей душе не было — я был вконец опустошен и тяжелой работой, и бесконечными стрессовыми ситуациями. Я шел домой тяжелой походкой безмерно уставшего человека. Меня догнал Севастьянов и сказал: «Мы все равно вечный огонь перенесем с этого места в центр площади!» У меня не был сил ни возмутиться, ни возразить, и я бросил резкое: «Только через мой труп!» И пошел дальше.

Удивительно, что потом, после открытия, памятник стал сразу нравиться даже противникам его возведения: сюда привозили важных гостей, экскурсии и делегации. Прошло время, и мне дали премию Ленинского комсомола за эту работу. Помню, вскоре после вручения премии я стоял на трибуне во время первомайской демонстрации и оказался рядышком с Владимиром Федоровичем Волковым. — Премию-то надо бы поделить пополам, — сказал я ему. Он был тронут моими

словами и ответил:

— Ты знаешь, чем я рисковал? Я рисковал партбилетом! И это на самом деле так. Тем более что постановление о запрещении строительства Монумента Славы до сих пор не отменено и оно хранится где-то в городских архивах.

Но все-таки, несмотря ни на что, я думаю: останься я в Ленинграде, ничего бы крупного я не бы создал — там и без того много способных и известных творцов. А здесь был и есть такой простор для работы!

Павел Муратов

Новосибирская картинная галерея рождена волевым усилием на совершенно пустом месте. Эволюционный путь развития обычно иной. Иркутский художественный музей вырос, как дуб из желудя, из личного музея городского головы В. П. Сукачева. Красноярцы многим обязаны В. И. Сурикову. Томск 1910-х годов имел деятельное Общество любителей художеств, формировавшее собрание живописи и самый дух коллекционерства в городе. Никаких коллекционеров быстро растущий промышленный, торговый, административный Новосибирск не знал. Закупленные в 1927 году с Первой Всесибирской выставки 53 произведения живописи, графики, скульптуры и в расчете на будущую галерею отданные на хранение краеведческому музею были забыты. Сам факт устройства Всесибирской выставки 1927 года обнаружился три года спустя после открытия галереи, а список закупленных тогда произведений — и того позже. Но как же существовать крупнейшему городу Сибири без художественного музея? И последовало распоряжение Совета министров РСФСР № 29-р от 7 января 1957 года об образовании Новосибирской картинной галереи.

Совет министров распорядился, Министерство культуры РСФСР поставило в план своей деятельности, Новосибирский горисполком, в ведении которого первые годы существования находилась галерея, начал организацию дела на месте. В нижнем этаже пятиэтажного жилого дома по адресу: ул. Свердлова, 37 (ныне — ул. Свердлова, 13), было выделено помещение с шестью небольшими залами для экспозиции, храни-тельской комнаты, кабинета научных сотрудников, библиотеки, бухгалтерии — все в одном месте разом — и кабинета директора. Директором назначен живописец М. А. Мочалов, человек партийный, привыкший к работе руководителя. Научная часть состояла из хранителя Р. И. Коняшевой и научного сотрудника П. Д. Муратова.

Поскольку никто из названных трех лиц понятия не имел о том, как создаются картинные галереи, то на первых порах казалось естественным обращение Мочалова к российским и в первую очередь к сибирским художественным музеям с просьбой поделиться с Новосибирском своими сокровищами. По каталогам музеев, вслепую, Мочаловым были отмечены произведения, которые хотелось бы иметь нашей галерее. С целью проведения реквизиции в Омск, Свердловск и Пермь были разосланы гонцы. Меня Мочалов послал в Иркутск.

Директор Иркутского художественного музея А. Д. Фатьянов, человек заслуженный и заслуженно уважаемый, высмеял новосибирскую затею разжиться за счет работающих музеев.

— Ничего я вам не дам, — сурово сказал Фатьянов. — Сами собирайте коллекцию. Вы посмотрите, что вы тут по-наотмечали в нашем каталоге! Я для вас буду экспозицию оголять?.. Однако одну вещь из тех, что вы просите, я вам дам, — сменил Фатьянов гнев на милость и велел принести из отдела хранения маленький, с ладонь, этюдик А. К. Айвазовского «У острова Капри». К этюдику он позднее присовокупил шесть офортов И. И. Шишкина, ничего при этом не теряя: офорты относятся к тиражной графике. Их могло быть у Фатьянова по несколько оттисков с одной доски.

Поскольку я слушал Фатьянова молча и раскрыв рот от удивления, он начал учить меня музейному делу. Сначала сам, а потом передал меня главному хранителю

Иркутского художественного музея Г. И. Дудину. Дудин был одновременно и реставратором масляной живописи. Он рассказал мне историю основных картин музея, показал всю хранительскую документацию. Срок моей командировки в Иркутск не был определен, и я впитывал музейные премудрости, пока не устал. Новосибирск встретил меня неожиданностью: Мочалов свалил инсульт. Он лежал дома на диване, будто составленный из двух половин. Правая половина, полностью неподвижная, поражала странной муляжностью. Левая половина была та самая, привычная, но непривычно беспомощная и жалкая. Мочалов потом оправился. Он прожил еще десять лет. Успел сделать большую персональную выставку к тридцатипятилетию творческой деятельности. Но работа его в галерее кончилась. Место Мочалова занял Л. Н. Огибенин, живописец совершенно иного склада. Он знал К. С. Малевича, П. Н. Филонова. Его личная библиотека с книгами по искусству по тем временам была безусловно лучшей в городе. Он почитал импрессионистов и постимпрессионистов и умел заразить своим почитанием близких к нему художников. Положим, конец пятидесятых годов в России отмечен распространенным интересом к европейскому и русскому искусству конца XIX века, почти модой на него. Однако еще держалась официальная точка зрения на импрессионизм как на формализм, и Мочалов был ее приверженцем. Огибенину же и Сезанн, и сезаннисты были близки, что и отразилось на характере первой экспозиции в галерее.

Нет, он лично картины не собирал. Он, может быть, для галереи и сделал не много. Но он был директором, стало быть, посредником между теми, кто создавал галерею своими руками, и руководящими органами города, не слишком озабоченными повседневностью галереи, но при случае могущих резко обрубить все ответвления от главного, как оно тогда понималось, направления.

Гонцы в другие музеи вернулись примерно с теми же результатами, что и я из Иркутска. Из Омска были привезены два этюда М. П. Боткина под типовым названием «Девушка», пейзаж Ю. Ю. Клевера «Зима» 1883 года, который мы всегда стеснялись выставлять, и гипсовая тиражная отливка медали Ф. П. Толстого «Родомысл девятнадцатого века».

Однажды найденная в незнакомых местах дорога не скоро оставляется. Иркутский, омский, свердловский опыт ничему нас не научил, поэтому теперь уже Огибенин послал меня в Москву, чтобы там, в Министерстве культуры РСФСР, я взял солидные бумаги и с ними поехал в Тюмень изымать картину Б. М. Кустодиева, по слухам, приобретенную министерством для Новосибирска.

В Министерстве меня встретили громкими речами.

— Новосибирцы! Наконец-то! Вы думаете открывать картинную галерею или нет? Или вы думаете, она сама у вас откроется?

Ни о какой Тюмени думать мне не дали. Надо идти к коллекционерам, в мастерские художников, на выставки. Собирать, собирать, собирать. Собственно закупку, то есть оплату произведений, министерство брало на себя. Более того, сотрудники министерства без нашего участия успели уже приобрести для нас довольно длинный ряд работ и тем, конечно, существенно помогли делу. Среди приобретенных картин я увидел «Итальянку» К. П. Брюллова, «Дубы» Ф. А. Васильева, «В раздумье» В. М. Васнецова, «Цыганку» А. Я. Головина. Вместо Тюмени мне дали командировку в Ленинград, где за какие-то провинности владелицы была арестована коллекция М. И. Корниловской, и мне было поручено мирным путем переправить коллекцию в Новосибирск.

Ехал я в Ленинград в одном поезде с вице-президентом Академии художеств СССР

В. А. Серовым, имевшим целью произнести на общем собрании ленинградских художников сокрушительную речь против Б. Л. Пастернака. Вокруг романа «Доктор Живаго» стоял шум и гвалт. Нобелевская премия, поругание и заушение официальной критики, на родине же — популярность в самиздатовской литературе. Мне дали роман только на ночь, причем ночь эту я провел в квартире владельца машинописной копии романа. Пафосную речь Серова я помню плохо, но воспроизвести ее суть нетрудно. От стандартных обвинительных речей того времени она отличалась только тем, что в ней было выражено удовлетворение по причине отсутствия в среде художников людей, подобных Пастернаку. Корниловскую предупредили о прибытии «человека из министерства», и она встретила меня со слезами, наверное, искренними, так как могла опасаться не только изъятия коллекции, но и суда. Корниловская долгое время работала в комиссионном магазине. Правдами и неправдами она собрала полторы сотни картин и скульптуры. Один из ленинградских журналистов заподозрил ее в жульничестве, о чем и поведал народу через местную газету. Милиция отреагировала арестом. Хозяйка жила привычной жизнью в своей квартире, но подвижность ее была ограничена, и она не имела права ни вносить в свою квартиру произведения искусства, ни тем более выносить их оттуда.

Говорить начальственным тоном я не научился до сих пор, интерес же к развернувшемуся на глазах детективу увлек меня. Я слушал сказки Корниловской о ее добродетельной жизни, о судьбе попавших к ней картин, ходил по милицейским кабинетам вслед за прохождением ее дела и не спеша рассматривал ее коллекцию. Из массы собранного Корниловской от силы пять картин стоило брать в картинную галерею, остальное можно отнести назад в комиссионный магазин. Из-за пяти картин, подлинность которых еще следовало установить, портить жизнь старушке мне не захотелось, и мы, в очередной раз напившись чаю, расстались друзьями. Неспешное изучение дела Корниловской, проку от которого никакого не было, если не считать знакомства с миром коллекционеров, с его дном, или лучше сказать, придо-ньем, сопровождалось чаепитием в другом месте, а именно в отделе рукописей Русского музея. Его сотрудница Ю. Н. Подкопаева весной 1958 года приезжала с выставкой, подготовленной музеем, в Новосибирск. Я водил по выставке экскурсии. Мы познакомились. И теперь я пользовался знакомством, проникая в святая святых Русского музея и делясь впечатлением от очередного ленинградского приключения.

Во время одного из чаепитий в Русском музее Подкопаева спросила.

— А знаете ли вы, что сын Николая Константиновича Рериха вернулся на Родину?

— Не знаю.

— Ну тогда вы не знаете, что по завещанию Николая Константиновича Рериха часть его картин должна отойти какому-либо городу Сибири...

В тот же вечер ночным поездом уехал я в Москву искать сына Рериха, Юрия Николаевича, имея в записной книжке ориентир: Академия наук, Институт востоковедения, где мне и дали домашний телефон Ю. Н. Рериха. Я ему позвонил, напросился на встречу.

Не скажу, чтобы я хорошо знал жизнь и творчество русских символистов, но все-таки кое-что к тому времени я успел прочесть, видел великолепный портрет В. Я. Брюсова, нарисованный М. А. Врубелем. Рерих показался мне едва не двойником Брюсова: невысокий, коренастый, с похожей формой головы. По-русски он говорил как русский, правда, с гортанным тембром, который я истолковал как след изучения тибетских языков. Однако слова и строение фразы в его речи существенно

отличались от наших обыденных, «демократизированных», как сказали бы тогдашние литературоведы. Высокий строй русского символизма начала века на всю жизнь остался привычным, естественным в семье Рерихов. За рубежом его не размывали ни фольклорные, ни жаргонные, ни иноязычные влияния. Чистота и характерность речи Ю. Н. Рериха остались в моей памяти как самая яркая черта его образа.

— Юрий Николаевич! Говорят, Николай Константинович оставил завещание, по которому один из сибирских городов может получить его картины.

— Да, есть такое завещание. Я думаю, картины могли бы оказаться в Барнауле.

— В Барнауле? Да это глушь почище Саратова времен Грибоедова! А в Новосибирске — Академгородок, университет, консерватория, грандиозный оперный театр!

— Можете ли вы обещать мне, что картины, какие я вам передам, будут всегда в постоянной экспозиции?

От Рериха я помчался на Центральный телеграф посылать фототелеграмму, звонить в галерею. И вот тут-то проявилась роль ее директора. Пока в Новосибирск шел привычный ряд русской и советской классики, вопрос о принципах комплектования галереи не вставал. Но Рерих не входил в число классиков. Рерих входил в число эмигрантов, не вернувшихся на Родину. Вернулся только один из его сыновей. Потом, когда картины уже прибыли в Новосибирск, понадобилось три месяца хождения в обком КПСС, как на работу, чтобы получить разрешение на экспонирование картин не вполне реабилитированного Рериха. Конечно, не наше красноречие пробило брешь в партийной цензуре. Ее пробили публикации в толстых московских журналах текстов самого Н. К. Рериха и почтительных статей о нем. Предвидя хлопоты такого рода, осторожный директор картинной галереи не стал бы ввязываться в борьбу с обкомом. Противник Рериха мог и собственной властью прервать переговоры с его сыном.

Получив фототелеграмму и наслушавшись эмоциональных речей по телефону, Огибенин послал в Москву ответную фототелеграмму с обещанием Рериху постоянной экспозиции, заверенную круглой печатью и подписями заместителя начальника городского управления культуры Л. Григорьевой и директора картинной галереи, то есть собственной.

К тому же картины Рериха передавались Новосибирску приказом МК СССР, против которого обком выступить не мог. Ссылка могла быть только на то, что в приказе не обозначено обязательное экспонирование передаваемых картин.

— Теперь можно говорить и по-деловому, — сказал Ю. Н. Рерих, когда я отдал ему полученный из Новосибирска документ.

Деловые разговоры шли не со мной. Они шли в неведомых мне сферах Министерства культуры СССР и продолжались около двух лет. За это время еще раз сменился директор картинной галереи: ушел Огибенин, пришел В. П. Токарев. С той поры художники уже не входили в состав должностных лиц галереи.

Моя трехмесячная жизнь в столицах была довольно напряженной. С утра до позднего вечера приходилось ходить по выставкам, по мастерским художников, просматривать новые поступления в закупочную комиссию Министерства культуры РСФСР. Мне на помощь из Новосибирска посменно приезжали посылаемые Огибениным художники: Х. А. Аврутис, Н. Д. Грицюк, Г. Н. Трошкин. Аврутис и Грицюк оказались очень хорошими помощниками, так как они студенческие годы провели в Москве, хорошо ее знали. Они были друзьями и единомышленниками. Когда уезжал один и приезжал другой, никакого сбоя в ориентации не происходило,

что очень важно в любом серьезном деле. Тем не менее ходил я с ними разными дорогами. С помощью Ав-рутиса удалось получить и провести через министерскую закупку картины возвышавшихся тогда в уважении и популярности А. В. Куприна, А. В. Лентулова, И. И. Машкова, В. В. Рождественского. С Грицюком мы побывали в мастерских С. В. Герасимова, А. Д. Гончарова, А. А. Дейнеки, Б. В. Иогансона, Ю. И. Пименова, С. А. Чуйкова. Несмотря на очень высокий авторитет названных художников, их мастерские были тогда полны невостребованными картинами. Только Иогансон и Чуйков, заканчивая картину, тут же с ней расставались. Мы имели возможность выбирать характерное и лучшее. К сожалению, преодолевать невидимые барьеры удавалось не всегда. Картин Герасимова, Гончарова, Дейнеки, Иогансона, Пименова мы не получили.

Общение с выдающимися российскими художниками настроило нас на самый мажорный лад. Казалось, весь мир заполнен талантливыми живописцами. Мы нацелились обойти всех московских художников, имевших мастерские в домах на Верхней Масловке, специально построенных для живописцев, графиков, скульпторов. Начали с края и пошли. Осеклись на первом же посещении. Да, Москва вбирает в себя лучшие художественные силы России. Но в Москву проникают и хорошо устраиваются в ней и просто шустрые человечки. Их творческая никчемность ничуть не лучше провинциальной, даже хуже, потому что в провинции, как правило, недостает условий для полного развития дарований, в столице же этого оправдания нет. Не имеющий ничего за душой в любой столице остается деятелем для себя и во имя себя.

В ту столичную осень мне еще раз пришлось ехать в Ленинград к сотрудникам Русского музея и Павловского дворца-музея, снова по командировке Министерства культуры РСФСР. Теперь уже не стоял вопрос о комплектовании Новосибирской картинной галереи за счет работающих музеев. Наше собственное собирательство шло полным ходом. Но помощь авторитетных музеев в становлении галереи не исключалась.

Сотрудники Русского музея без моего участия отправили в Новосибирск десяток работ, среди которых были портрет А. Б. Куракина кисти В. Л. Боровиковского, «Апостол Павел» К. П. Брюллова, портрет графа Д. М. Сольского, написанный И. Е. Репиным во время подготовки громадного полотна «Заседание Государственного Совета». Если к упомянутому приписать полученный значительно позднее, но определенный к отправке в Новосибирск в 1958 году парадный портрет Екатерины II работы Д. Г. Левицкого, то станет ясно, как весомо помог Русский музей Новосибирской картинной галерее.

Павловцы на то время еще не пришли в себя после военного разгрома. Реставрация дворца шла методом долгостроя. Технические службы едва теплились, поэтому мне, постороннему в музее человеку, пришлось и готовить ящики для картин, и упаковывать картины, и на выделенном музеем грузовике везти добычу в Ленинград на товарную станцию железной дороги. Павловцы отдали Новосибирску оригиналы иллюстраций В. М. Васнецова, К. В. Лебедева, И. Е. Репина, А. П. Рябушкина, В. И. Сурикова к историческому очерку Н. И. Кутепова «Великокняжеская, царская и императорская охота на Руси», выполненные в 1890-х годах, а также ряд других ценных произведений. За компанию они отправили к нам и такие вещи, от которых им, видимо, давно хотелось избавиться, например, копию портрета Екатерины I, сквозь которую непросто докопаться до XVIII века. Ее живопись ничего не напоминает эпоху Петра I.

И вот, наконец, первый этап собирательской эпопеи закончен. Картины, числом

более трехсот, прибыли в Новосибирск. Надо осваивать хранительно-экспозиционную часть музейной работы. Она кажется проще простой: повесил картины, они и висят к удовольствию зрителей. На самом же деле музейная служба — серьезная наука и еще более серьезная практика. Разовое ознакомление с ней в Иркутске, беглое попутное в Русском музее и в Павловске можно считать лишь подступом к ней. К тому же там я был один, а нас теперь, не считая Огибенина, было трое: Коняшева, я и И. Г. Ликман, — еще один научный сотрудник.

Учить нас профессиональной музейной работе приехала сотрудница отдела живописи Русского музея В. П. Князева. Описания картин, инвентаризация, температурно-влажностный режим, расстановка и развеска произведений с учетом исторической последовательности и красоты экспозиции и прочие заботы заняли все наше время в декабре 1958 года. 27 декабря, накануне Нового года, состоялось торжественное открытие галереи, проведена первая экскурсия по ее экспозиции. Князева не дождалась этого момента, она откликнулась на него издалека. «Очень, очень рада, что открытие музея состоялось в назначенный день. Представляю, сколько было работы!!!

...Вход в вашу экспозицию очень трудно оформить, трудно подобрать нейтральный, достаточно хороший художественный материал. Хорошо бы красивые вазы! Хорошо бы парную скульптуру! Но увы!!!»

Несколько позже она же писала: «Без вашего ведома и согласия я попросила дирекцию включить ваш музей на вызов на стажерские курсы. Проведение курсов намечается на II квартал, вероятно, на апрель месяц. Основной вопрос — учет и хранение. Это то, что вам, вероятно, очень кстати».

Торжество в жизни музейного работника — мимолетность. Оно окрыляет. Оно может служить точкой отсчета в его биографии. Полнота его жизни, однако, не здесь, а в каждодневных трудах и заботах, лишь с течением времени складывающихся в нечто значительное.

Василий Константинов

Хочу рассказать, как я неожиданно для самого себя стал родоначальником общественной автоинспекции. В начале шестидесятых работал я автоинспектором в Дзержинском районе. Участок был большой и сложный, а в моем распоряжении лишь мегафон да мотоцикл. Попробуй-ка поработать с такой оснащенностью! И если бы вы знали, сколько мне довелось видеть трагедий, человеческих жертв, погибших в авариях на дорогах! Эти жертвы не давали мне покоя, и я стал напряженно думать: что же сделать, чтобы снизить количество дорожных происшествий. И вот в один прекрасный день я пришел к гаражам, где стояли мотоциклы и машины частных автовладельцев, и повесил объявление: «Автомобилисты и мотоциклисты! Прошу такого-то числа собраться для беседы». И подписался: «Автоинспектор Константинов».

Народу собралось довольно много, и я обратился с призывом создать на нашем участке общественную автоинспекцию и просил мне помочь в наведении порядка на дорогах. Откликнулось человек тридцать. Составили график дежурств. В часы пик, утром и вечером, а кто мог, то и днем, стояли мои помощники с повязками на рукавах по дорогам всего участка. На дежурство они выходили со своим транспортом, поэтому, если возникал какой-либо вопрос, они мгновенно приезжали ко мне, и мы проблемы решали сообща.

Вскоре я почувствовал отдачу от работы общественников и понял, что тридцати человек все-таки маловато. Начал регулярно проводить беседы среди автовладельцев, среди молодых пенсионеров, и скоро мой отряд добровольных помощников перевалил за двести человек! В часы пик по всем магистралям стояли дружинники, и это дисциплинировало водителей и пешеходов, велосипедистов, заполнявших в те годы все улицы. Но и хлопот было невпроворот. Я просто лишился покоя с этой армией добровольцев. Дома почти не бывал. А придут — звонок: «Василий Николаевич, водитель не подчиняется», или еще что-то в этом роде. Но в то же время овчинка стоила выделки: количество дорожно-транспортных происшествий резко пошло на убыль, а за три летних, обычно самых напряженных месяца, 1961 года на моем участке не было ни одного случая нарушения, ни одной аварии! Об этом, кстати, писала «Вечерка». Нам уже стало невозможно собираться на улице. В домоуправлении «выбил» комнатку в подвале в одном из домов под штаб ГАИ. Там всегда дежурили мои ребята, вели журнал. Дальше — больше. На углу у завода им. Чкалова стоял пустой ларек. Мне его тоже отдали под будку ГАИ, а телефонисты провели телефон. И все это без единой копейки.

Энтузиазма у меня, как и у всех в то время, было много. И я додумался взять на себя два участка! В то время так поступали довольно многие. Сначала почин был за ткачихой Валентиной Гагановой, а потом вся страна стремилась брать на себя повышенные обязательства. Кстати, замечу попутно, для сведения молодого поколения, что зарплату-то мне платили по-старому, как за один участок! Ничего особенного в своей деятельности я не видел, и поэтому был удивлен, когда комиссар ГАИ Шмаргелов пригласил меня выступить на большом совещании и поделиться опытом работы. Я вышел, начал что-то рассказывать, растерялся и замолчал.

— Вот видите, — сказал комиссар. — Человек столько делает, а рассказать не умеет. А у нас болтунов развелось много, которые не столько работают, сколько

говорят.

После того совещания стали мой опыт работы перенимать в других районах города, привлекать к профилактике нарушений на дорогах владельцев частного автотранспорта. И много лет общественники с моей легкой руки помогали в работе. Но справедливости ради скажу, что это хлопотное дело такого размаха, как хотелось бы, не получило. А жаль, потому что профилактикой надо заниматься лучше, чем это делается сейчас. В наше время мы за кустами не прятались, а стояли открыто. И уже это дисциплинировало водителей, а значит, и способствовало порядку на дорогах!

Вспоминая об этом, я думаю порой: а не возродить ли нам народную дружину и общественную автоинспекцию? Дело-то ведь было хорошее!

Георгий Чекис

Молодежь подтрунивает над пожилыми: мол, сегодняшнего дня вы не замечаете, а считаете, что раньше все было лучше — и трава зеленей, и солнце ярче. Доля правды в этом ироничном отношении к старшему поколению есть: старикам и в самом деле свойственно грустить о своей юности. Но попробуйте оспорить то, что наша молодость пришлась на время, когда наша страна была могучей и с уверенностью смотрела в будущее, и что жили мы с сознанием, что принадлежим к мощной державе, и это давало силы и чувство гордости за страну, за ее народ! Шел 1944 год, еще лилась кровь, еще шли жаркие бои, а страна уже была уверена: победим! И стала обращать внимание на многие мирные дела, в том числе и на спорт. Такое по плечу только сильной и уверенной в себе державе! Приведу пример из собственной жизни. Я тогда учился в Томском артиллерийском училище. Вдруг приезжают из штаба округа... набирать людей в сборную! Уже в 44-м командование округа было озабочено развитием спорта! Вот какая была уверенность, какой оптимизм!

Нас, гимнастов, лыжников, штангистов — 70 человек — собрали в Новосибирске и сказали: тренируйтесь! И вот мы, молодые, здоровые, сильные, все умеющие держать оружие, стали заниматься подготовкой к мирным победам на борцовских коврах, на лыжнях, в спортивных залах.

В сборную округа меня приняли не за красивые глаза: До войны я закончил техникум физкультуры, а в 1941 ушел добровольцем на фронт. Там мне моя спортивность очень пригодилась: легче переносились изнурительные марши и другие тяготы фронтовой жизни. Мне требовалось гораздо меньше усилий там, где другие испытывали перегрузки. Воевал на стратегических направлениях, сначала под Москвой, потом у Гомеля, на Орловско-Курской дуге, был награжден медалями и орденом Славы. Однажды вызывает меня комбат и говорит:

— Требуется отправить одного человека в артиллерийское училище, а среднее образование только у тебя. Больше посылать некого. Так что тебе и ехать!

Так я стал курсантом в Томском училище, а как попал в Новосибирск, вы уже знаете. В Новосибирске нас всех разместили в огромном зале клуба жиркомбината, и началась новая жизнь. Утром вставали, делали зарядку, бежали на тренировку в «Динамо», днем — небольшой перерыв, вечером — основная, до седьмого пота нагрузка. Примерно через год наиболее одаренных спортсменов перевели в офицерское общежитие, в более комфортные условия, другие — отсылались.

Командующий лично следил, чтобы нас хорошо кормили, и распоряжался, чтобы из подсобного хозяйства всегда доставлялось мясо: они же целый день на тренировке и должны нормально есть! Благодаря такой постановке дела сборная Новосибирской области, в которой основной костяк составляли мы, военные, выглядела очень достойно на Первой Всесибирской спартакиаде в первом послевоенном году...

По сегодняшним меркам я как спортсмен был староват: за три военных года я, конечно, утратил былую спортивность, и приходилось много работать, чтобы восстановить форму и добиваться новых успехов. На это ушло еще добрых три года. Сначала я подтвердил свой I разряд по спортивной гимнастике, став чемпионом I Сибирской спартакиады, в 1948 стал мастером спорта, а на будущий, 1949 год, чемпионом России! Произошло это значительное для меня событие в Ленинграде,

где я выиграл соревнования по всем четырем снарядам, став абсолютным чемпионом. Было мне тогда уже 27 лет. Но несмотря на этот весьма зрелый возраст мне удалось удерживать чемпионское звание еще целых семь лет! В спорте я — долгожитель, достаточно сказать, что звание чемпиона Сибири и Дальнего Востока я удерживал целых 30 лет! И потому, конечно, было обидно, когда меня не взяли в первую олимпийскую сборную страны, хотя я был еще непобедим и продолжал еще несколько лет удерживать первенство по России. Мне так и сказали: «Тебя «съели» москвичи». Пришлось эту обиду проглотить — подличать, подставлять подножки, выслуживаться — не в моих правилах. Тренировки и участие в соревнованиях были лишь частью моей работы — мне дали должность инструктора по спорту, и я занимался тренерской деятельностью и инспектировал физическую подготовку в дивизиях и училищах. Выглядит неправдоподобно, что меня, сержанта, побаивались полковники и генералы, потому что я как специалист мог поставить неудовлетворительную оценку по постановке физической культуры. Конечно, с мной ездили офицеры из штаба, но главным экспертом был я, и со мной считались. Неоднократно предлагалось продвигать меня в воинском звании, от чего я категорически отказывался — боялся, что могут в случае чего послать служить к черту на куличики, в тьму-таракань. Я и без того был на офицерской должности и получал офицерское жалование. По долгу службы мне частенько доводилось бывать в Москве, в спорткомитете, где к нам, провинциалам, относились весьма заносчиво и где нередко приходилось сражаться с чиновниками от спорта. Сборная Новосибирской области по спортивной гимнастике уже дважды завоевывала титул чемпиона России, я сам был неоднократным чемпионом в личном первенстве, но никак не мог пробить проведение всероссийских соревнований в нашем городе. Дело упиралось в одну даму, которая категорически противилась этому. Пришлось идти к председателю и доказывать, что Новосибирск ничем не хуже Саратова и Воронежа, где эти чемпионаты проводились уже по два раза. После этого я нажил себе врага, но зато в 1953 году здесь состоялись республиканские соревнования, попасть на которые в качестве зрителя было очень почетно и очень трудно. Должен вам сказать, что спорт был очень престижен среди новосибирцев. Фаворитами тогда были акробатика и спортивная гимнастика. На соревнования ходили как на захватывающее зрелище. Огромный ажиотаж вызывали соревнования по этим видам спорта даже среди школьников! И любая организация, будь то школа, ПТУ или техникум, выставляла большие команды — до сорока человек! Поэтому соревнования проходили несколько дней, начинаясь ранним утром и заканчиваясь около полуночи. Тогда не было еще телевидения, и у народа был повышенный интерес к зрелищам. Гимнастический зал «Динамо» был занят и в будни, и в праздники с утра до вечера. Ко мне в секцию приводили ребят раз в десять больше, чем мог принять этот зал. Матери со слезами на глазах умоляли принять их чад в спортивную секцию. Приходилось отказывать — зал был совсем крошечный: когда я крутил «солнышко», то едва не касался ногами потолка... Двадцать лет, с 1945 по 1965, я трудился в СибВО. За это время подготовил десять мастеров спорта, сотни разрядников, сам более 80 раз становился призером в различных соревнованиях, а в 1965 году, когда в городе появились первые выдающиеся спортсмены, встал вопрос о создании школы высшего спортивного мастерства, и мне предложили ее возглавить. Школа существовала, а помещения для нее не было. В моем распоряжении были деньги на оплату тренеров, на проведение соревнований, да печать, да столик в

общей комнате. Мы искали талантливую молодежь в школах, утром вели работу с начинающими, днем — с большими мастерами. Очень часто проводили соревнования по самым различным видам спорта. Государство не жалело тогда средств на спорт, и денег в моем распоряжении было, можете мне поверить, — завались! Я устраивал матчевые встречи, повсюду отправлял своих спортсменов для участия в соревнованиях, чтобы они мужали в поражениях и победах, проводил спартакиады, давал возможность проводить летние и зимние сборы в различных регионах страны, и это очень привлекало молодежь. В период подготовки к соревнованиям у нас была возможность обеспечивать бесплатным трехразовым питанием школьников и студентов — это тоже играло свою роль для привлечения талантливых спортсменов.

Однако по-настоящему развернуться было трудно: сказывалось отсутствие своего помещения. Председатель горисполкома Иван Павлович Севастьянов однажды предложил нам занять прекрасное помещение на улице Сибирской под нашу школу. Здание мне очень понравилось, особенно после тех развалюх, которые предлагались ранее. Севастьянов издал распоряжение, и здание стало нашим. Но тут облОНО (отдел народного образования) направил челобитную в Москву с жалобой на это — мол, отбирают у детей дом. Из Москвы приходит команда: забрать назад! Иду к Севастьянову: что делать? А он мне отвечает: будем бороться! И созывает совещание специально по этому вопросу. Сажу на нем и понимаю, что все окончится плохо. Попросил слова и пытался убедить руководителей отдела народного образования в своей правоте: что мы не отбираем дом у детей, а наоборот, отдаем его в их распоряжение, что у нас будет заниматься в различных секциях не менее 200 подростков, что мы их заберем с улицы, что они перестанут бесцельно болтаться и могут стать гордостью города, а то и страны, что мы станем растить мастеров международного класса и так далее. Но мои слова не находили поддержки. Тогда встает Севастьянов и заявляет: «Мы — советская власть! Мы постановили отдать это здание для спортивной школы и свое решение не отменим!»

Вышел я победителем, но дальше началась почти детективная история. Меня предупредили: «Слушай, не думай, что все закончено. К тебе могут однажды забраться ночью и все захватить. Будь начеку!» И я стал дежурить в здании ночами. И что же вы думаете? Вскоре и в самом деле под окнами появились грузовики с хозяйством и оборудованием для кружковой работы. Я, конечно же, никого не впустил. Уехали ни с чем. Около полуночи звонит начальник: «Ты что там делаешь? Ты чем там занимаешься? Я тебя уволю!» Я ответил:

— Я нахожусь на рабочем месте, и если вы сможете меня уволить, то увольняйте. Только имейте в виду, что назначали меня в Москве во Всесоюзном комитете по физической культуре и спорту.

Школа осталась за нами и жива, слава богу, до сих пор. В ней занимались фехтовальщики, гимнасты, штангисты. Прошло несколько лет, и вдруг мне звонит знакомый из обкома партии: «Слушай, а у тебя ведь здание опять отобрать собираются. На этот раз под пединститут. Так что будь готов!

Схватился руками за голову: что делать? И вдруг решение пришло: я только что вернулся из Москвы, где мне для школы выделили 400 тысяч рублей. Я собрал всех — от уборщицы до кочегара: «Ребята, плачу вам деньги! Хорошие! Надо за ночь снести все перегородки, чтобы бывшие классы превратились в залы!» Всю ночь кипела работа. Настоящий ад! Пыль, штукатурка, доски — грудями! Утром появляется начальство во главе с ректором педагогического института и ужасается:

«Ты что тут делаешь?»

Я на ясном глазу отвечаю:

— Реконструкцию!

— А деньги где взял?

— Москва дала!

Визитеры повернулись и ушли. А не успею я повернуть эту операцию за ночь, не было бы теперь здания школы высшего спортивного мастерства! Но справедливости ради хочу сказать, что после того случая никаких покушений на здание не было.

Реконструкцию мы провели, поставили хорошее оборудование, и спортсмены стали заниматься в более достойных условиях.

После реконструкции школы взялся за сооружение устройства для биатлона. И оно получилось, думаю, лучшим в мире, по крайней мере на ту пору. А выбирали место под него вместе с нашим прославленным биатлонистом Маматовым. Он принимал большое личное участие в этом строительстве — делал вместе с лесничеством разметку для трассы, пробивал подведение дороги и много другое. Когда все было закончено, когда поставили трибуны, приехал Иван Павлович Севастьянов, посмотрел:

— Сколько ты должен за эту трибуну заплатить? И — Семьсот тысяч, — отвечаю.

Он подозвал своего порученца и говорит:

— Выделите ему деньги и заплатите! Он и без того потратился!

Большой спорт стал набирать в Новосибирске силу. Все чаще стали греметь имена наших земляков на чемпионатах Европы, Союза, мира. И хоть мне не довелось принять личное участие в Олимпийских играх, но бывать на них по долгу службы доводилось. Вспоминаю, каких нервных издержек стоила Олимпиада в Саппоро. На ней были две наши звезды — Тихонов и Маматов. Тихонов бежал в командном забеге первым. Мы на него возлагали огромные надежды, а он неожиданно для всех пришел на финиш девятым — что-то там у него случилось. Я стоял возле будки комментатора. Окно открыто, и я слышу, как он вещает в прямой эфир: «Теперь нашей команде первенства не завоевать!» Я поворачиваюсь к нему лицом и показываю кулак. Он, конечно, с мной не знаком и делает удивленное лицо. А я был почти спокоен: завершающим, четвертым, должен был идти наш Маматов. Вот это был спортсмен! Человек-автомат! Он выходил на огневой рубеж, вскидывал винтовку и, не теряя ни секунды на прицел, выдавал выстрелы — раз, два, три, четыре, пять! Моментально! Все в цель! Его страшно боялись и говорили: «Когда, наконец, этот Маматов кончит выступать?» И в тот раз, в 1972 году, когда передали эстафету Маматову, он не подвел. Все сбегались смотреть на огневой рубеж, как он это делает. Маматов подбежал, вскинул винтовку: бах-бах-бах! и пошел дальше. Первенство было нашим! Бегал Маматов чуточку похуже Тихонова, но окупал это своей фантастической стрельбой. Тихонов был страшно расстроен своей неудачей и сказал: «Все! Больше первым никогда не побегу. Все лавры достались Маматову!» Я стоял рядом, слышал эту тираду, но молчал, предчувствуя недоброе. И в самом деле на следующий чемпионат мира Маматова не включают в сборную! Я немедленно обратился в спорткомитет с требованием включить великолепного спортсмена, но его так и не включили... Но все-таки я считаю, что что-то хорошее в жизни сделал. Когда в 1981 году я вышел на пенсию, то оказалось, что при моем участии подготовлено 56 мастеров спорта международного класса, 268 мастеров спорта СССР, восемь чемпионов мира и три чемпиона Олимпийских игр. 14 тренеров получили звание «Заслуженный тренер СССР». Будучи директором спортивной школы, я старался делать все, чтобы создавать условия для хорошей

работы тренеров и для тренировок спортсменов. И мне жаль сегодняшнюю молодежь, которая поменяла свои ценностные ориентиры: спорт, физическая культура — удел избранных. Исчезла массовость. Молодежь либо сидит за компьютером, не зная радости поющих мускулов, либо пьет или колется наркотой. Молодое поколение растет слабым и хилым, какое же потомство оно оставит после себя? Наше поколение воевавших и много переживших было крепче, здоровее, сильнее. И нам помогал в этом спорт!

Александр Рубинчик

Вот уже много лет я, генерал-лейтенант запаса, живу в Москве. Но всегда с исключительным теплом вспоминаю годы, проведенные в Новосибирске, где мне довелось шесть лет командовать 85-й Краснознаменной Ленинградско-Павловской дивизией, которую я принял в 1966 году. За моими плечами была война, которую я прошел сначала механиком-водителем, потом командиром роты и взвода. Поэтому до сих пор умом и сердцем люблю известную песню с такими словами: «Выпьем за тех, кто командовал ротами, кто замерзал на снегу...» По себе знаю, что это такое, потому что командир роты для солдата и отец родной, и «полководец». Если он впереди, то и все за ним, если вздрогнул, отступил, то не будет в бою успеха... Был у меня и опыт командира полка в знаменитой Таманской дивизии, где была первоклассная выучка, где проводились показательные учения при визитах премьер-министров и королей, глав держав и генсеков. Командовал полком и в Кантемировской, тоже «правительственной» дивизии, закончил академию Генерального штаба, словом, опыт кадрового военного у меня был большой. Но мое новое назначение было совершенно особым. До моего приезда здесь несли службу лишь 1800 человек, мне же предстояло разместить 12800 человек на территориях трех регионов — Новосибирской и Кемеровской областей и Алтайского края! Прибыли мы сюда в мае, разбили палатки, устроились штабом в расположении военного городка, что в Октябрьском районе. С тех пор Новосибирск стал и центром, и сердцем дивизии.

Как нас встречало население! Когда техника выходила на улицы города, то можно было наблюдать необычайно трогательные сцены: бывшие фронтовики просто кидались к машинам, словно увидели что-то родное и близкое. Они так горячо и сердечно приветствовали нас, находили такие слова, что каждый раз эти встречи потрясали нас до глубины души. Такая тяга, такая всенародная любовь! Тогда мы поняли правоту поднадоевшего было лозунга: «Народ и армии — едины». Мы и в самом деле были единым организмом с народом.

И мы это ощутили лишний раз в том внимании, которое проявляли к нам руководители города и области, потому что без их помощи и постоянной поддержки мы не смогли бы быстро обустроиться на новом месте. Ведь нам предстояло разместить целую армаду: до наступления суровой сибирской зимы построить в кратчайшие сроки казармы для солдат и жилье для офицерских семей.

Деньги-то нам государство для этой цели выделило, но надо было их превратить в дефицитные в то время бетон, цемент, кирпич и другие строительные материалы. В ту пору я много времени проводил в высоких кабинетах новосибирского руководства, от первого секретаря обкома КПСС Федора Степановича Горячева и председателя облисполкома Виктора Андреевича Филатова до секретаря Октябрьского райкома партии Михаила Степановича Клобукова. И ни разу не уходил с пустыми руками. Благодаря этой поддержке мы сумели в короткий календарный срок построить 36 жилых домов, 12 столовых, 6 детских садов, 6 офицерских общежитий, 12 чайных, много овощехранилищ, бань, учебные центры, танковые и стрелковые директрисы, огневые городки, танкодромы, десятки казарм! Это позволило нормально жить и функционировать всему огромному организму. Однако, когда 6 декабря к нам приехал замминистра обороны СССР, маршал Москаленко проверять боевую готовность, то никто не делал скидки на то, что мы всего полгода живем на этой

земле, что почти все начинали с нуля! Спрашивали по полной программе. Было как бы само собой разумеющимся, что солдаты размещены, обуты, одеты, накормлены, что они учатся военному делу. Нам даже попеняли, что, мол, в Новосибирске солдаты живут в кирпичных казармах, а в Коченеве почему-то в деревянных. Конечно, тот год дался мне нелегко, но и незамеченным не остался. Вскоре я получил звание генерал-майора, а затем, уже приняв командование над Забайкальским округом, стал генерал-лейтенантом. Так что мои генеральские звезды получены не на московских паркетах, чем я очень горжусь.

Расскажу немного об истории 85-й дивизии. Она родилась в годы Великой Отечественной войны как дивизия народного ополчения. Защищала Ленинград, а потом освобождала Павловск, за что и получила свое название. Приехав в Сибирь, мы не хотели терять свои корни, стремились сохранить преемственность боевых поколений ленинградцев. Поэтому, по согласованию с Генеральным штабом, сюда приезжало служить не менее 20 процентов пополнения из Ленинграда, именно с тех крупнейших ленинградских предприятий, которые в годы войны формировали дивизию, — «Скорохода», Электротехнического завода, мясокомбината и других. Остальное пополнение было исключительно из сибиряков — мы считали очень важным, чтобы у нас служили именно сибиряки, а не парни из Средней Азии. Постоянно к нам на встречу с солдатами и молодыми офицерами приезжали бойцы первого ополчения, а наши ребята, в свою очередь, ездили в Ленинград. Дивизия и в мирное время продолжала традиции, заложенные в суровые годы испытаний, поэтому у нас был очень высокий уровень боевой готовности, был создан товарищеский микроклимат, царила атмосфера сотрудничества, которую поддерживали командиры полков, среди которых было еще немало фронтовиков. А сколько тысяч запасников прошло у нас переподготовку!

Работая в тесном сотрудничестве с горожанами и руководителями Новосибирска, мы старались тоже быть полезными городу, так сердечно принявшему нас. Очень активно помогали при строительстве Высшего войскового училища в Академгородке, а когда оно было закончено, то дивизия отдала туда свои лучшие кадры — начальника штаба, командира батальона и командира роты, которые перешли туда на преподавательскую работу.

Армейская жизнь не является изолированной от жизни гражданского общества. Нам приходилось очень часто встречаться и с учеными Академгородка. Поначалу они с некоторой осторожностью выходили на непривычное для них общение с военными, но после нашего сотрудничества на строительстве училища холодок в отношениях стал исчезать. Можно сказать, что началась настоящая дружба между людьми науки и армией. Постоянно перед личным составом выступали ведущие ученые — академики Лаврентьев, Трофимук, Марчук. И солдаты, и офицеры часто бывали в научных лабораториях, в институтах, где с ними проводились беседы, где для них читались лекции. Это очень благотворно сказалось на воинах. Исподволь росла общая культура, повышалась тяга к образованию, к знаниям.

А когда молодые выпускники училища стали знакомиться с девушками из научных семей, когда пошли свадьбы, то мы стали испытывать к себе прямо-таки родственное отношение, что очень нам помогало в дальнейшем сотрудничестве, в обучении и воспитании личного состава.

А новосибирские театры! Как много значит для офицеров, привыкших к жизни в отделенных гарнизонах, попасть в такой культурный центр, как Новосибирск! Наши офицеры считали для себя обязательным хотя бы раз в месяц побывать в театре — чаще не позволяла служба. Но зато семьи — жены и подросшие дети — прямо-таки

не выходили из театров и концертного зала, смотрели все спектакли, наслаждались всеми художественными выставками, посещали все выступления приезжих гастролеров. Да и наш великолепный дивизионный Дом офицеров, построенный по так называемому «ворошиловскому» проекту, давал немало возможностей для культурного и эстетического развития.

Так что Новосибирск создал для нас, военных, самую благодатную атмосферу для несения службы, для хорошей жизни. О дивизии очень скоро узнали в народе и стремились отдать своих сыновей на службу именно к нам. После сказанного вы теперь можете понять, почему я питаю к Новосибирску особые чувства, почему воспринимаю его как настоящую столицу Сибири — умную, заботливую, приветливую, щедрую и благодатную.

Татьяна Иванова

Хотите верьте — хотите нет, а только зима в пятидесятые-шестидесятые годы наступала в Новосибирске раньше, чем сейчас. И уже седьмого ноября, как правило, открывался каток. Взрослые усаживались в этот день за столы, чтобы отметить очередную годовщину Октября, а мы, подростки и молодежь, мчались на свой, настоящий праздник, туда, где кипит жизнь, играет музыка, где бодрит мороз — на каток! К началу сумерек туда, казалось, собирался весь молодой Новосибирск — старшеклассники и студенты, ученики ПТУ и техникумов. По всем тропинкам и дорожкам стекались девчата и парни к стадионам. Баловни судьбы шли со своими коньками, переброшенными веревочками через плечо, а «пролетарии» брали конечки на прокат. И тут уж как повезет — дадут хорошую пару, будешь кататься в удовольствие, достанутся ботинки-развалюхи, под которыми лезвия подгибаются то вовнутрь, то наружу, намучаешься. На этот случай бывалые ребята брали с собой веревки, подтягивая к пятке конек, чтобы крепче сидел на ноге и не болтался из стороны в сторону.

В просторной раздевалке народу — не протолкнуться. Две гардеробщицы едва справляются, выдавая номерки за наши пальтишки. К окошечкам проката — веселые очереди. Точильщик выбивает радостные искры, пробует ногтем лезвие конька: хорошо ли наточено? Наденешь коньки, и на лед!

А там — огни выхватывают из морозной тьмы мчащиеся по льду фигуры, звучит музыка.

«Ночью за окном метель, метель», — поет сладкозвучный Трошин. Хорошо! Еще секунда — и ты, подхваченный музыкой и общим потоком, уже скользишь по льду, рассекая воздух, упиваясь скоростью и радостью жизни, поют мускулы, тело полно жизни и силы, и у тебя за плечами словно вырастают крылья!

В те годы молодежь буквально болела катком, и на тех редких наших ровесников, кто не ходил на стадион, мы смотрели с жалостью, а то и с легким презрением.

Было модно и престижно быть спортивным.

Учились друг у друга, как, не снижая скорости, одолеть поворот, как тормознуть, если у тебя перед носом кто-то промчался, как лавировать между новичками и неумехами, как ездить парами. Особым шиком было, конечно, умение ездить задом наперед, и те пацаны, что умели это делать, пользовались особым авторитетом. У большинства из нас были обыкновенные «дутыши» — самые примитивные коньки, которые не очень-то позволяли блеснуть своим умением. Поэтому предметом особой зависти были «ка-нады»: высокие, как у хоккеистов, они были маневренные и позволяли развить большую скорость. Беговые коньки были только у единиц, как правило, у взрослых, серьезных людей, катающихся в одиночку, особняком и как-то не вписывавшихся в наш общий веселый галдеж. Немало было и тех, кто приносил с собой обыкновенные снегурки, прикручивал их веревочками к стареньким валенкам. И надо сказать, мальчишки на снегурках ничуть не уступали в мастерстве и скорости пижонам на «канадах». Фигурное катание тогда еще не вошло в моду, и если на катке изредка появлялась нарядная девочка в белой пушистой шапочке, в короткой, отороченной мехом юбочке, то все наши кавалеры начинали крутиться возле нее. Девочка не могла мчаться по кругу наперегонки вместе со всеми, ездил потихонечку, отталкиваясь одной ножкой, но зато она могла делать ласточку и при этом медленно вращаться. Выходило очень красиво, и все останавливались, чтобы

полюбоваться.

Накатавшись вволю, бежали в теплушку отогреться. А там — теплынь, почти жара. На полу — лужицы стаявшего снега, в воздухе — теплый парок. Народ пьет горячий молочный кофе и ест бутерброды. На скамейках — толчея. Здесь же — школа шнурования ботинок. Это очень важное умение — не так затянешь шнурки, разболются ноги или ботинки будут крутиться на ноге. В теплушке сразу видно, кто за кем ухаживает, — если парень перекидывает девчачьи коньки через плечо, значит, пойдет провожать. Здесь назначаются встречи и свидания, здесь же обсуждают завтрашний зачет или контрольную. Иногда проводятся импровизированные летучие собрания — ведь собирается почти весь класс или целая группа, можно и дела какие-то порешать, пока есть время.

В теплую погоду на каток бегали почти ежедневно, в морозы — два-три раза в неделю. И так всю зиму. Вспоминаю, в какой-то год мы завершали зимний сезон восьмого марта, скользя по мягкому, почти мокрому льду...

Теперь мода на спортивность отошла, у молодежи другие приоритеты, стадионы так не похожи на стадионы нашей молодости. А жаль, хотелось бы, чтобы вновь ожили ледяные поля Новосибирска, чтобы молодежь снова стала рваться туда как на праздник.

Гляжу на фото середины шестидесятых, где изображен наш десятый «б» класс.

Подходит дочь, внимательно рассматривает каждое лицо и вдруг говорит:

— Мама, а какие парни у вас в классе были красивые и здоровые!

— Правда? А я этого как-то не замечала. Мальчишки как мальчишки.

— Нет, ты посмотри, какие плечи, какие осанки. Настоящие мужчины!

— Ничего удивительного, — говорю, — летом они играли в футбол, зимой катались на коньках. Спортом занимались.

Раиса Удалая

В 1971 году это было. Сидела я в своем канале, работала, вдруг прибегают ко мне контролеры, технологи, кричат, плачут: «Рая! Рая!» Я думаю, что случилось? Война? С детьми что? Обмираю прямо. А они опять: «Силантьевна, вылезай давай!» Вылезла я, а они давай меня в воздух подбрасывать, целовать. Я ничего не понимаю. А потом оказывается: по радио только что объявили, что меня орденом Ленина наградили. А я ничего не знаю, клепаю себе... Тридцать восемь лет я клепала самолеты, вернее сказать, воздухозаборники для них. Это такой ящик метр на полтора, внутри него четыре шланга и окошечко узенькое. Вот туда и залажу. Беру с собой ящик с заклепками, сверлю, зенкую, вставляю заклепочку так, чтобы она была наравне с обшивкой, так, чтобы ее потом потоком воздуха не вырвало и в двигатель самолета не затянуло. Иначе быть беде! Там тысячу раз перекрутишься то на коленях, то вверх лицом, то вниз — три тысячи заклепок за смену!

Помню, Дементьев к нам приезжал, министр авиационной промышленности. Было это еще при покойном директоре Глебе Алексеевиче Ванаге. Навел он тогда всяких генералов, начальства всякого пропасть. Я как раз клепала заднюю обшивку, сидела спиной к окошечку, и мне не было ничего ни видно и ни слышно — шум у нас большой и вибрация. Клава, напарница моя, она снаружи работала, кричит мне, а я не слышу. Она опять кричит, а я опять не слышу. Потом уж близко к окошечку подошла да как закричит матом:

— Рая, так твою мать!

— Вот теперь слышу!

Тут такой хохот раздался, что весь шум перекрылся. Выглядываю: ой! сколько начальства! Вылажу, они стали меня спрашивать:

— А как вы там? Ведь там же пространство такое узенькое, а вам еще надо работать?

— А вот так! — говорю. — Залезьте сами, попробуйте! На заводе клепки много всякой, даже два клепальных цеха есть. Но воздухозаборников надо на каждую машину всего две штуки, а залезть в него может только кто-то маленький. Женщина замуж выйдет, родит, располнеет, у нее животик появится, тазик раздастся, и все! Не развернуться ей там! Мужчина тоже должен быть маломерочкой худеньким. А я росточком невелика и из себя не толстая — этот воздухозаборник как раз вроде для меня. И то столько шишек набьешь за день! У меня вся голова избитая! Всегда, когда я в отпуск собиралась, мне начальство говорило: «Отдыхайте, выздоравливайте, только не поправляйтесь!»

У меня ведь совпадение в жизни было, как предзнаменование. Училась я в пятом классе. В школу надо было за десять километров идти — я же деревенская. Вот однажды идем домой, вдруг видим — самолет! Летит низко-низко, кружит и садится на скошенное ржаное поле. Мы, конечно, бегом к нему. Я как сейчас помню: подбежала и глажу крыло, глажу и вот эти самые заклепочки натрогала. Тут дяденьки из кабины вылезли, и я их спрашиваю: «Это не гвоздики?» — «Нет, девочка, это заклепки!» Не думала я никогда, что с этими заклепками вся моя жизнь будет связана...

Работала я хорошо, и стали меня на общественную работу выдвигать. Избрали профгруппом. Это прямо беда! Мало того что взносы со всех собрать надо, так потом еще и марки клеить два раза — в профбилет и в учетную карточку. Тому —

рубль сорок, другому — два двадцать. Сколько лет я этим профгруппоргом была, не упомню. Много! И что интересно: уеду в отпуск, а меня в это время возьмут и изберут. Приезжаю, а мне говорят: «Рая, мы за тебя голосовали!» И опять те же марки. Целый день на заводе накрутишься, руки горят, а ночью марки клеишь. Дети мои, как подрастать стали, тоже марки стали клеить — помогать маме.

И вот избрали меня делегатом на VII съезд профсоюзов. Много там разных людей было, и летчик-космонавт Севастьянов. Мы даже рядом в президиуме сидели. Мне выступить предложили, и тут подходит к нам Шемякин — директор института, который занимается снижением шума на производстве. Он бывал на нашем заводе, и мы просили его заняться этим и у нас. Увидела я его и говорю:

— Вот мое выступление. Но я еще от себя скажу, что вы нам сколько уж лет снизить шум обещаете, а ничего не делаете! Шум как был, так и есть. Мы все инвалидами станем!

Слово мне предоставили, прочитала я все, что мне написали, а потом от себя говорю:

— Сколько я лет взносы собираю. Профсоюз — дело добровольное, но в нем все состоит. Объясните мне, неужели это такая проблема с марками-то? Мало того что мы так работаем, что пальцы немеют, так еще потом эти марки шлепать надо!

И пальцем по столу стала что есть силы бить. Зал засмеялся, смех долго стоял. А потом я прибавила:

— Неужели же нельзя эти деньги просто из зарплаты в бухгалтерии высчитывать? Мне тут все захлопали. Севастьянов шепчет: «Ну, вы молодец. Так разошлись!» А после меня наш министр Дементьев встал и вдруг начал про меня рассказывать: «Что такое клепка? Это адский труд. Это что же люди над собой делают? Я туда заглянул, там такая дырочка маленькая, она там сидит в три погибели и работает как герой. Бедные наши женщины, такую работу делают — мужчинам не под силу! А вообще-то, ваша такая умная идея, про марки. Мы ее регистрируем и в решение запишем».

Начался перерыв, подходит ко мне этот самый Шемякин: «Раиса Силантьевна, вы как выступать начали, я даже взмок весь. Так боялся, что вы про шум расскажете, на всю страну меня опозорите...»

И в райсовете я три или даже четыре созыва была депутатом. Еженедельно, по понедельникам, — прием избирателей. Со всякими просьбами люди ходили, а еще работа была на своем участке. Однажды приходит директор школы и просит, чтобы помогли с квартирой семье одной ученицы. У нее отец умер, а мать от горя парализовало. Девочка за ней ухаживает, а живет неблагоустроенно, воду таскает на себе за два квартала. Я назавтра, в обед, говорю своему мастеру:

— Вот что, если я не вернусь скоро, то ты не волнуйся. Я хоть в шесть приду, а норму свою сделаю!

И поехала к этой девочке. А там — ужас! Мать на стульчике с дыркой сидит, под ним — ведро, ходить-то не может. А девочка, такая славная, так вежливо поздоровалась и говорит: «Вы меня извините, я только кроликов покормлю и сейчас вернусь!» Мать ее так жалеет: «Она у меня молодец. Только ей достается, бедной. Вот еще кроликов завела, чтобы еда в доме была». Вижу, в самом деле помогать надо, и к председателю райисполкома: «Хочу, чтобы вы поехали и посмотрели сами, как эта семья живет. Не может быть, чтобы ваше сердце не дрогнуло».

А он не хочет. Я говорю: «Я все равно не уйду, пока кто-нибудь не съездит туда и не посмотрит!» Ну, послал он тогда туда одну женщину из райисполкома. Она поехала, все записала, а дело — ни с места! Так я потом раз 14 в исполком ходила, пока

председатель мне не сказал: «Я вижу, что ты все равно от меня не отстанешь!» — и выделил квартирку однокомнатную в инвалидском доме. Так девочка эта так благодарна была, говорит мне: «Я вас никогда не забуду. Вот осенью я буду резать кроликов и вас приглашу!»

А с ясельками, с садиками тогда как тяжело было! Приходишь к заведующей и давай упрашивать, чтобы приняли малыша, потому что его маме без работы приходится сидеть, без денег. Не пропадать же им! Поугovarиваешь так, и идут навстречу, потеснятся, примут ребенка.

Я на завод-то как пришла в 19 лет, то жила на квартире, в частном доме. Там и замуж вышла, там и ребенок родился. А потом муж ушел на стройку, чтобы получить комнату. Когда ее получили, уже обе дочки школьницами стали. Мне мой муж Николай и говорит: «Рая, уходи с завода. Иди на стройку, чтобы получить квартиру. Сколько же можно в комнате жить!» Оно, конечно, и тесно, и девочку мы отдали музыке учиться. Когда она на пианино играет, то бабка-соседка в комнату врывается и кричит: «Ты закроешь ли свою бандуру, мать твою так? Голова от тебя болит!» Ясно, что не жизнь это. В общем, подала я заявление начальнику цеха. Он отвечает: «Хорошо. Я обращаюсь с этим к директору». А тут как раз суббота рабочая, и директор-то к нам в цех и пришел. Подали ему мое заявление. Директор подошел ко мне: «Раиса, вы выбирайтесь, поговорим!» Вылезла я, он меня спрашивает: «Раиса, а вы почему ко мне сами никогда не зайдете?»

— Глеб Алексеевич...

— Я знаю, что я Глеб Алексеевич. Почему ты сама мне никогда не говорила, что тебе жилье нужно?

— Ну что я к вам пойду? Я же знаю, что завод строит только хозспособом, чтобы квартиру получить, самой на стройке работать надо. А меня начальник цеха не пускает, он говорит: «А кто в заборник за тебя полезет?»

— Ну, вот так: в декабре мы жилье получим. Ты ко мне не ходи, у тебя есть начальник, будешь с ним связываться...

В декабре не в декабре, а в апреле мне позвонили из завкома и сказали, чтобы готовила паспорта на получение квартиры. Дали нам тогда двухкомнатную на улице Леже-на. Я к тому времени на заводе уже 18 лет оттрубила. И орден Ленина когда вручали, я в ней жила, и Золотую Звезду Героя, и второй орден Ленина — там же. Я с работы иду, а меня корреспонденты дожидаются. А я всегда поздно возвращалась — то в десять, то в одиннадцать. Они иной раз и не дождутся, уедут. А дома у нас к тому времени шесть человек обреталось: мама, старшая дочь с внучкой — в одной комнате, а мы с мужем и младшей — в другой. Она у нас на полу спала, ночами раскрывается, так я ложусь рядом, чтобы проследить, а то простынет. То есть дом полон. Так вот эти-то корреспонденты где-то нажали: это в каких условиях у вас герой живет? Сколько времени прошло, не помню, звонят мне из исполкома: «Раиса Силантьевна, приходите, пожалуйста!»

Прихожу. «У нас есть указание, чтобы мы дали вам жилье. У нас дом построен, идите посмотрите, мы для вас выделяем четырехкомнатную квартиру». Я им говорю:

— Да вы знаете, у меня зять скоро кончит учебу и заберет с собой дочь с ребенком, у нас свободней станет. Мне не надо.

— Раиса Силантьевна, не будьте такой скромной... Вот вам адрес, сходите, посмотрите.

Пошли мы с мужем. Посмотрели. Хорошая квартира. Ну зачем нам такая большая — Лена-то скоро уедет. Муж мне сказал: «Рая, квартиру тебе дают, тебе и решать!»

Пошла опять в райисполком:

— Если вы можете, то дайте мне лучше трехкомнатную. Нам хватит!

Они на меня так странно посмотрели: — Да вы хоть за собой сохраните эту двухкомнатную! — Зачем? — Как зачем? А детям?

— Так они уедут!

— Но они ж вернутся! А вы пока ее в аренду сдавайте.

Я подумала: зачем мне это? И отказалась. Так вот и переехала в эту самую трехкомнатную, здесь и живу...

Мне даже кажется, что у меня такой любви к детям не было, как к внукам. Когда внук родился, я настолько его полюбила, что шла домой, а он у меня в глазах стоит!

Приду, а он говорит: «Бабулечка моя, родненькая моя, меня сегодня никто-никто не выводил на улочку гулять!» Я давай его быстрее одевать и на улицу, сама не присяду, не разденусь. Мне муж говорил: «Если бы я не знал, как ты работаешь и в каких условиях ты работаешь, я бы ни за что не поверил, что у тебя есть силы с внуком гулять после такого тяжелого дня». Выйдет на улицу: «Ты иди домой, супу поешь, ты же свалишься!»

Он мне все время повторял: «Рая, ты — дурной ишак! Ты столько лет тянешь эту лямку. Сколько можно так работать? Да еще и общественная нагрузка. Да ты бы хоть когда домой пораньше пришла, я тебе суп сам сварю, ты бы хоть села, поела, да с детьми поговорила, да со мной посидела. Тебя ж дети не видят!»

А когда мне звание Героя присвоили, к нам домой праздновать люди приходили — начальник цеха, парторг завода. Муж бегал куда-то, коньяк доставал. Меня-то дома не было, они без меня отмечали. Прихожу, гостей уже нет никого, а муж маленько подвыпил, плачет: «Рая, ты меня прости! Я тебя никогда больше не буду ишаком называть!» Наверное, они ему про меня слова хорошие говорили, что он так отреагировал. Я ему и сказала тогда:

— А ты знаешь, я на тебя нисколечко не обижаюсь. Чтобы тебя ишаком назвали, так надо это еще заслужить! Ишак — он ведь идет себе потихонечку, сколько на него ни навалишь, он все тянет, все тяжести, и безотказный. Идет себе и идет. Чего тут плохого? Вот и я себе работаю да и работаю.

Тут, к слову, о работе вспомнила: когда меня делегатом на XXVI съезд партии избрали, встретил меня министр авиационной промышленности Аполлон Сергеевич Сысцов и сразу, будто меня сто лет знает, говорит:

— Раиса Силантьевна, я хочу, чтобы вы на съезде выступили.

Я так испугалась, так растерялась:

— А что мне говорить?

— Расскажите о заводе.

Я молчу и думаю: а что я знаю о заводе? Знаю только клепальные цеха, а остальные — нет, потому что мне некогда по заводу ходить. Прихожу утром, залажу в свой воздухозаборник, а поздним вечером, а то и ночью заводская дежурка или заводская «скорая» до дому довозит нас, полуночников. И так каждый день.

Помолчала я, помолчала, потом говорю:

— Я не знаю завода...

— Как не знаете? Раиса Силантьевна!

— Раиса Силантьевна по заводу не ходила, она работала, самолеты клепала!

Сказала, как отрезала. Он так хохотал! Но как в Новосибирск вернулась, посадили меня в микроавтобус и по всему заводу провезли, вроде как экскурсию провели, чтобы я в другой раз знала, что говорить и о чем рассказывать. Я ведь была делегатом и XXVI, XXVII, XXVIII съездов, и XIX партконференции...

А в ту мою встречу с министром, когда он спросил меня, как мы работаем, я рассказала о наших проблемах. Для клепки нужны поддержки — это такие железяки разной конфигурации, их у нас 42 вида. Они железные, холодные, перчатки люди не успевают менять. По правилам к поддержкам требуется теплоизоляция, а ее нет. Я и говорю: «Прошу помочь. Вам это ничего не стоит, вы только трубочку поднимите, и все будет. Только имейте в виду, что я не жалуясь, а просто прошу помочь нашему руководству». И что же вы думаете? Попало мне потом на заводе, как медному котелку! Новый директор уже был, на партсобрании говорит: «Раиса Силантьевна не в курсе, а такой шум подняла!» Я думаю: ну нет, я с ним поговорю! Собрание закончилось, я ему наперерез: «Скажите мне, пожалуйста, в чем я не права? Я сделала это для рабочих наших цехов, а что вам попало за то, что вы их не обеспечили, — это не моя забота!»

Так вот жила, работала, пришло время дочку старшую с мужем служить отправлять. Люди они молодые, еще необеспеченные, им надо на новом месте с нуля начинать. Отдали мы им свою мебель — думали, что хорошо зарабатываем, себе быстро новую купим. А где тогда было купить? Люди отмечаться бегали к магазинам два раза в день, караулили свою очередь, кто месяцами, а кто даже годами. А у меня времени нет: день-деньской на работе. Спим на полу, одежда навалом. И так много месяцев. Смех и грех: один раз у нас на заводе был вечер, и директор наказал главному инженеру: «Марк Константинович, доведите Удаю до дома на своей машине». Он меня довез, проводил до лифта и заявляет: «Раиса Силантьевна, я найду, посмотрю, как вы живете!» Я чуть в обморок не упала. Отвечаю: «Нельзя ко мне! Если вы перешагнете порог дома, я умру!»

Не могла же я завести человека в дом, где постели на полу лежат, перины, одежда — ужас! Как сюда людей приглашать? После уж, как Марк Константинович сам директором стал, я ему призналась, почему его в дом не впустила.

Он долго хохотал: «Ну, Раиса Силантьевна, ну чудачка!» А потом спросил: «А почему вы не обратились к нам, мы бы вам помогли». Я ему отвечаю: «Что у вас других дел нету что ли, чтобы моей мебелью заниматься?»

А потом мне Муха, спасибо ему, помог. Я же была членом бюро горкома партии и он тоже. Мы с ним на заседаниях рядом сидели. А он в то время директором «Сибсельмаша» работал. В общем, были мы знакомы. Приезжаю в отпуск в санаторий, вижу, и Муха здесь. Ну мы с ним вместе на «водопой» ходили — на лечение такое. Разговаривали. И он как-то спросил, как я живу. Я отвечаю: «Как, как, Виталий Петрович! Елки-палки, на полу сплю, мебели нету!» «Ну, это мы устроим», — отвечает. А «Сибсельмаш», если вы помните, мебель делал тогда. Вернулись в Новосибирск, я молчу. А потом на бюро встретились, и он вспомнил: «Ну что, купили мебель?» — «Да откуда?» — «А почему же вы меня не побеспокоили? Ну вот что, приезжайте завтра на завод». Приехала и стенку купила, и кухонный гарнитур! Люди, конечно, бывало, завидовали. Причем не те, что в нашем цехе, а те, кто меня вообще не знал. Когда мне Героя дали, директор на производственном совещании объявил об этом, и тут кто-то из начальников цехов заявил: «Подумаешь, Героя дали! Что, у нас мужиков нет, что ли?» А директор ему ответил: «А вот посади тебя на восемь часов в ту дыру, где Удаля сидит, просто так, без работы, а я потом посмотрю на тебя! А она еще и работает там, да так, что не всякому мужику угнаться». Когда мне передали эти слова, мне так приятно стало, что директор обо мне уважительно отозвался. Он после этого пришел к нам в цех и сказал: «Раиса Силантьевна, я тебе дубликат звездочки закажу. Носи его каждый день на комбинезоне, чтобы все видели. Ты это заслужила».

Хотя, конечно, тот начальник цеха по-своему прав был. У нас на заводе Чкалова можно было каждому десятому Героя Труда давать. Вы вспомните, сколько в легкой промышленности было Героев, а у нас на таком заводище только двое. Неправильно это. У нас труд тяжелый, изнурительный и очень ответственный. Мы на работе здоровье подорвали, у всех вибрационная болезнь. Одно только и спасало, что нас всех каждый год подлечивали в санаториях. Такой порядок был — только весна подходит, так звонят из завкома: давайте списки своих вибрационников, чтобы мы путевки заказали. И каждый год бесплатно отправляли всех. Женщины наши даже авиабилеты сдавали потом в бухгалтерию на оплату. Я никогда этого не делала: что уж я, сто рублей не найду на дорогу? Один раз приехала в санаторий, в Сочи, а там профессор какой-то из Москвы старенький, по вибрациям специалист. Посадил меня на стульчик, ни словечка не спросил, а только начал все косточки ощупывать с пальцев ног начиная. Потом встал с колен и говорит: «Я не знаю, где эта женщина работает, но только я еще в вашем санатории не видел таких. У одних руки, у других ноги, а эта поражена насквозь. У нее организм вибрации полностью на себя принимает. Она где-то внутри сидит. Вы где работаете?» — «На клепке заборника». — «За-борник, заборник... А, я понял. Ну, так я прав!»

И отписал мне бумагу, чтобы на инвалидность. А в поликлинике заводской меня чего-то невзлюбили: «Чего вы носитесь с этой Удалой? Она же за свою звезду аж 10 тысяч загрехала!» А я ни копейки за нее не получила, правда. Зарплату хорошую, конечно, имела, с выработки: то 400, то 500 рублей. Это деньги были немалые... В общем, «потеряли» мои документы. Бог с ними!

38 лет я в заборнике сидела, и до пенсии, и после пенсии. Потом в нашем же цехе распредом устроилась, в своей же мастерской. В 1996 году начальник цеха вызвал моего мастера:

— Ты поговори с Удалой. Мы ей миллион рублей выпишем, пусть она один заборник срочно сделает.

Я ответила:

— Давайте мне десять миллионов, я не полезу. Отклепалась Раиса Силантьевна. У меня спина болит теперь, мочи нет. Она и раньше болела — подлечивали. Это от постоянного переохлаждения — всю жизнь сидела на голой дюра-ли. Одеться потеплее не могла, иначе не развернешься, у меня под комбинезоном одни тоненькие штанишки — вот и все утепление. А колени, а ноги, а руки? Видите, как я теперь хожу? Еле ступаю. Другой раз так скрутит, что не разогнешься. Ночами ворочаешься, не знаешь, куда руки засунуть. Выработалась вся без остаточка! А вроде бы мы и дураки, что работали. Так прямо и говорят молодые-то: «Ну и что, что вы работали?» Да, никому мы стали не нужны. У нас на заводе до чего додумались — пенсионерам пропуска на завод не выписывают, словно мы преступники какие. А мы всю жизнь ему отдали и здоровье здесь оставили... Начальство старое ругать сейчас принято. Были, конечно, среди директоров и начальников и дуrolомы, и жулики всякие. Были. Но большинство — народ честный. Я знаю, я повидала. А спрашивали с них как, а ответственность какая! Ты попробуй план не выполни — вмиг голова слетит. И что вы думаете, у них потом пенсия была какая особая? Ничего подобного! Мне Ванаг, помню, звонил: «Раиса Силантьевна, какая у тебя пенсия сейчас?» Я ответила. Он и говорит: «Значит, должны прибавить. Мне вот прибавили. У меня теперь 180 рублей!» Это у директора такого завода, такой махины! Он же свету белого не видел, работал: и строил, и людям помогал. А теперешние директора жируют, а люди на рельсы ложатся...

Вот, говорят, коммунисты воровали. Но я была членом Ревизионной комиссии ЦК КПСС. Знаете, сколько зданий строилось на партийные деньги? Что, эти дома можно теперь за границу вывезти? Они продолжают людям служить! А сколько издавалось различной литературы? А сколько вообще добрых дел делали начальники того времени. Взять, к примеру, наших, областных. Я помню, на XXVI съезде, в Москве, я ужинала вместе с двумя Филатовыми — один был председателем облисполкома, другой — первым секретарем обкома. Мне Виктор Андреевич признался: «Я сегодня такой бой в Совете министров выдержал, до сих пор пиджак мокрый!»

— Что такое?

— А меня заставляли яйцо сверх плана сдавать, чтобы, значит, его из области вывозить. Я им ответил, что у нас в области дефицита сейчас только на яйца и нет. Так давайте еще и этот продукт у народа заберем!

Так что я-то знаю, как им доставалось, как им сражаться за область приходилось. Не позавидуешь. Не для себя же они старались...

Еще один случай. Были мы с Александром Павловичем Филатовым в Москве на пленуме ЦК. Звонят с нашего завода: план не засчитывают, хотя завод выполнил свою программу полностью. Подвели куйбышевцы: не поставили черные ящики. Так мы с Александром Павловичем пошли к министру обороны, к самому Устинову. Александр Павлович ему все объяснил, а потом я от себя добавила, что у нас много готовых самолетов и даже про запас на январь есть. Устинов нам подписал тогда план. Так разве у Филатова только за один завод голова болела? Сколько он по министрам ходил! За себя? Для себя? Вот и то-то!

Все и вся ругают, что из прошлого. Мол, выбирали в депутаты рабочих да колхозников. Да, выбирали. Они приедут в Москву на два дня, а на третий, после последнего заседания, в тот же вечер, выезжают за станком стоять, коров доить, сено косить, землю пахать. Едут ра-бо-тать! А сейчас наши депутаты куда едут? За границу, да наши же деньги! И «мильены» получают.

Вот я все думаю: может, и в самом деле мы дураки были, что себя не жалели, а работали? Может, зря это все было? А потом все-таки прихожу к такому выводу: нет, не зря! Вкалывали не зря, хотя и «мильены» не получали, зато государство было крепкое, надежное, как скала! Страну уважали, было чем обороняться, и Родину мы и в самом деле трудом крепили. Нет, нет, не зря мы работали!

Иван Индинок

Когда-то, в дореволюционные времена, на главном проспекте города стояла часовня Святителя Николая, которая символизировала собой тот факт, что Новониколаевск является географическим центром Российской империи. Мало этого, святой Николай, чье имя носила часовня, являлся как бы покровителем Новониколаевска! Когда я узнал об этом, подумал: а может, стоит вернуть часовню на ее прежнее место, отстроить вновь, восстановить историческую справедливость? И вот молодой архитектор Петр Чернобровцев уткнулся в архивы, нашел старые чертежи и начал делать проект восстановления часовни.

Когда проект, повторяющий со скрупулезной точностью замысел старинного автора, был готов, его обсудили на градостроительном совете и рекомендовали к воплощению. Значит, надо строить! И тут во мне разыграло ретивое: мы только «отремонтировали» бульвар на Красном проспекте, посадили березки и кустарники, засеяли газоны. И что, теперь все это ломать? Рука не поднимается. Жалко! Я долго размышлял над этим, а потом говорю градостроителям: докажите, что часовня не испортит облик города!

Тогда главный архитектор повез меня по городу. Вот стоит на Красном здание Дома одежды. Он меня и спрашивает:

— Это здание вам нравится?

— Хорошее, — отвечаю, — здание. Красивое.

— Так вот, оно здесь совсем неуместно! Посмотрите вокруг!

А вокруг стоят гастроном «Под строклой» и институт. Эти два дома образуют некую сферу, полуокружность. Если бы здание Дома одежды было поставлено как бы в продолжение этой окружности, то образовалась бы красивая площадь, все было бы гармонично, закончено... А сейчас оно находится в явном противоречии с предыдущими строениями.

Едем дальше. Дворец культуры железнодорожников.

— Хорошее здание?

— Нормальное.

— Никакое! Серое, безликое, невыразительное. Город оно не украсило. Лучше вообще не строить, чем возводить такие «дворцы»!

И так далее. Эта экскурсия лишней раз убедила меня в том, что не стоит вмешиваться в кухню архитекторов и градостроителей: они профессионалы, и надо им доверяться, помогать, а не мешать...

В общем решили часовню строить. Подходило 100-летие Новосибирска. Вот было бы хорошо успеть поставить ее к юбилею города! Работы по строительству поручили фирме «Вираз-Юхос», выделили из бюджета малую толику денег для начала, а потом я поехал по городу с протянутой рукой: поехал по фирмам и банкам и с миру по нитке набрал денег на строительство. Так что можно сказать, что часовня построена на народные пожертвования, как издревле водилось на Руси. Это небольшое сооружение потребовало большего, чем обычное строительство, — оно требовало любви! Все старались работать с особым тщанием. Очень долго искали человека, который мог бы сделать купол: у нас ведь утрачено индивидуальное мастерство. Хлопотали о сусальном золоте. Потом долго спорили, стоит ли золотить купол или сделать золотым только крест? Чернобровцев-старший доказывал, что купол надо бы сделать голубым, и тогда золотой крест на его фоне

будет особенно эффектен и главка часовни будет похожа на драгоценную брошь. А мне хотелось, чтобы и купол, и крест сияли золотом. И я рад, что архитектор Скоробогатько был солидарен со мной и поддержал меня.

Золотили купол на земле, и когда все было готово, пригласили меня посмотреть, как его будут поднимать. Я пришел, глядел, как ползет кверху золотая маковка, и не стесняясь плакал. Я был счастлив, что в трудное время, когда все пошло вразнос, мы сумели поставить такое необычное сооружение. И часовня так удивительно вписалась в облик города, словно стояла здесь всегда, словно не было ее разрушения. Она здесь такая родная. Она сразу стала символом Новосибирска, стала украшать обложки книжек, открытки, телевизионные заставки, исторические рубрики в газетах.

Был еще один необычный объект, который тоже стал подарком к юбилею города, — светомузыкальный фонтан. Строился он также на пожертвования спонсоров, а не из денег налогоплательщиков, и тоже стал украшением. Спасибо депутату горсовета Зотову, который взялся за это дело и довел его до конца. Теперь фонтан — излюбленное место отдыха молодежи.

Вот два сооружения, которыми я горжусь, которые сделаны при моем непосредственном участии и заботе. Они построены во время смутное. Вы помните: люди уже улыбаться перестали, инфляция галопировала, впереди вроде бы никаких перспектив, у многих состояние шока или депрессии, а город сказал: «Люди, земляки! Не надо отчаиваться. И в это время есть вещи, которые выше сытости, — это духовность!»

И я помню, как цвел улыбками Красный проспект в День города, когда мы праздновали столетие.

Работа в мэрии — лишь небольшая часть моей жизни, хотя она и наиболее заметна для горожан. Десять лет я отдал заводу, с которым связаны, пожалуй, лучшие мои годы. Приехал я сюда после окончания Томского политехнического института. Нас, целую группу выпускников, уговаривал это сделать заместитель по кадрам НИИ измерительных приборов — он специально ездил в Томск набирать молодежь. И так разрисовал свой НИИ, что лучше в мире нет! Такие сулил захватывающие перспективы, даже обещал устроить всех в инженерное общежитие.

И вот мы, группа молодых специалистов, приехали в Новосибирск. Заходим в кадры: «Вот, мы приехали!»

— Хорошо, что приехали. Вызывает человека:

— Давай, рассели ребят!

И этот человек повел нас куда-то в Красногорский переулок и показывает комнату в полуподвале частного дома. — А как же инженерное общежитие? — А его еще строить надо!

— Нормально! — думаем.

Дали нам, инженерам, лопаты и послали на стройку — но-р-мально! А потом — в колхоз на два месяца. Вернулись мы из колхоза как раз к комсомольской отчетно-выборной конференции. Ни отчет, ни выборы никак меня не трогали — я был здесь еще чужой. Я сидел с мужиками в последнем ряду и играл в «Морской бой». И вдруг слышу свою фамилию — оказывается, меня выдвигают в комитет комсомола.

Думаю, это мои институтские друзья расстарались — я там комсомольскими делами заправлял, был, что называется, вожак. Но здесь-то?

Я встал и сказал на весь зал: «Население! Вы что делаете? Я всего два месяца в Новосибирске, знаю только улицу Дуси Ковальчук да Красный проспект!» И вдруг слышу голоса:

— О-о! Нормальный парены!

И все! Избрали в комитет комсомола. После окончания конференции собрались на первое заседание комитета — надо же избрать секретаря. Кандидатура была подготовлена заранее — выпускник техникума, молодой коммунист. А ребята заупрямились: «Мы его не хотим! Мы Индинка хотим!» Я отбивался: «Вы что делаете, паразиты? Я же вообще к работе не приступал. Вы меня первый раз видите, не знаете...»

— Не-е! Ты — нормальный мужик! Давай, соглашайся! Партийный начальник не ожидал такого поворота. Откладывает решение до завтра, мол, подумайте! А сам — в райком: ребята подняли бунт, хотят Индинка! А в райкоме говорят: «Ну, раз хотят, так пусть Индинок и будет!»

Ладно, раз такое дело, даю согласие. С оговоркой: только на год! Год проработал, а мне заявляют: «Ты чего? Мало работал! Давай еще годик!»

Раз избрали вожаком — будь им! Я и пел, и хоть никогда не был тростиночкой, плясал, и везде и во всем сам участвовал — субботники, воскресники, самодеятельность, вечера, подведение итогов, соревнования. Жизнь кипела вовсю! Через два года, наконец, приступаю к инженерной работе, прихожу в лабораторию, а мне начальник говорит: «Слушай! Нам надо народ на стройку посылать. А ты еще в дело не вникал, ничего не знаешь. Ты сходи, поработай там. Это будет безболезненно для нас!»

Такая меня обида взяла! Господи! Заставили два года потерять, а теперь заявляют, что я ничего не знаю! Но прошли и эти месяцы, и я наконец-то стал инженером, стал вникать в работу, освоился. А вскоре вышел приказ министра о необходимости создания лаборатории по анализу состояния и развития электронной промышленности, которая бы занималась прогнозами и перспективными разработками. Меня поставили ее начальником.

Работалось хорошо. Было полное взаимопонимание с коллективом, с руководством. Особенно хочется сказать о нашем директоре — Юрии Григорьевиче Шелюхине. Он пришел к нам в период, когда предприятие находилось в стадии стагнации, все было настолько плохо, что нас даже хотели расформировать. И что значит личность руководителя! Он начал с того, что заставил всех сесть за парты, переучиться — без этого мы бы никогда не вышли на уровень современных требований. В результате всего через шесть лет коллектив наградили орденом! Сам Шелюхин постоянно совершенствовался, был в курсе всех последних технических достижений, а периодическую литературу — технические журналы — постоянно возил с собой в машине и использовал каждую минуту, чтобы узнать что-то новенькое. Он был уникален, обладал чудовищной работоспособностью, был жесткий, требовательный, умеющий видеть перспективу там, где ее не видят другие. Был беспощаден к себе. По выходным делал пробежку на лыжах, а потом садился к столу и работал над диссертацией. Защитил и кандидатскую, и докторскую! И как при нем воспрянул коллектив!

В 1967 году, когда мне исполнилось 28 лет и я выбыл из комсомола по возрасту, вступил в партию. И можете себе представить, меня сразу избрали вторым секретарем парткома! И тут — случай. Как раз в это время первого секретаря послали на курсы высшего управленческого состава, и я, еще молодой человек, был избран первым секретарем партийного комитета крупного предприятия. Сейчас говорят, что это были времена застоя, что любая инициатива душилась, что было невозможно делать что-то творческое, созидательное. А я вспоминаю это время как песню! Потому что мы очень много работали и видели плоды этого труда.

Праздновали 50-летие образования СССР. Это был 1972 год. Каждый цех или отдел «брал в разработку» какую-либо республику — кто-то были белорусами, кто-то — узбеками... Все изучали национальную культуру республик, традиции, обычаи. Шили костюмы. Женщины для них даже шторы с окон снимали, если расцветка подходила, и безжалостно резали, кроили. Изощрялись над приготовлением блюд национальных кухонь. Такие были празднования грандиозные! Танцевали, пели. Казалось, никогда не разорвать наш Союз. Был настоящий энтузиазм. Но... развалили... Но это другая песня...

А какой мы построили профилакторий для своих сотрудников! Строили методом народной стройки, по графику. Скажем, в один день на стройку едут парторги, в другой — начальники цехов, в третий — комсомольский актив. Все вкалывают целый день. Это был и труд до седьмого пота, и общение, и веселье. И ведь построили! И какой! Расположен в прекрасном месте — в Мочище. Путевка на 21 день стоила всего 15 рублей. После работы приезжаешь, ужинаешь, принимаешь все процедуры — души, ванны, массажи, физио, делаешь уколы, а утром, после завтрака, — на работу. В выходные дни — трехразовое питание, прекрасное санаторное обслуживание. Получалось, что наши сотрудники имели возможность два раза в году подправлять свое здоровье — в профилактории, без отрыва от работы, и в отпуске.

Потом обратили внимание, что ездят, как сказал один сотрудник, только «лохматые» — те, у кого детей нет. Тогда приняли решение строить рядом санаторий «мать и дитя». Мамы оставляют детишек, за ними присмотрят, с ними позанимаются, а мамы могут спокойно работать и проходить лечение. И теплицы были у нас прекрасные. И все это потому, что были успехи в развитии производства, а значит, были деньги на развитие социальной сферы.

Предприятие и его работников за достигнутые показат.; тели неоднократно награждали, и я удостоен двух орденов Трудового Красного Знамени.

Потом — неожиданность. Погиб заместитель директора по производству.

Принимается решение, по которому я должен был занять его место. По тогдашним правилам ни одно назначение такого масштаба не обходилось без благословения райкома партии. Пошел в райком к Валентину Лукьяновичу Авдееву, а он неожиданно говорит: «Нет, не будешь ходить в замах у директора, пойдешь в замы ко мне!» Мне совсем не хотелось оставлять производство, и я поехал в обком: может, там меня поймут? Но обком поддержал Авдеева:

— Нет, мы не будем тебя рекомендовать на эту должность, пойдешь в замы к Валентину Лукьяновичу!

— Да почему?

— Напишем, что ты не справишься, вот и все!

— Но это же подло!

— Это по-твоему подло, а по-нашему — решение кадровых вопросов!

Так я попал в Заельцовский райком. И хоть шел туда не по своей воле, но все равно благодарен судьбе, что она свела меня с Авдеевым. Это был выдающийся, я считаю, партийный руководитель. Кристально честный, порядочный, работоспособный. Думаю, его нарочно «придерживали», чтобы не обошел других, чтобы никому дорогу не перешел. Что обидно. Уверен, окажись Валентин Лукьянович в роли секретаря горкома, он принес бы много пользы обществу. Он был моим учителем так же, как Шелюхин, и я до конца дней буду признателен этим двум людям за науку.

Как ни покажется странным, районные комитеты партии политикой не занимались —

мы решали в основном хозяйственные вопросы. В первый же год моей работы в райкоме занялись прокладкой внутриквартальных теплотрасс. Нужное дело? Конечно! Каждому предприятию района достался свой участок, на котором они обязывались заменить коммуникации. Но уверяю вас, это совсем непросто было сделать. Директора заводов в ту пору в За-ельцовке были удивительные. Созвездие! Это такие зубры, как Шемякин, Галушак, Брыкин, Козлов и другие. Такая силища! Такие лидеры! А с ними так просто не договоришься. Они себе цену знали и правильно делали. К каждому надо было подбирать свой ключик. Борису Савельевичу Галушаку, например, я звонил не ранее девяти часов вечера. Звоню и спрашиваю:

— Да что же это такое? Вы почему до сих пор на работе? А он в ответ:

— А вы почему?

— Да мне вроде положено...

— Ладно, знаю, что не жалеть меня звонишь. Спрашивай, что надо.

Глядишь, уже какой-то вопрос и решился.

В общем, заменили мы теплотрассы, в домах у людей теплее стало. В горкоме это оценили, похвалили и предложили выступить перед активом, поделиться опытом. От выступления я стал отказываться, мотивируя, что я еще недавно работаю, что с моей стороны нескромно будет хвалиться первыми шагами. Но мне сказали: «А вы все-таки посоветуйтесь у себя в районе». Вернулся в район и встретился с Брыкиным: «Как вы считаете, стоит мне с этим выступать?» Он как поднялся на меня: «Какой это опыт? Ты изнасиловал нас всех! Это не моя задача строить теплотрассы. Мое дело полупроводники делать! А ты еще хвастаться этим собрался? Правильно сделал, что отказался».

Вообще, благодушия у нас не было. Ругались много и часто. Но как-то по-хорошему. Все выскажем, потом время пройдет, успокоимся и помогаем друг другу. Это огромнейшая школа.

Скажем, с тем же Казарезовым. Он был секретарем парткома завода имени Ленина, а я уже первым секретарем Заельцовки. У обоих темпераменты! Споры у нас были такие, что зашкаливало! Кипели! Но поскольку ругались в интересах дела и подножек не ставили друг другу и не подличали, то я считаю, что это были рабочие отношения.

Я люблю людей открытых, деловых. И в моей команде подобрались именно такие: не подлипалы и тихони, а такие, с кем я открыто ссорился, но по-честному. И тот же Казарезов, когда стал первым секретарем горкома, позвал меня к себе вторым.

В горкоме тоже была «веселенькая» работа — в мои обязанности входило курирование строительства метро и производства сельхозтехники. Работы было много, но это нормально. Человек должен много работать, если он человек. Проходит время, Казарезова забирают инструктором ЦК, и актив решил, что теперь первым должен стать я. Пошли в обком к Филатову получить «добро» на мое назначение. Он не соглашается: в ЦК партии поступила анонимка с тяжелыми обвинениями в мой адрес. Будто бы я, извините за выражение, нажрался допьяна и погубил на море человека.

Я и на самом деле три месяца назад, в августе, тонул на море. А дело было так: мы с Шелюхиным и моим покойным сыном поехали на базу отдыха в пятницу, после работы. Решили проверить поставки, садимся в лодку, и тут к нам подходит работник базы по имени Петр и предлагает свои услуги — сгонять на моторке. Я оставил сына кататься в неглубокой протоке, и мы поехали. Стало быстро темнеть — надвигалась гроза, поднялся ветер. Решили возвращаться. Надо поворачивать, а

у нас заглох мотор. Петр дергает, дергает за веревку, чтобы запустить двигатель, но бесполезно! Еще раз дернул, мотор вдруг завелся, но развернулся под углом, и лодка опрокинулась. Мы оказались в воде. Я плаваю как топор, а Шелюхин — отличный пловец, сбросил с себя одежду и поплыл за помощью. Мы с Петром остались, держимся за борта. На Петре ватная фуфайка, вся намочка, он ее сбросил. Ветер крепчал. Наступила ночь. Льет дождь. Идут часы, а мы все болтаемся в воде. Ослабли. Но во мне все время работает мысль, что я не погибну, пока не увижу сына и Шелюхина... А волны все сильнее захлестывают через голову, бьют об лодку. Кричу: «Петя!» А мне никто не отвечает... Прошло еще несколько часов, и я вдруг увидел кусты. Тут-то я доплыву! Бросаю лодку и — к берегу. Невдалеке какое-то строение. Оказалось — перекачивающая станция. Спросил дорогу и пошел к базе. Босой, мокрый, заоченелый.

Прихожу. Спит мой сынок. Оказалось, Шелюхин доплыл и потерял сознание на берегу. А потом организовал поиски. Они несколько раз выходили с катером в море, мотались, пока не заканчивался бензин. Сына рвало от болтанки, и он, измучившись, уснул.

Мне налили стакан водки: «Подкрепляйся!» — «Нет, мне нельзя». Согрелся чаем после шести часов испытаний в холодной воде. Чуть свет мы с Шелюхиным отправились с заявлением о трагедии к прокурору. Была экспертиза. Меня проверяли на алкоголь и, конечно, не нашли. Потом я свалился на целый месяц в больницу с пневмонией. Вот такая история... О ней я и поведал, как на духу, Александру Павловичу Филатову. Но в то время анонимкам верили больше, чем человеку...

А вскоре произошли выборы председателя горисполкома, и меня избрали. Прихожу в горисполком, а там такие колоссы! Алиджанов, Авдеев — мой бывший руководитель, Оленин. Какие люди! Силища! Кто я против них? Как я буду с ними работать?

Али Халилович Алиджанов — человек внутренней и внешней красоты. А какой мечтатель! Какой патриот города! Он великолепно знал город и все его проблемы, горел энтузиазмом: «Давайте сделаем это! Давайте сделаем то!» А Валентин Лукьянович Авдеев, интеллигентнейший человек, никогда не дал мне даже намеком понять, что я не так давно ходил у него в подчинении. Всегда корректный, доброжелательный, всегда охотно делился своим опытом. Как я благодарен этим людям, с которых брал пример!

Если вы меня спросите, насколько я чувствовал проблему города, я бы сказал, что на такой сложный вопрос у меня... нет ответа. Город, по образному выражению одного моего коллеги, — большой котел, в котором варится бульон. Но из чего и как он варится, понять трудно, даже проработав много лет. На первый взгляд, здесь одни и те же проблемы — транспорт, снабжение, строительство, тепло, вода, свет. Но каждый год, каждый месяц возникают все новые, которые надо спешно решать. Хотя многие из них решить мы уже опоздали.

Я с глубочайшим сожалением говорю, что мы не построили третий мост через Обь. А ведь у нас все уже было готово: определили место, сделали проект и послали его в Москву на экспертизу, для выделения денег. И в это время началась перестройка...

И сегодня, когда на мостах возникают пробки, я думаю: «Господи! Этот огромный город, которым мы привыкли гордиться, на самом деле всего лишь каменный мешок! Не дай бог, какая трагедия случится, выехать отсюда будет очень и очень трудно». Второе: мы часто гордимся тем, что мы третьи в стране по числу жителей и по

занимаемой территории. А какая это проблема — обслуживать такую гигантскую территорию! До сих пор не решен вопрос с защитными санитарными нормами. Напротив того же оловокомбината находится масса дач. Мы обращались к дачникам: «Люди! Давайте выделим вам землю в другом месте, поможем перебраться. Здесь жить нельзя: кругом мышьяк». А они отвечают: «Мы здесь годами жили. Мы привыкли, мы адаптировались, мы никуда не хотим!»

А растянутость коммуникаций! Не открою большого секрета, если скажу, что они становятся миной замедленного действия. Что я имею в виду? А то, что в год надо менять тридцать девять километров теплотрасс, а мы сегодня в силах освоить лишь полтора-три километра! Беда может случиться в любой момент, когда начнет рваться повсюду и есть опасность надолго остаться без тепла. Упаси, Господи!

Еще: прошел срок эксплуатации первых панельных домов. А если они начнут складываться? Ездили в Омск за опытом. Там укрепляют старые панельные дома стяжками на тросах, не выселяя людей. Это же ужасно! Люди надеются улучшить свои условия, но их дома стянули металлом и сказали: «Живите!»

Это все проблемы большого города, для решения которых нужны большие капиталовложения. А их нет. Значит, проблемы будут усугубляться. И это тяжело осознавать.

А юридический институт? Я до сих пор жалею, что не сумел убедить Казарезова отдать здание партийной школы не под архитектурную академию, а под юридический вуз. У нас катастрофически не хватает грамотных юристов, и то, что в столице Сибири имеется лишь филиал Томского университета, это унижительно для большого города.

Вот какие проблемы надо бы решать, большие, на перспективу. Но время, время было иное: перестройка — и этим все сказано. Все остальное — обыкновенная, повседневная, рутинная работа. Что, мне ставить себе в заслугу, что я вместе со своей командой протоптал все стройки, все метротон-нели в резиновых сапогах? Я вообще считаю, что тот не мэр, от кого канализацией не пахнет!

К слову сказать, вспомнил, как несколько депутатов написали в Москву послание: вот, мол, в столицах такие прогрессивные мэры, как Анатолий Собчак, как Гавриил Попов, а у нас какой-то замшелый Индинок! Как бы то ни было, а 33 тысячи квартир при мне было построено, четыре станции метро пущено. А на тех острословов я не обиделся, некоторых даже взял к себе в команду, когда стал губернатором.

Я до сих пор вспоминаю с благоговением тот городской Совет, своих прекрасных сотрудников. Они у меня не торчали в кабинете часами, пока я не закончу с кем-то разговор, чтобы подписать какую-то бумагу. Они клали документы на стол, и я подписывал: был уверен, что все безукоризненно, и потому ставил свою подпись с чистой душой. Я им доверял как себе.

Вспоминаю, как мы мучались с энергетиками. Они заламывали такие деньги за свои проекты, что они равнялись стоимости строительства того или иного объекта. А мне частенько доводилось бывать на ТЭЦ-4, и я там присмотрел главного инженера. Увидел, как он крутит дела, и пригласил к себе замом по энергетике. Он говорит: «Спасибо за доверие, но такой большой скачок — вдруг не справлюсь». Но все-таки решился, принял дела. У меня была привычка приходить на совещания, которые проводили мои заместители. Сяду в сторонку, слушаю. Потом, если есть замечания, выскажу один на один. Прихожу и к Казанову. Гляжу: мужик взялся круто! Ему что-то докладывают, а он в ответ: «Что вы мне лапшу на уши навешиваете? Давайте калькулятор! Что это за сумму вы запросили?» Раз-два, подсчитал. «Вот какая сумма выходит! И ни копейки больше!»

Выходят с совещания управленцы-энергетики и переговариваются: «Ну, мужики, у этого парня шуточки не пройдут!» Я потом сказал «этому парню»: «Вы, пожалуйста, последите за своими словами. Здесь руководство, люди воспитанные. Но по сути вы — молодец!» Специалист получился из него высочайшего класса...

Проблемы проблемами, хлеб насущный всему голова, но без культуры, без духовности город гармонично развиваться не может. Я считал своим долгом делать все возможное для развития культуры, для ее поддержки, понимая, что она дает толчок для движения вперед. Не так давно строитель по образованию Александр Иванович Зубов прислал мне письмо: вот, мол, ищут национальную идею. А эта идея лежит в нашем российском флаге. В нем три цвета. Белый, наверху, это духовность. Голубой — экономика. Красный — власть. И вот если бы в нашем государстве эти приоритеты были расставлены именно в такой последовательности, то все дела пошли бы в гору. Потому что именно с духовности начинаются и человеческая личность, и производство. А мы пока, к сожалению, живем без царя в голове, не имеем приоритетных ценностей, потому и кувыркаемся.

Помню, приехала к нам делегация американских женщин из города Миннеаполис, с которым у нас были тесные контакты, и я порекомендовал этим женщинам сходить на концерт оркестра под управлением Арнольда Каца. Наутро они приходят ко мне с круглыми глазами: «Что это такое? Такое высочайшее искусство в Новосибирске! Что за противоречивая страна: с одной стороны — инфляция, производственная разруха, с другой — высочайшее искусство!»

Что мне было ответить? Я отделался шуткой: «Милые мои! Спеть, сплясать, морду набить — равных нам нету в мире!» А если серьезно, то наш оркестр — на самом деле уникальное явление не только в стране, но и на всей планете!

К сожалению, у нас культура никогда не финансировалась щедро. Чтобы сделать что-то полезное, приходилось прибегать и к дипломатии, и к хитрости, и к нажиму. Скажем, звание академического театр «Красный факел» получил не без моих хлопот.

А деньги на реконструкцию оперного? Мы приехали их «выбивать» в Москву, в Министерство культуры. Со мной — группа поддержки, известные артисты. Стоим в приемной министра, ждем приема. Кто-то сказал: «Министра в кабинете нет». Ну, нет так нет. Подождем. Вдруг заходит серенький тщедушный человечек и приглашает в кабинет. Заходим, и я говорю своим мужикам: «Ну, если этот гад не даст сейчас денег, зарежу! Ей-богу, зарежу!»

А этот серенький и говорит: «Да вы не волнуйтесь, сейчас придут мои помощники, и мы начнем совещание!» Человечек, которого я принял за секретаря-референта, самим министром оказался. Такой конфуз! Думаю: пропало все! Откажут! Но деньги на реконструкцию, хотя и не полностью, мы получили.

Или возьмем такой пример. Наш новосибирский, известный на всю страну композитор Николай Кудрин. Его песни исполняли не только лучшие певцы и лучшие хоры, они стали всенародными: «Деревенька моя», «Сапожки русские», «Хлеб — всему голова». Вспоминаю, как однажды его чествовали по поводу юбилея в Дворце культуры «Сибтекстильмаша». Приехали хоры из разных районов области. Хористов рассадили в зале по разным углам. И вот встает один хор и запекает «Деревеньку». Спели куплет, потом песню подхватывают в другом конце зала другие исполнители. Впечатление мощнейшее! Смотрю, Николай Михайлович даже расплакался. И у меня глаза на мокром месте. Я потом и спрашиваю: «Николай Михайлович! А какое звание-то у тебя?» Оказывается, он всего-навсего заслуженный работник культуры, как сотрудник кинопроката или библиотеки. А ведь

он творец! Разве это справедливо?

И вот должен был приехать в Новосибирск Ельцин. Вернее, остановиться на часок для пересадки из самолета в самолет. Готовились встреча в аэропорту, угощение. И вдруг звонок с борта. Поступает указание: никаких журналистов, никаких приемов, встреча состоится прямо на летном поле и будет продолжаться всего минут 15. Как губернатор, я заготовил свои просьбы к президенту, свои вопросы, которые можно решить, пользуясь счастливой возможностью личной встречи. И вот выходит Ельцин из самолета. Концентрирует взгляд на встречающих, а нас всего пятеро, тычет пальцем: этого знаю, этого знаю, а этого не знаю! Вот такой уровень общения!

Потом спрашивает: «Ну, а что тебе надо?»

— Борис Николаевич, в этом году отличный урожай в области. Надо тысячу комбайнов для уборки. Помогите!

— О-о! Ты такой хитрый! Тысячу комбайнов ему надо! — и пальчиком грозит. Потом оборачивается к помощнику и командует: «Выделить ему тысячу комбайнов и причем бесплатно!» Такой широкий жест!

Время выходит, я вижу, в каком состоянии наш лидер, понимаю, что серьезные вопросы вряд ли удастся решить, и говорю:

— Борис Николаевич, да что я вас донимаю. Комбайны вы пообещали, спасибо. У меня единственная еще просьба будет к вам: если у вас будет тяжело на душе или наоборот, легко, возьмите эту кассету, послушайте! Вы почувствуете, и чем живет народ, и его душу, — и подаю ему кассету с записями песен Кудрина. Чем-то я расстрогал Ельцина, он облапал меня:

— Ну, ты и хитрый!

— Борис Николаевич, человек, который сочинил эти песни, заслуживает звания. Помогите!

— О, ты и хитрый. — Еще раз сгреб меня, постучал кулачищами по спине и пошел тяжелой походкой к самолету... Возможно, это мое обращение к Ельцину сыграло свою роль, и вскоре Кудрин получил звание заслуженного деятеля искусств. Когда у англичан спрашивают, какое у вас самое большое достижение в жизни, многие отвечают: мы не боимся умирать. То есть люди живут так, что не боятся предстать перед Высшим судом. Для этого надо жить по-справедливости, в ладу с совестью. Человек должен верить во что-то высокое, если он человек. О себе могу сказать: я никогда никого не предавал и здесь меня не в чем упрекнуть. Нучили меня этому отец с матерью. Простые малограмотные люди, они воспитали девятерых детей. Я был самым младшим в семье. И ни разу отец, которого мы как огня боялись, не тронул нас пальцем. Учил жить по совести.

Помню, как мы с приятелями-мальчишками проделали дырочку в мешке, насыпали зерно в карманы и лакомились им. Мать увидела: «Где взял?» Я раскололся.

— Отец придет, я расскажу. Убьет!

Приходит отец, я забрался на печку, лежу ни жив ни мертв. Мать и говорит:

— Не знаю, Иван, рассказывать тебе или нет...

— Что такое?

— Да вот малой...

И рассказала про наши хитрости.

— Ах, так! Ну, вечером приду, разберусь!

Господи, сколько я передумал до этого самого вечера! Как себя исказнил! И что мне отец сделает? Страшно! Никогда больше не буду тайком ничего такого!.. Вечером приезжает отец. Я — к нему!

— Папочка, прости, я больше не буду!

— Не будешь? Ну ладно!

Вот и все наказание. Но я-то целый день ходил с сознанием своей вины, сам себя наказал! Вот такая была в нашей семье педагогика. И конечно, я очень любил своих родителей — мудрых и добрых людей. Помню, уже на третьем курсе учился.

Приезжаю домой, мать тяжело больна. Встретила меня словами:

— Сыночек, боюсь умирать. Все у нас крещеные. Один ты нет. Как же мне спокойно умереть?

— Не переживай, мама. Завтра же поеду в церковь и окрещусь.

И окрестился. Не мог я не сделать это ради матери, хотя был в институте комсомольским вожаком. Конечно, скрыл этот факт от приятелей. А потом и сам к вере пришел. Человек должен во что-то высокое верить. К тому же, когда тебя посещает большое горе, ты же обращаешься не к партии, а к Богу. Поэтому, когда у меня погиб сын... В Боге силы черпаешь...

Прожита большая жизнь. В ней было много дел, бед и тревог, были ошибки. Но стоит часовня, украшает главный проспект, украшает город. Возвышает душу. И мне радостно сознавать, что здесь есть и моя заслуга...

Сведения об авторах воспоминаний

1. Агапова Вера Ивановна — 1928 г. рожд., труженица тыла, служащая.
2. Амшинский Николай Николаевич — 1914 г. рожд., доктор геолого-минералогических наук, академик Петровской академии наук и искусств.
3. Антонов Аркадий Николаевич — 1940 г. рожд., член Союза журналистов России, председатель Новосибирской областной организации Союза журналистов.
4. Блиновский Василий Александрович — 1928 г. рожд., член Союза журналистов России, работал редактором газеты «Вечерний Новосибирск».
5. Бриллиантова Раиса Александровна — 1925 г. рожд., школьный учитель, преподаватель русского языка и литературы.
6. Булгакова Зоя Федоровна — 1914 г. рожд., заслуженная артистка России.
7. Гутов Анатолий Федорович — 1922 г. рожд., ветеран ВОВ, инженер завода химконцентратов.
8. Добророднов Иван Ефимович — 1926 г. рожд., работал в пожарной охране, майор в отставке.
9. Добрынин Николай Александрович — 1926 г. рожд., бывший офицер, работал на преподавательской работе.
10. Жильцов Федор Васильевич — 1925 г. рожд., бывший начальник ОБХСС города, ст. преподаватель школы милиции.
11. Иванова Татьяна Ивановна — 1945 г. рожд., член Союза журналистов России.
12. Индинок Иван Иванович — 1938 г. рожд., бывший мэр и губернатор области, в настоящее время занимается банковской деятельностью.
13. Кобзева Глафира Михайловна — 1918 г. рожд., радист, телеграфист.
14. Константинов Василий Николаевич — 1925 г. рожд., ст. лейтенант госавтоинспекции, автомеханик.
15. Коршунов Юрий Петрович — 1933 г. рожд., научный сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН, кандидат биологический наук.
16. Крылов Георгий Васильевич — 1910 г. рожд., доктор биологии, автор многих монографий и популярных книг о лекарственных растениях, почетный член Всероссийского общества охраны природы.
17. Литвинов Вячеслав Владиславович — 1923 г. рожд., дик-тор Новосибирского радио на протяжении 43 лет.
18. Магалиф Юрий Михайлович — 1918 г. рожд., актер, писатель, драматург.
19. Максимова Раиса Алексеевна — 1934 г. рожд., строитель, прораб.
20. Масаева Зинаида Ивановна — 1926 г. рожд., ветеран завода им. Ленина, полиграфист.
21. Муратов Павел Дмитриевич — 1934 г. рожд., кандидат искусствоведения, профессор архитектурной академии.
22. Орлова Кира Ивановна — 1915 г. рожд., актриса театра «Красный факел».
23. Пашкова-Павлова Елена Петровна — 1919 г. рожд., инженер, астрономо-геодезист.
24. Полян Валентина Ильинична — 1931 г. рожд., инженер-технолог, валеопедагог.
25. Притвиц Наталья Алексеевна — 1931 г. рожд., кандидат технических наук, секретарь Сибирского отделения РАН.
26. Ромашко Иван Андреевич — 1929 г. рожд., народный артист России.
27. Рубинчик Александр Ефимович — генерал-лейтенант запаса, Москва.
28. Синцов Александр Петрович — 1923 г. рожд., связист, инженер, преподаватель, председатель Союза репрессированных.

29. Старцев Михаил Сергеевич — 1918 г. рожд., 64 года трудился рабочим на заводе им. Чкалова.
30. Сушков Иван Яковлевич — 1923 г. рожд., инженер по профессии, историк и художник по призванию.
31. Телегина Галина Ивановна— 1913 г. рожд., инженер, Томск.
32. Тростонецкий Алексей Сергеевич — 1925 г. рожд., бухгалтер, экономист.
33. Трофимук Андрей Алексеевич— 1911—1999 гг., академик, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственных премий, почетный гражданин Новосибирска.
34. Удалая Раиса Силантьевна — 1931 г. рожд., клепальщица завода им. Чкалова, Герой Социалистического Труда.
35. Филатов Александр Павлович — 1922 г. рожд., член исполкома горсовета, секретарь горкома КПСС, секретарь обкома КПСС в течение десяти лет, трижды избирался членом Верховного Совета РСФСР.
36. Чекис Георгий Иванович — 1921 г. рожд., заслуженный тренер СССР, директор школы высшего спортивного мастерства.
37. Чернобровцев Александр Сергеевич — 1930 г. рожд., художник, заслуженный деятель искусств.
38. Чикинев Владимир Павлович — 1928 г. рожд., зам. директора завода «Сибсельмаш», председатель плановой комиссии горисполкома, член исполкома горсовета, председатель горисполкома.
39. Шаровьев Юрий Павлович — 1931 г. рожд., инженер-механик, станкостроитель.